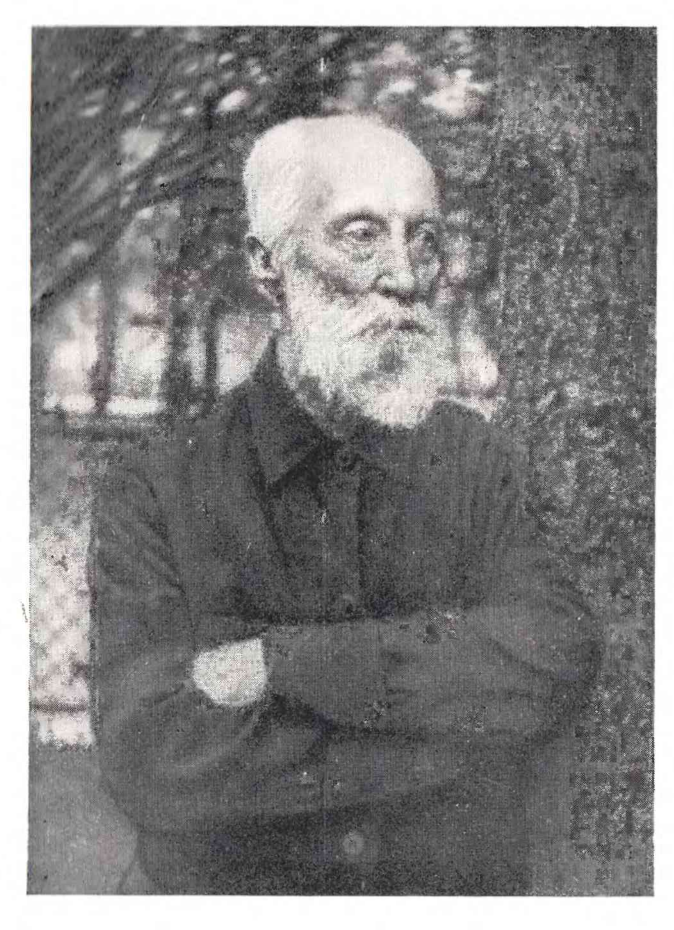
АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

И. М. ГРЕВС

ТАЦИТ



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР



Иван Михайлович Гревс (1860—1941).

Снимок сделан летом 1940 г. в гор. Пушкине. Фото аспиранта ЛГУ П. Н. Семенова.

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР

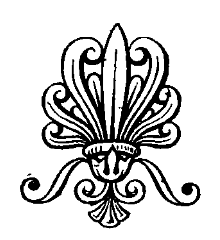
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ

Профессор

И. М. ГРЕВС

*

ТАЦИТ



1946

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва · Ленинград

Под общей редакцией Комиссии АН СССР
по изданию научно-популярной литературы

Председатель Комиссии Президент АН СССР
академик *С. И. ВАВИЛОВ*

Зам. председателя член-корреспондент АН СССР
П. Ф. ЮДИН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Тацит оставил миру исполненное глубокого внутреннего трагизма изображение жизни римского общества в эпоху ранней Римской империи. В обоих крупнейших своих произведениях, в «Историях» и, еще с большей силой, в «Анналах», он мощью своего гигантского писательского таланта увековечил жестокую правду страшной картины безудержного, стремительно после смерти Августа нараставшего, самодержавного произвола цезарей I столетия н. э. Он дал красочные образы главных деятелей того времени, и очерченные им фигуры вошли после него в историю в тех самых характеристиках, какие за ними закреплены были именно им. Так, например, основной контур типических черт, определяющих для нас сейчас образ Нерона, одного из излюбленнейших затем объектов художественного показа, впоследствии повторяемого бесчисленным множеством различных европейских исторических драм и романов, принадлежит Тациту. Но и трезвая, нелицеприятная мысль историка, оперирующая в исканиях исторической истины документальным материалом прошлого, — без сомнения, и она, при изучении исторических судеб Рима в отрезке времени от Тиберия до Домициана, находит опять-таки в Таците свой главный литературный текст.

Тацит в значительной мере современник описываемых им событий: родился он при Нероне и был живым свидетелем деспотии Домициана. Умер Тацит уже в сравнительно спокойное время, в эпоху блестящего Адриана, получив еще раньше возможность заняться оформлением своего долго и обдуманно писавшегося им труда, когда после Домициана власть в Риме перешла в руки добродушного старца Нервы. Быстро выдви-

гавшиеся капризной судьбой на авансцену истории и так же быстро оттуда ею же устраняемые, прошли перед очами Тацита десять цезарей, последовательно один другого сменившие: Нерон, Гальба, Отон, Вителлий, Веспасиан, Тит, Домициан, Нерва, Траян, Адриан. Тацит вглядывался в их фигуры, видел их деяния.

Друг Плиния Младшего и зять важного римского полководца Агриколы, назначенного при Домициане командующим римской армией в Британии, Корнелий Тацит, выполнявший и сам ответственные магистратуры, принадлежал и по происхождению своему, и по своим родственным связям, и по своей административной карьере к тем достаточным слоям римского гражданства, которые и в обществе, и в государстве являлись классом господствующим. Он одинаково хорошо знал и современное ему высшее общество Рима, и сложный аппарат римской правительственной машины, но он отлично понимал и историческую важность народных движений, понимал силу народных масс. По своим политическим убеждениям и своим затаенным чаяниям он близок был той части римского общества, которая находилась в тщательно ею скрываемой, но тем более упорной, оппозиции по отношению к автократизму державных правителей. Поклонника республики — Тацита — особенно возмущало приниженное положение сената, бывшего некогда высшим органом римской республиканской власти, теперь же покорно склонявшегося перед волей цезарей, стремившихся окончательно уничтожить этот, ненужный им и для них принципиально опасный, пережиток республиканского прошлого, а отвратительное зрелище раболепства сенаторов новой формации, наперебой спешивших выслуживаться перед каждым вновь появлявшимся на римском престоле монархом, вызывало в нем смешанные чувства горечи и презрения. Тацит кипел внутренним негодованием, сдержанным, но глубоким. Он предупреждал читателя, что будет писать свою «Летопись» «без гнева и беспристрастно (sine ira et studio)», в действительности же, однако, его наружно спокойная повесть, с такой силой развернутая им на

страницах его правдивых и страшных своей ужасной правдой «Аннал», охвачена негодованием и от начала до самого конца дышит страстной ненавистью к человеческому насилию. И тут, в этой страстной, благородной ненависти к тиранам, к суверенной власти автократических монархов, безответственно распоряжающихся и волей, и самой жизнью им подчиненных людей, открывается нам другая сторона литературного наследия Тацита, представляющая тоже великую культурную ценность, но уже совсем иного порядка, — моральная ценность идеологического воздействия его книги, даже в очень далекие от его времени последующие века, на позднейшую прогрессивную мысль Европы, между прочим и на политическое мировоззрение наших декабристов.

Попытаться понять внешние и внутренние условия творчества Тацита, проникнуть в окружавшую его гений стихию жизни и выявить его историко-философские устремления — вот задача, которую поставил перед собой автор настоящей монографии, ныне покойный, профессор Ленинградского университета Иван Михайлович Гревс. Очерк жизни этого замечательного русского ученого, неутомимого исследователя феодального уклада западноевропейского средневековья и культуры античного общества времен римской империи, всю свою долгую жизнь отдавшего делу родной науки и горячо любимого им университетского преподавания, мы печатаем ниже, в конце книги. Автор очерка — одна из учениц профессора Гревса, Е. Ч. Скржинская, — имела возможность при писании биографии своего учителя использовать в своей работе и те письменные отрывки из личных воспоминаний покойного, которые тот еще при своей жизни лично передал ей и которые были ею заботливо сохранены во время блокады Ленинграда.

Монография, посвященная Тациту, является последним научным трудом И. М. Гревса и издается Академией Наук СССР после кончины автора. Небольшая по размерам своего печатного текста, эта книга дает, однако же, очень полное и чрезвычайно широкое историческое освещение как жизни, так и литературного творчества Тацита. Но она интересна еще

и тем, что в ней нашел весьма ясное выражение и самый метод научной работы Гревса: читатель увидит, как в результате внимательного отбора, на первый взгляд мелких исторических данных, уверенно строится исследователем канва психологической биографии Тацита путем детального изучения им многообразных явлений той культурной среды, в какой Тациту пришлось жить. О жизни Тацита дошло до нас очень мало античных известий, и, тем не менее, главные поворотные пункты в ходе его былого существования И. М. Гревсу удается установить довольно точно. Работа подобного рода трудна, и ее осуществление доступно, конечно, силам лишь незаурядного ученого: для нее требуются и разносторонние филологические знания, и приобретаемый только долгими годами труда длительный исследовательский опыт. Самому же Гревсу она казалась простой и легкой: «надо только, — говорит он (стр. 111 сл.), — уметь представить себе картину сопровождающих обстоятельств и не терять из виду ни одной мелочи в имеющихся данных, так или иначе касающихся личности Тацита».

Конечно, И. М. Гревс принадлежит старому поколению историков, и выработанная в наше время точность формулировок, сейчас обязательная во всех областях науки, выдержана им не всегда достаточно строго. Вправе были бы мы поставить автору в упрек и недооценку античной специфики иных из явлений, типичных для жизни только древнего общества, равно как и характерную для филологии того времени тенденцию к модернизации. Но если указываемые недочеты нам исторически и понятны, как один из этапов, уже пройденных русской наукой, то закрывать на них глаза все же нельзя, наоборот, их следует подчеркнуть. С другой стороны, читатель, думается, оценит в должной мере умение автора увлекательно излагать факты и, вероятно, почувствует ту пленительную, неподдельную искренность слова И. М. Гревса, которая в его живой, устной речи некогда так обаятельно действовала на чуткую студенческую аудиторию.

Ив. Толстой



ТАЦИТ — ИСТОРИК И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ

Тацит — неоспоримо лучший римский историк. По общему признанию критики, ему принадлежит также почетное место и в ряду первоклассных представителей художественной прозы в мировой литературе; он был во всех отношениях крупною индивидуальностью и, в частности, показательным носителем и творческим двигателем современной ему культуры. Поэтому образ Тацита достойно входит в состав галлереи замечательных людей.

Воссоздать его образ — задача не легкая. Тацит — сам по себе сложная фигура, а кроме того, — как это часто наблюдается при изучении биографий деятелей античной истории, особенно писателей, — от его жизни осталось немного подлинных следов, и именно это затрудняет восстановление его биографии в непрерывно сменяющих друг друга картинах и конкретных подробностях течения ее событий не только из года в год, но даже из возраста в возраст.

Никто из позднейших римских авторов не дал жизнеописания Тацита, тогда как осталось, даже несколько, жизнеописаний Вергилия и сохранился очерк жизни Горация, написанный Светонием. Может быть, биография Тацита и была составлена, но до нас она не дошла, так же как не дошло очень много произведений римской литературы, даже важных и талантливых.

Имеются письма Плиния Младшего к Тациту, из которых мы можем извлечь отдельные сведения о нем. Автор называет себя другом Тацита, говорит о нем и в посланиях к другим

лицам. У римских писателей более поздних веков встречаются упоминания о Таците, но не часто, хотя многие пользовались его сочинениями не только в древности, но и в Средневековье. Последний римский историк «большого стиля» Аммиан Марцеллин (во второй половине IV в. н. э.) признает себя поклонником и продолжателем Тацита, который будто бы служил ему лучшим образцом. Наконец, имя Тацита фигурирует в одной надписи — завещании некоего Дасумия (оно относится к 108 г. н. э.). Этот документ помогает установке хронологической канвы жизни Тацита и знакомит нас с его имущественными отношениями. Таков бедный инвентарь прямых известий о Таците, исходящих от других лиц. Официальных данных о нем, можно сказать, почти не осталось.

Основным источником для знакомства с жизнью писателя часто являются его сочинения: в них бывают рассеяны ценные автобиографические указания; но они извлекаются в изобилии только из произведений поэтов, особенно лириков: последние охотно обращаются к личным переживаниям.[1] То же можно сказать и об эпистолографах: письма Цицерона заключают множество свидетельств о нем самом; переписка Плиния Младшего — также.[2]

Историкам представляется меньше поводов говорить о себе, разве только если они писали об эпохе, им современной, и о делах, в которых участвовали сами. Тацит принадлежал только отчасти к последней категории; но и тут он скуп и сдержан в сообщениях о том, что касается лично его. Однако, его горячее участие собственным чувством в том, о чем он повествует, открывает, помимо его воли, немало сведений о том, что совершалось с ним самим или как событие им переживалось, и что оставляло пережитое в его внутреннем мире. Поэтому картина его жизни — в ее обстановке

[1] Гораций, например, сам в своих стихотворениях — богатейший источник для своей собственной биографии.

[2] Это вдвойне важно по отношению к последнему в нашем случае, так как Плиний и Тацит были современники и к тому же добрые знакомые.

и происходивших в нем самом переменах — обнаруживается перед нами в достаточно ясном свете и, притом, в реальных тонах. В последнем счете сочинения Тацита заключают в себе уже прямо богатый материал для суждения о его идеях и темпераменте, и в них выразительно отражаются типичные свойства его натуры.

Так, личность Тацита и его судьба, развитие его взглядов и склада характера предстают нашим глазам не в тумане, а в виде ясной фигуры, полной живой телесности и духовного своеобразия, несмотря на скудость определенных данных: таковых, непосредственно связанных с ним, мы часто лишены, но они восстанавливаются косвенно с убедительностью.

Если подходить к задаче построения биографии отдельного исторического деятеля научно, то необходимо предварительно уразуметь и нарисовать себе ту коллективную среду, социально-политическую и духовно-культурную, в которой родился единичный объект нашего изучения и которая его воспитала. Для Тацита это была римская Италия в эпоху ранней империи или, еще теснее, жизнь в городе Риме, бытовая, в общем, широком смысле слова, обстановка, в которой протекало существование тогдашних высших классов общества.

Тацит появился на свет в половине I в. и окончил жизнь в первой четверти II в. нашей эры. Он был историк и мыслитель — отчасти философ, определенно моралист, но его коснулась и правительственная, служебная деятельность. Поэтому мы и должны прежде всего представить себе, каково было положение римского государства, менее ста лет перед тем пережившего коренной переворот от республики к монархии, и как складывались в нем общественные отношения. Надобно вглядеться в степень образованности, составлявшей духовную атмосферу, которою дышала тогда римская интеллигенция. Эта общественность и образованность послужили почвой, которая обусловила интересы просвещенных групп населения Рима и являлась тем горнилом, где выковывались их идеи,

слагались их вкусы, откуда черпались их вдохновения. Она же служила школою, в которой оформлялись и закалялись нравы.

Предпосылать очерку жизни Тацита самостоятельный этюд о его культурном окружении — значило бы отягощать поставленную задачу, отвлекая внимание от ее непосредственного предмета, но, чтобы облегчить путь подхода к нему лично, надо постоянно иметь в виду общую раму, внутри которой обращались труды и дни Тацита. Во всяком случае, необходимо набросать картину окружающей его обстановки. В такой связи мы и постараемся, на фоне реальной действительности, развертывавшейся вокруг него, установить характер семьи, из которой вышел Тацит, и нарисовать условия, в которых протекала жизнь ее членов. Затем мы проследим, насколько позволяют имеющиеся у нас данные, ход его бытия в главных этапах, пытаясь объединить все сохраненные от древности отрывки. При этом всегда будет необходимо освещать изложение сравнительными фактами из его современности и из жизни связанных с ним лиц.

Многие римские писатели — Катон Старший, Цицерон, Юлий Цезарь и др., были одновременно и крупными государственными деятелями, поэтому от их прошлого до нас дошло очень много воспоминаний, идущих из различных источников. Тацит же более всего склонен был к литературной работе, политическая и общественная деятельность захватывала его гораздо меньше (ниже увидим — почему); он ограничился минимумом службы государству, узаконенной обычаем для видного человека. Во вторую же половину своего существования он намеренно сошел с политической арены, ограничившись одними наблюдениями совершавшихся на ней событий — но зорким, пристальным глазом — и вполне отдался избранному им призванию историографа ближайшего прошлого родной страны.

Вследствие этого, восстанавливая путь развития личности Тацита, нельзя отделить рассмотрение его жизни вообще от специального рассмотрения его творчества: творчество и

жизнь сливаются в нем сильнее, чем у других писателей, и надобно особенно последовательно воссоздавать движущуюся картину жизни его по краскам, извлекаемым из произведений его творчества. Вехами для отдельных моментов существования Тацита могут служить появлявшиеся одно за другими его сочинения. Так, перед нами пройдут годы его учения, главные события его семейной жизни, движение его по государственной службе, наконец, перелом в его биографии, когда он решил удалиться от общественной деятельности и всецело отдаться литературному труду, чтобы продумать и изложить то, что пройдено было им в личном опыте и что им познано было из опыта других. Тут нам окончательно выяснится, почему он стал только историком, какие требования предъявлял он к последнему, как понимал задачу летописания и что́ он дает современному историку для понимания культуры поздней античности.

При анализе исторических трудов Тацита перед глазами нашими будет развертываться лента «событий и деяний», какие совершались при его жизни и в ближайшие десятилетия до него. Мы получим возможность критически оценить и его осведомленность и беспристрастие и, наоборот, предвзятые точки зрения. Мы уразумеем его представление о том, что у нас теперь называется историческим процессом, поймем глубину и широту или, наоборот, известную ограниченность его исторических концепций и перспектив. По такому пути должен быть построен вывод о Таците, как историке, как источнике для изучения поздней античности Рима и как об одном из свидетелей и выразителей своей эпохи.

По мере систематического изучения развития творчества Тацита у нас будет накопляться материал для выяснения, а потом и определения его миросозерцания — политического, этического и философского, — и в нашем сознании вырастет полный образ его, как духовной личности, выработается суждение о его языке и стиле, составится наглядное и твердое понимание его литературной физиономии в ряду других корифеев латинской прозы.

Наконец, расставаясь с Тацитом, можно будет еще поставить вопрос о судьбе его творчества в дальнейшие века, о том, как хранилась память о его личности в смене эпох. Может быть, так удастся нам еще лучше убедиться в том, что Тацит — действительно великий работник в многовековом и многоликом сонме мировых писателей, если и не законченных гениев, то блестящих и глубоких талантов, неповторимых образцов мысли и слова, и тогда мы не усомнимся в заслуженности его славы и обязанности общества хранить и культивировать его наследие.

Так формулируется задача и строится план настоящей книги, так определяется ее содержание и — автор надеется — важность, интерес и значительность ее предмета.





ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТАЦИТА. ОБСТАНОВКА, В КОТОРОЙ ПРОТЕКАЛО ЕГО ДЕТСТВО

Рим и его общество в I веке нашей эры

Подходя к биографии Тацита, мы сейчас же наталкиваемся на затруднения: нам неизвестно полное имя историка. Каждому римскому гражданину присваивалось три имени: первое — личное (пред-имя: praenomen); среднее — родовое, самое главное (nomen gentile); последнее — фамильное (cognomen — прозвище, обозначающее выделившуюся из рода ветвь).

Первое имя Тацита точно не определяется. Вернее всего его лично именовали «Публием»:[1] тогда полное имя его будет Публий Корнелий Тацит.

Нет точных сведений и о месте рождения писателя. Носивший его фамильное имя император, кратковременно правивший в III в. н. э., Марк Клавдий Тацит (275—276), преемник Авреллиана, считал себя потомком нашего историка и его земляком, а он родился в Интерамне (нынешнем Терни), городе южной Умбрии, расположенном у живописного водо-

[1] Так он назван в древнейшей рукописи его «Аннал» — «Codex Mediceus», хранящейся в флорентийской Лауренцианской библиотеке. Сидоний же Аполлинарий, римский писатель V в. н. э., называет его «Гаем» (Epist. IV, 14, 22), вероятнее всего по забывчивости, и это имя повторяется в ряде других рукописей сочинений Тацита; в некоторых же личное имя его совсем не указывается.

пада на р. Волино.[1] Но это только предположение, более или менее вероятное.[2] Во всяком случае Тацит не остался связанным с Интерамною, и жизнь его протекала преимущественно в Риме.

Еще одно (что часто встречается при определении хронологии в биографиях многих деятелей древности): год рождения Тацита устанавливается лишь приблизительно, по косвенным соображениям. В одном письме к Тациту Плиний Младший рассказывает о страшном извержении Везувия, когда погребены были в лаве и пепле города Помпеи, Геркулан и Стабии и когда погиб его дядя Плиний Натуралист, наблюдавший извержение из недалекого Мизена. Это было 24 августа 79 г. н. э., и Плиний пишет, что ему самому шел тогда восемнадцатый год.[3] В другом письме он называет Тацита «почти ровесником» себе,[4] только несколько старшим, ибо, когда он был еще безвестным юношей, Тацит уже приобрел славу. Плиний же родился в 61—62 г. н. э. Стало быть, Тацит должен был появиться на свет около 55 г.[5]

Происходил он из мало еще известной, но уже всаднической семьи, т. е. принадлежавшей к аристократии второго разряда; Плиний Старший упоминает некоего Корнелия Тацита, занимавшего место довольно ответственного чиновника импер-

---

[1] Свидетельство это приводит биограф императора Флавий Вописк. Tacit, c. 10. Подобные конкретные мелочи рисуют оттенки в обстановке жизни изучаемого лица. Для фиксирования живого образа требуется и имя.

[2] Доверяя преданию, жители этого города в начале XVI в., увлеченные местным патриотизмом, воздвигли у себя монумент в честь Тацита, чтобы «возобновить память о славном согражданине и воспламенить души потомков». Так гласит надпись на его пьедестале, приведенная у Angeloni «Storia di Terni» (Roma, 1616) и у В. И. Модестова, Тацит, стр. 2.

[3] Plin. Epist. VI, 20.

[4] Op. cit. VII, 20.

[5] Тацит был возведен в звание квестора распоряжением Веспасиана, нужно думать, в последние годы его правления, в 78 или 79 г., а для занятия этой должности требовался 25-летний возраст. Если так, Тацит, должно быть, родился в 54 или 53 г.

ского финансового управления в провинции Бельгийской Галлии.[1] Судя по времени, то был, вероятно, отец или родной дядя историка. Должность провинциального прокуратора была солидная и доходная: на такой службе люди обычно составляли себе состояние, даже и в том случае, если не пускались в усиленные денежные спекуляции и воздерживались от лихоимства и хищений. Тацит, по всей видимости, был из семьи, пользовавшейся хорошим достатком. Постоянным местом жительства ее был Рим, и отец Тацита, вероятно, имел там собственный дом, а также обладал родовыми поместьями в Италии. Такова была обычная конфигурация состояния у семейств подобного сословного и служебного положения.

Предок фамилии Тацитов мог быть некогда вольноотпущенником старого сенаторского рода Корнелиев, который к тому времени, или вскоре затем, пресекся: по римскому праву, награждаемому свободою слуге-рабу автоматически присваивалось, как это известно, старое родовое имя знатного патрона: это и звучало эффектно и почетно.[2] Дальнейшие поколения Корнелиев Тацитов давно стали полноправными гражданами, ближайшие же предки историка проникли даже в состав привилегированных классов. Но наш Тацит был в Риме еще «человеком новым», «homo novus», т. е. таким который первым в своей семье, как и Цицерон в своей, достиг сенаторства. Так, вглядываясь в окружение, удается нарисовать общий характер семьи, из которой вышел Тацит и в которой проходило его детство, совпадавшее с первыми годами правления пятого римского императора, Нерона (54—68 гг. н. э.).

Что родители Тацита были люди состоятельные, видно из того, что мальчику было дано тщательное образование и воспитание; это требовалось для того, чтобы вступить в состав активных членов общества, чтобы свободно вра-

---

[1] Plin. Hist. nat. II, 16, 76.

[2] Отец Горация, как известно, был вольноотпущенником: из среды вольноотпущенников выходили не только денежные дельцы, но и люди интеллигентских профессий.

щаться в светских кругах; необходимо это было также и для служебной карьеры. Кроме того, чтобы представить себе обстановку детства Тацита со времени поселения его семьи в Риме, мы можем спокойно ориентироваться на пример Плиния Младшего, только уменьшая размеры материальной обеспеченности и упрощая формы жизни. Семья Плиния была гораздо богаче, чем семья Тацита, но бытовой режим у обеих был однородного типа: это ясно из характера писем Плиния к Тациту: по стилю и тону этих писем видно, что Плиний и Тацит живут в сходной обстановке и понимают друг друга с полуслова.

Отсюда мы и догадываемся, что семья Тацита владела в Риме домом, принадлежавшим ее главе. О доме ничего не сообщают ни сам Тацит, ни Плиний. Впрочем, последний говорит более определенно. Дом Плиния находился в здоровой, возвышенной части столицы, на Эсквилинском холме.[1] Плиний его не описывает, но точное его местоположение указывает в одной из своих эпиграмм остроумный и утонченно талантливый, хотя нередко и не воздерживавшийся от циничных украшений стиля, поэт Марциал, современник обоих — и Плиния и Тацита. Поэт шлет к приятелю (Плинию) свою музу — легкую Талию, — чтобы вручить тому посвящаемое стихотворение, и провожает ее такими словами: «Поднимись по крутой тропе, начинающейся в конце Субуры,[2] и наверху увидишь нимфеум Орфея».[3] Там, стало быть, стоял дом Плиния. То была излюбленная римскими богачами местность в столице, где знатные люди строили себе особняки.[4] Там же возвышались роскошные палаты Мецената (horti Maecenatiani), друга

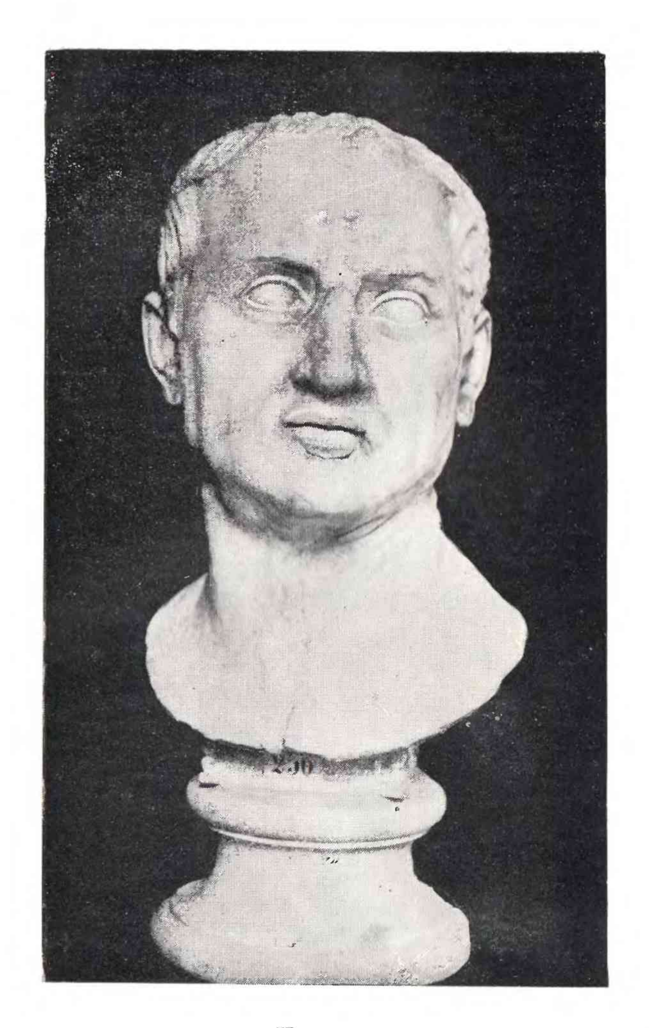
---

[1] Plin. Epist. III, 21.

[2] Длинная улица, которая шла из центра Рима в гору, к югу, шумная, с пестрым населением.

[3] Martial. X, 19. Нимфеум — храмик в честь нимфы, с водоемом. Плиний сам рассказывает об этом случае и приводит конец пьесы Марциала.

[4] См. интересную главу «Kindheit» в обстоятельном и богатом по содержанию руководстве H. Blümner «Die römischen Privataltertümer» (München, 1911).



Цицерон.
Работа времени Флавиев, подражающая портретам сделанным при жизни оратора.

Ленинград, Эрмитаж.

Августа, дворец Клавдиева любимца Паланта и других богачей. Дом семьи Тацита, где бы он ни находился, был, конечно, проще; но при нем был разбит, без сомнения, сад, где проходили детские игры Тацита. Позже, когда он учился и будучи уже взрослым, он продолжал обитать в том же доме, работая над своими историческими трудами. У Плиния были роскошные подгородные виллы; надо думать, была хоть одна таковая же и у Тацита, куда он укрывался от шума и усталости, а впоследствии и от докучливых гостей, ища уединения для обдумывания трудов и для изживания тоски и сомнений в тяжелые дни.[1]

ПИ г. Ижевск

Но и весь город Рим целиком служил для Тацита расширенным обиталищем, доставлявшим ему впечатления более многообразного и сложного порядка, чем обстановка отчего дома. Все эти впечатления закладывали в нем основы понятий о жизни, сообщали ему знания, умудряли его опытом, вырабатывали в нем ум, характер, привычки, растили из него человека в различных сферах людского бытия. Так, с развитием его природных свойств под влиянием всего окружавшего постепенно выковывался в нем склад личности, рождался новый человек.

Необходимо ясно представить себе ту среду, в которой развивался будущий замечательный историк, поскольку именно она остается для него главною ареной всей его жизни.

Когда Тацит родился, Рим уже пережил восемь веков своего существования, и давно отошло в далекое прошлое былое его полудеревенское обличие, как одного из городов Лация, возникавших путем объединения (синойкизма) отдельных поселков.

Вырастал город стихийно, застраиваясь без заранее обдуманного плана, вокруг первоначального зерна, холма Палатина. Жилищами покрывались склоны целой цепи соседних холмов — Авентина, Целия, Эсквилина, Квиринала и Виминала, и отдельные поселения эти и слились потом в одно це-

---

[1] Плиний несколько раз говорит о любви Тацита к деревне.

лое. Укрепленный центр возведен был на Капитолии, крутой возвышенности, увенчанной храмом Юпитера, старейшей национальной святыней города. Гражданское и экономическое средоточие римского общежития — форум, место собраний и рынок, расположилось в глубокой долине, у подножия четырех сближавшихся один с другим холмов. Когда же союзная городская община прочно сплотилась в начале республиканского периода (вероятно, в V в. до н. э.), город, уже довольно значительный, опоясался общею земляною и каменною оградою, которую предание называло «стеною Сервия Туллия», приписывая ее постройку этому царю.

Архитектурная и бытовая физиономия города долго оставалась скромною, а условия жизни его населения были суровы. Жители страдали от стихийных бедствий — наводнений, загнивания стоячих вод, неурожаев на окружавших его полях, а также от тяжелых житейских невзгод — пожаров, внутренних волнений, отсутствия общественной безопасности. Улицы узкие, кривые, темные, переплетались в беспорядочную сеть. Долго оставались они немощеными, и летом на них поднимались тучи едкой пыли, зимою же ноги погружались в слякоть. Отбросы оставались лежать неприбранными. Дома строились из дерева, тесные, неудобные. Отсутствовала благоустроенность даже и у людей зажиточных, бедным же не обеспечены были самые насущные нужды в жилье и ежедневном обиходе.

Медленно улучшалась городская культура с превращением Рима из местной гражданской общины в центр италийского государства, а потом и в столицу великой державы. Постепенно город вышел за пределы Сервиевой ограды, покрыв верхние плоскогорья холмов и заняв пустовавшие лощины. Оседлость беспорядочно распространялась во все стороны за ворота. Через Тибр переброшены были мосты, и на правом его берегу заселился обширный район на Яникульском холме. Оказавшиеся среди жилых скоплений старые стены были впоследствии сняты как ненужные. Новых укреплений императорский Рим долго не воздвигал, гордясь своей безопасностью под защитой могущества государства. Новые части города

планировались лучше, застраивались правильнее. Проводились подземные каналы (клоаки) для отвода нечистот и для осушки болотистых низин. Начиналось мощение улиц, улучшалось водоснабжение.

Правящие классы богатели; граждане, дорожа пребыванием в Риме, принимались строить для себя каменные и кирпичные, более просторные и лучше оборудованные дома и стремились обставляться удобствами, даже роскошью. Развивалась торговля, рынки покрывались строениями, необходимыми для коммерческих операций — гостиными дворами, лавками и складами. Для правительственных учреждений основывались достойные их задач здания; множились святилища боговпокровителей.[1] При строительстве общественных сооружений заботились уже об их монументальности и красоте. Так было в годы поздней республики.

После установления постоянных сношений Рима с Грецией и с эллинистическим Востоком, оттуда пошла в Италию сильная цивилизующая струя, коренным образом изменившая приемы строительства и архитектурные типы городов. Однако, перестроить наново Рим, ставший уже большим, бесформенно развившимся городом, было нелегко. Его украшали храмами, торговыми и судейскими базиликами, театрами, цирками. Об этом радели такие вожди, как Помпей и Юлий Цезарь. Пышно обставляли себя знатные и богатые частные лица, воздвигая себе хоромы и окружая их парками. Рим мало-помалу приобретал грандиозный вид.

Все же, это были пока только дорогие вставки в грубую разношерстную ткань: в монументальном пейзаже Рима оставалось еще много варварского. Приезжавшие с Востока лица насмешливо относились к наряду западной столицы, утверждая, что Александрия египетская, или Антиохия сирийская намного превосходят Рим, а с художественным блеском Афин ему и сравниваться нельзя.

Правление Августа явилось временем значительного

[1] Первый мраморный храм был построен в Риме только в 143 г. до н. э.

расцвета строительного величия Рима. К этому привели возвратившаяся безопасность жизни вместе с упрочением мира и подъемом благосостояния в расширявшихся группах из средних классов. Происходил быстрый рост населения города, приток к нему материальных средств и человеческих сил из всех стран мира при установлении высокого производства и широкого торгового обмена внутри империи. Тому же содействовало исходившее от императора сознательное стремление одеть столицу пышностью и богатством. Процесс поддерживался переменой в том же направлении вкусов руководящих слоев и их подражанием мероприятиям властителя.

Разгоралась строительная горячка, и появилась страсть к украшению города, ставшего столицею мира, великолепными общественными зданиями и частными домами. Произведены были улучшения в регулировке уличной сети; выпрямлялись и расширялись главные артерии. Впервые начали эксплоатировать богатейшие ломки чудесного белого мрамора около Каррары для постройки в Риме новых общественных памятников, императорских дворцов, частновладельческих палат, мест культа, увеселительных зданий. Вдоль особо посещаемых улиц и вокруг площадей устраивались крытые портики для гулянья в защиту от солнечного зноя или непогоды.

Публичные центры города украшались художественными изваяниями богов и знаменитых людей. Улицы столицы населялись целым племенем эффектных статуй, сперва пеших, а потом и конных фигур.[1] Отличительным признаком уличной картины императорского Рима сделалась колоннада; Марсово поле превратилось в блестяще отстроенный, обширный, новый городской район, а старый Палатин стал специально дворцовым городом. Усиленное движение наполняло улицы шумом и оживлением; в торжественные дни в центральных местах города Рима происходила давка. Пункты, где сосредоточи-

[1] Кассиодор в VI в., когда Рим уже был потрепан политическими ударами, заявляет, что внутри стен Рима обитает особый «народ» из статуй.

зался торг и устраивались развлечения, всегда кишели жадной толпой, искавшей или работы или утоления праздности.

Известна высокомерная похвальба Августа, будто он застал Рим глиняным, а оставляет его мраморным;[1] Овидий также восхищается Римом, который обладает всеми сокровищами мира,[2] но, конечно, это еще было пока преувеличением. Более трезвый и более сдержанный Светоний, современник Тацита, подчеркивал, что Рим по своей внешности недостаточно соответствовал тому блеску, какой требовался для столицы мира.[3] Много еще оставалось бедных и грязных кварталов, где била в глаза нищета их населения. Плутарх не раз подтверждает, что памятники императорского Рима не могут выдержать сравнения с архитектурными чудесами Афин.[4]

Процесс роста и украшения Рима продолжался и при преемниках Августа. Страшный пожар 64 г. при Нероне только приостановил этот процесс, но вскоре работа возобновилась с удвоенным напряжением. Новая стройка облегчалась тем, что огонь очистил много места, которое и захвачено было правительством и магнатами для публичных зданий, императорских резиденций и частных усадеб-особняков. Богатая знать оттесняла на окраины бедноту, где последней приходилось обитать в тяжелых условиях скученности, в зловонных лачугах, или ютиться в тесных углах огромных наемных домов, воздвигавшихся спекулянтами, эксплоатировавшими нужду масс в растущем жилищном кризисе. Богатевшее меньшинство расширяло свое житейское благополучие за счет стеснения насущных потребностей огромного, все более впадавшего в нужду, большинства.

Апогей в развитии монументального великолепия Рима достигнут был в промежуток времени от смерти Нерона (68 г.) до смерти Адриана (138.): это как раз эпоха, которая совпа-

---

[1] Suet. Aug. 28.

[2] Ovid. Ars am. III, 113, ssqq.

[3] Suet. Aug. 28.

[4] Впрочем Цицерон еще за 70 лет до н. э. называл Рим красивым и хорошо обставленным городом (Cic. In Verr. II, 5, 127).

дает с жизнью Тацита. Но и в начале III в., при Севéрах, прибавилось в Риме немало памятников. Рим был признан чудом света. В 156 г. оратор Элий Аристид произнес на греческом языке восторженное похвальное слово величию и блеску Рима. Крупные здания, созданные этим великим строительным движением, сохраняются целыми в IV в., несмотря на расстройство мира и порядка в III в. Историк Аммиан Марцеллин в ярких красках изображает (XVI, 10) восхищение императора Констанция, когда тот посетил Рим, приехав туда из Константинополя в 357 г. А поэт Авзоний в том же веке искусно сжимает для эффекта в одном стихе, казалось бы, недосягаемое для людей величие города:

Рим золотой, первый град на земле, богов ты обитель.
Prima urbes inter, divum domus, aurea Roma.[1]

Те же восторженные описания повторяются убежденно и в V в. Поэт Клавдиан восклицает: «И на небе, наверное, не может быть ничего замечательнее. Глаз не в силах охватить самые размеры Рима; ни один ум не оценит его красоты. Ни одни уста не сумеют произнести достойной его хвалы».[2] Еще позже христианский писатель Фульгенций размышляет: «Как прекрасен должен быть небесный Иерусалим, если земной Рим так блистает великолепием».[3] А Каллиник, уроженец Аравии, находит, что кто не видел Рима, тот походит на слепого, незнакомого со светом солнца. Только тот, кто знает Рим, может сказать, что живет на земле.[3]

Исконный основной центр — форум, forum Romanum, при Таците уже представляет художественное целое. Рядом с ним монументальным бордюром расположились декоративные «форумы императоров» — Цезаря, Августа, Нервы, Веспасиана, отделанные еще более роскошно. Украшенный грандиозною колонною императора последний из них — «форум Траяна», соединявший старый город семи холмов с бле-

[1] Auson. Ordo urbium nobilium, v. I (Mon. Germ., Auct. ant. vol. II, p. 98).
[2] Claudian. De consulatu Stilichonis III, v. 130—134 (Mon. Germ., Auct. ant. X, p. 225).
[3] Vita Fulgentii, cap. 13. Patr. Lat. 65, col. 131.

стящим новым на Марсовом поле, — это одновременно и храм, и дворец, и правительственное место, и музей, и библиотека, и институт литературы. Таков же старый Палатин, ставший целиком дворцом Цезарей. Храм Юпитера Капитолийского на одной из вершин двуглавого холма тогда же был перестроен в богато отделанное, мраморное, колонное святилище, господствовавшее над городом.

Низина Марсова поля тоже застроилась замечательными памятниками: там был воздвигнут круглый, строго величественный пантеон Агриппы, покрытый колоссальным полусферическим сводом, тогда являвшимся чудом зодчества; создан мавзолей Августа, выстроены театры, стадионы, портики-колоннады, сооружены торжественные площади. Стройка шла и в других местах города: появился гигантский корпус амфитеатра Флавиев (Колоссей), а на холмах и в долинах возникли громадные «бани», термы, похожие на дворцы, для общего наслаждения граждан.[1]

Все эти «жемчужины» человеческого творчества конкурировали друг с другом красотою, пышностью и величием. Особенно поразительною являлась картина их, охватываемая глазом в общей панораме, раскрывавшейся с гребня затибрского Яникула. Оттуда развертывалась и широкая перспектива окрестностей римской «Кампании»: была занята и она роскошными виллами с парками, дороги были окаймлены гробницами, и длинными радиусами бежали к городу бесконечные, покоившиеся на высоких аркадах, величественные линии водопроводов (акведуков), доставлявшие в город превосходную питьевую воду с окружающих гор, замыкавших редкостно живописный горизонт. Водопроводы оканчиваются внутри города бассейнами и фонтанами, которые уже тогда составляли оригинальную особенность, красившую Рим, да и теперь еще служат ему несравненным нарядом. Отсюда каждый владелец

---

[1] Известна приверженность римлян ко всякого вида купаньям и омовеньям, соединенным с различными физическими упражнениями. Банные учреждения (термы) играли нередко роль клубов; там же устраивались рестораны и т. д.

недвижимости мог, с разрешения государства, отводить воду в свой дом.[1]

Все описания города Рима в императорскую эпоху, какие у нас имеются, явно свидетельствуют о том, что столица Римской державы приняла в конце концов облик мирового города, который не только уже мог бесспорно быть приравнен к другим великим мировым центрам, но даже занять между ними первое место. Он заслужил почетные прозвища «золотого», и даже «вечного» города. Эти имена даются Риму уже писателями античности, с первым из них («золотой») Рим перешел в средние века, а второе часто прилагается к нему и поныне. Рим признан в литературной традиции за одно из «чудес света».[2]

Такова показная сторона в панораме города Рима в мировую эпоху империи. Особенно сильно она увлекала и ослепляла приезжего провинциала или иностранца, который рассматривал столицу мира, как турист изучает замечательную новинку. Рассказами восхищенных посетителей слава о величии и красоте Рима распространялась повсеместно. Производимое ею впечатление питало и разжигало патриотизм постоянных обитателей Рима, проникавшихся гордостью и радостью от сознания, что они там живут.

При общем взгляде на Рим с окружающих высот или с башни на Капитолии поражали самые размеры пространства, покрытого архитектурными памятниками и жилыми до-

[1] L. Friedländer. Darstellungen aus der Sittengechischte Roms in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine. 10 Aufl. Leipzig, 1922, (имеется русский перевод с 6-го изд.).

[2] Превосходный, сжатый, описательный обзор императорского Рима дает Людвиг Фридлендер в виде первой главы I тома — «Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms etc. (русск. перевод с 6-го издания). Конкретные бытовые сцены у Becker «Gallus» (3-е изд.) Общий очерк топографии Рима: O. Richter. Topographie der Stadt Rom (2-е изд.). Ср. статью под словом «Rom» в словаре Pauly — Wissowa. «Realencyclopädie des classischen Altertums» (I-er Supplementband), также в русском энцикл. словаре Брокгауза — Ефрона, и особую главу у H. Nissen «Italische Landeskunde» (t. II).

мами. Этой величине площади Рима соответствовало и количество его населения в изучаемую нами эпоху: оно может быть достоверно выражено цифрою 1—1.5 миллиона жителей.[1]

Состав этой людской массы пополнялся, конечно, не одним множившимся потомством коренных граждан и естественным притоком италийцев. Над ними нарастали множества, постоянно притекавшие со всех концов государства. Население города образовало колоссальный, вечно обновлявшийся конгломерат выходцев из всевозможных народностей. Жители Рима изъяснялись на бесконечно разнообразных языках, на каких говорили не одни племена, являвшиеся подданными императоров, но и чужеземцы, притягиваемые к Риму различными, острыми для многих из них, приманками. В Риме легко было почувствовать, что находишься в серединной точке всемирной державы, куда стремится всё. Это был бурлящий, многоцветный, космополитический центр.[2]

Сюда собирались толпы нищих и бродяг, нуждавшихся в пропитании, рассчитывавших на подачки от государства и на милостыню богатых. Стекались и люди труда в надежде найти обеспечивающую их жизнь работу. Шли в Рим и те, кто искал счастья в наживе или в карьере, добываемой либо чистыми, либо темными средствами. В Рим спешили всякого рода дельцы, крупные и мелкие торговцы, ремесленники, также денежные тузы, а за ними и более скромные приобретатели.

Силен был и приток людей интеллигентских профессий. Художники разных специальностей привозили сюда свои произведения, стремясь выгодно устроиться в столице. Поэты и ораторы ехали туда же предлагать свои таланты и искусства. Философы и ученые искали благоприятных условий для своей

[1] О числе населения в древнем Риме много спорили. Новейшая картина экономического расцвета Рима в труде Tenney Frank: «Rome and Italy of the Empire» (Baltimore, 1940).

[2] Овидий говорит, что «Рим — это мир в городе» («Ars am.» I, 174: «orbis in urbe fuit»).

деятельности. Стремились в Рим и способнейшие, самые энергичные представители провинциальной молодежи, торопившиеся вырваться из глухих захолустий и приобщиться к свету и блеску мирового города, «который обращал на себя взоры богов и людей». Город этот открывал широкое поле для всяческих честолюбцев, доставлял лучшие возможности для добывания знаний в учении, сулил неограниченные источники наслаждений и обильной пищи духовной для удовлетворения любознательности.

Само государство извлекало из областных миров[1] подходящие людские элементы для пополнения должностного персонала различных рангов и профессий. В город прибывали депутации из провинций к императорам и посольства от чужеземных государей. Извне рекрутировались войсковые части для охраны спокойствия в столице и безопасности особы императора.

Рим был постоянным местом обитания сенаторской знати, самой богатой части римского населения, которая задавала своими средствами и вкусами высший тон ходу жизни, доставляла заработок и прибыток другим и заставляла на себя работать. Наконец, вспомним о сонмах рабов, привозимых в Рим с невольничьих рынков или с театров войны, в качестве пленных, для обслуживания и государства, и частных лиц. Они составляли бедствовавшее и эксплоатируемое большинство, жившее под произволом господ. Но из рабских масс — через отпуск на волю тех, кто верностью и рвением дослуживался до свободы, — возник и пополнялся своеобразный класс отпущенников, которому предстояло играть в империи немаловажную социальную роль.

Нарисованная картина монументального облика Рима показывает нам лишь одну сторону города: богатые его районы. Но у столицы римского мира и другая еще была сторона. Уже при созерцании общей панорамы можно было убедиться в том, что, хотя прежде всего в глаза бросаются блестящие

[1] Так И. М. Гревс называет римские провинции. *Прим. ред.*

острова богатства и красоты, но их окружает море суровой бедности. Большая часть площади, занятой Римом, представляла и в эпоху расцвета города обширные серые пространства, застроенные жалкими домишками, в которых ютились в ужасной тесноте бедняки всех типов: мелкие ремесленники в своих вонючих мастерских, чернорабочие; тут же располагались логовища нищих, воровские притоны и ночлежки.

Жилища бедноты наблюдались не только на далеких окраинах, но подходили близко к богатым и модным кварталам: нужда соприкасалась с роскошью. Здесь попрежнему встречались узкие улицы и смрадные переулки. По бокам их лепились не одни лишь приземистые лачуги, — спешно строились огромные наемные казармы. Они разбивались на малые помещения или каморки, которые и переполнялись пасынками фортуны. Самые неимущие гнездились на чердаках или в подвалах, которые предлагались им для жилья в кое-как возведенных громадах; последние не раз обваливались, погребая под своими развалинами злополучных своих обитателей.

Днем бедные районы пустели: жители их наводняли городские центры, уходя туда на работу, в поисках пропитания, либо для нищенства, воровского промысла, на сборища и всякого рода зрелища, также — чтобы узнать новинки, или просто поглазеть на то, как живут более счастливые люди, попитаться на чужой счет, побушевать на рынках и площадях. Таковы были разнообразные формы соприкосновения и общения между жителями черного и белого Рима, которые перемешивались друг с другом в будничном существовании или в праздничном разгуле.

К вечеру толпы, усталые, кто от труда, кто от голодной праздности, возвращались в свои берлоги или расходились по харчевням, которыми кишели и эти урочища бедноты, либо по притонам грубого разврата. И по ночам не всё успокаивалось. Раздавались пьяные голоса, происходили драки, кровавые столкновения, местные бунты против представителей полицейской власти, которые неохотно проникали в эти трущобы, предоставляя опасно настроенному, легко возбуди-

мому люду собственными силами разбираться в своих делах и бурных распрях.

Климат Рима был не очень хорош. Уже и тогда, как и в новые времена, там упорно свирепствовали тяжелые лихорадки.[1] Граждане даже приносили иногда жертвы на алтарях богини лихорадки (dea febris). Большинство народа угнеталось жестокими условиями бытовой действительности: дороговизною пищевых продуктов, невероятной жилищной теснотой, постоянно поднимающимися ценами на квартиры. Перегружение жилой площади служило непреодолимым препятствием к оздоровлению условий жизни низших и даже средних классов.

Распространяться вширь городу мешали плохие средства транспорта. Улицы были переполнены пешеходами, передвигаться в экипажах дозволялось только в вечерние часы, преодолевать же пешком большие расстояния было непосильно. Строительство жилых домов затруднялось тем, что значительные пространства были заняты правительственными и торговыми зданиями, императорским и барскими дворцами с обширными парками. Множество бедняков принуждены бывали ютиться почти друг на друге, приучались существовать среди неизбежной бытовой грязи, а это еще серьезнее ухудшало условия здоровья населения.

Бедные кварталы являлись очагами эпидемий, быстро охватывавших весь город и не щадивших ни особняков магнатов, ни дворцов цезарей. Пожары, вспыхивавшие чуть не ежедневно, благодаря нагромождению массы воспламеняющегося материала, вмиг разливались в море огня, бушуя смертоносными потоками, с которыми было невозможно бороться в узких улицах, застроенных высокими домами. То был страшный бич, разрушавший застройку города, уничтожавший безопасность жителей, лишавший крова и имущества, а то и жизни множество людей.

---

[1] О. А. Базинер. Малярия в древнем Риме. ЖМНПр., 1893, Отд. кл. фил., стр. 67—110.

Это всё были крупные бедствия; они рисуют изнанку жизни в столице империи и кладут печать непрочности на ее процветание, обнаруживают тяжелые противоречия в ходе развития ее культуры. Они колебали экономическое положение масс, благосостояние меньшинства, выводили социальные настроения общества из равновесия. Все эти явления давали восприимчивому сознанию растущего среди них заинтересованного свидетеля богатый и жгучий материал для наблюдений и запросов о добре и зле в жизни, о причинах их происхождения, о средствах борьбы за одно и против другого.

Тацит, по условиям быта своей семьи, мало соприкасался непосредственно с отверженными окраинами столицы. Но отзвуки того, что там совершалось, проникали и в благоустроенные дома богатых и аристократических кварталов Рима. Образы обитателей пролетарских захолустий города, их групп и даже толп врезывались в память и воображение росших там детей: дети видели их фигуры, их поведение. Их много собиралось на празднествах, общественных собраниях и процессиях. Они производили на улицах беспорядок, шумели на цирковых игрищах, нередко вызывали волнения в моменты тревожных событий и политических смут. Даже в будничной работе проявлялось неизбежное трение между сынами и пасынками судьбы. Со стороны последних бывали и резкие вспышки недовольства, которые потом влекли за собою репрессии. Всё это должно было возбуждать детскую впечатлительность, невольно наводило на размышления — что это? отчего и почему? — Становился перед глазами и влиял на ум контраст между богатством и бедностью, между образованностью и темнотою, рабовладельчеством и рабством. Это была естественная детская школа жизни, радостные и мучительные переживания, которые не всегда могли разрешаться помощью только традиционных объяснений по шаблонной морали.

На «знатной» половине Рима, где возвышались резиденции императоров и роскошные обиталища аристократических фамилий, жизнь протекала в совсем иных формах, которые

оказывали более глубокое и постоянное влияние на сложение личности Тацита, так как его семья жила именно в этой части города. Основные особенности быта и нравов богатых и обеспеченных классов, игравших в государстве господствующую роль, являлись ближайшею средою, которая в ранние годы юности образовывала его понятия, вырабатывала интересы и вкусы, подчиняла себе его умственные и нравственные настроения или вызывала в его совести протест.

Главным топографическим центром в «знатной» части Рима был Палатинский холм, резиденция цезарей и их двора. Дом Августа явился «центром центра». За ним возникла резиденция Тиберия, разросшаяся при Калигуле высоко над форумом. Позже Флавии построили себе между ними обширные палаты. Частная жизнь была совершенно изъята на Палатине, являвшем собою своего рода особое «государство в государстве».

Первоначально императорский двор образовался по типу дома любого крупного магната. Цезарь и его семья были окружены множившейся рабскою челядью, а из доверенных слуг, превращавшихся в вольноотпущенников, сложилось зерно имперского служилого сословия, построившегося иерархически и захватившего управление всем миром под верховной властью вождя (принцепса). Внутри двора-палация личное услужение императору совмещалось с трудом, направленным к обеспечению нужд всего дома и к руководству администрацией. Средства доставлялись из скоплявшихся в руках государя всё увеличивавшихся земель. Огромное хозяйство было устроено как самодовлеющий дом, способный обслуживать все нужды господина и его персонала. Задача, лежавшая на императоре, была очень сложна, и для его дома требовались внушительные силы, и прежде всего необходим был могучий рост ценностей, чтобы создать фундамент крепкой власти, которая могла бы преодолеть всякую оппозицию извне.[1]

[1] См. об этом виде крупного замкнутого хозяйства в последней части книги И. М. Гревса «Очерки по истории римского землевладения» (СПб., 1899).

С укреплением богатства и власти императорского дома изменялись порядки и нравы двора, терявшие гражданский характер и приобретавшие чисто монархический стиль. Так, влияли традиции восточных эллинистических деспотий: двор обставлялся роскошью, пышным церемониалом и строгим этикетом. Простой обиход времени Августа сменился бюрократическим аппаратом восточных царств, низкопоклонством и чинопочитанием, обожествлением или «апофеозом» владыки. Принципат (первенство) переходил в доминат (господство). Двор императора по силе и блеску во много раз превзошел самое могущественное магнатское хозяйство и в свою очередь стал предметом подражания для дворов знати. Он многоразлично воздействовал на нравы и формы жизни высших классов, а от них обезьянство пошло и ниже. Обычаи, склонности, вкусы и пристрастия правящего императора, его семьи и любимцев становились обязательными для обывателей. Они менялись вместе со сменою властителя. Такое течение присуще стране, где утверждается самовластие, и можно повторить правдивое изречение римского же писателя: «Весь мир земной всегда следует примеру своего владыки».[1]

В панегирике Траяну Плиний Младший выражается в таком смысле: «Будем покорны императору, будем следовать в любую сторону его образцу, ибо мы желаем угодить ему; тот, кто не будет на него похож, никогда не заслужит успеха и счастья. Неуклонною же покорностью мы достигли того, что весь мир подражает единственному существу. Жизнь цезаря — это образцовое цензорство, притом пожизненное. За ним мы шествуем, с ним поворачиваем путь. Мы нуждаемся не столько в приказе, сколько в примере».[2]

Особенную наглядность такая угодливость получала тогда, когда вкусы двора резко менялись. От Тиберия до Нерона в домах богатой знати держалась, как и у цезарей, роскошь стола. Это резко изменилось при Веспасиане, который был

---

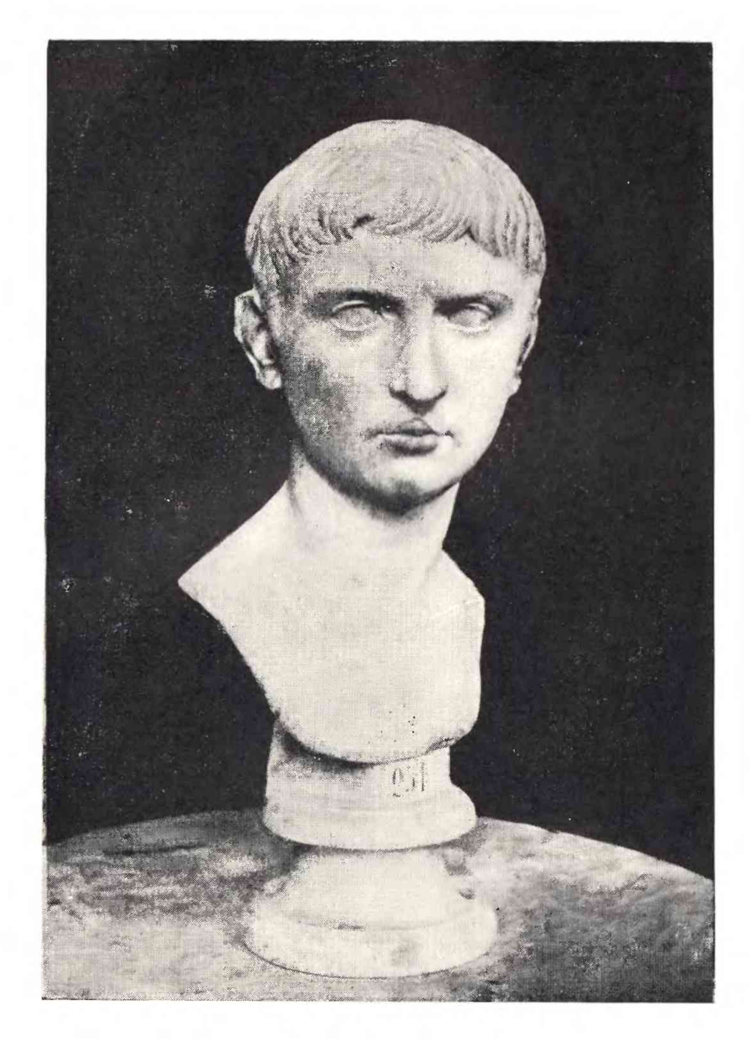
[1] См. Claudian. Panegyricus de quarto consulatu Honorii vv. 299—302 (Mon. Germ., Auct. ant. X, p. 161).
[2] Plin. Panegyricus Traiani 45.

умерен, даже скуп. Готовность копировать Цезаря была сильнее, чем страх наказания.[1] Так, подражание расточительности Коммода резко изменилось в сторону бережливости в угоду сменившему его Пертинаксу. Строгие нравы Александра Севѐра играли также роль цензорской власти для мужчин знатного общества. Воздержание жены его Юлии Маммеи вызывало соревнование в дамах высшего света. Но добрые примеры встречались редко. То же замечалось и в умственных, и в художественных интересах. Нерон любил в юности упражняться в краснюречии — и в обществе появляется рвение к занятиям риторикою: высоко поднялись тогда заработки учителей элоквенции. Страсть Нерона к музыке также вызывала старание понравиться ему и в этом; только можно было опасаться, как бы не возбудить в нем ревности к сопернику. Царствование Марка Аврелия дало богатый урожай квазифилософов. Всюду на улицах можно было их встретить бородатых, с длинными посохами, со свитками под-мышкой, в потертых плащах. Подражание государям у магнатов и средних людей проявлялось и в мелочах. Старались есть любимые ими кушанья, дело доходило иногда до того, что здоровые принимали цезаревы лекарства. Когда Адриан стал носить полную бороду, чтобы прикрыть бородавку, то же толпами повторяли сенаторы, раньше обращавшиеся к брадобреям. В быту высшего общества, как в зеркале, отражается картина жизни двора. Но и обратно, многие привычки и формы жизни из магнатских миров проникают на Палатин.[2]

Расположенные полукругом около Палатина холмы, Целий, Эсквилин, Виминал и Квиринал, были заняты менее внушительными, но столь же вельможными обиталищами с великолепными садами знати. Продолжение их, так и называвшееся — «Садовый холм» (Collis hortorum), заселилось подобными же оседлостями, и слово «horti» (сады) стало техническим для обозначения богатых городских усадеб, обособленных домо-

[1] Так утверждает сам Тацит (Ann. III, 55).

[2] Первый том цитированного выше труда Фридлендера заключает в себе превосходную картину придворных нравов Римской империи.



Август в молодости.

Ленинград, Эрмитаж.

хозяйств крупных фамилий. Такие же роскошные особняки («деревни в городе») основывались и в затибрской части Рима — на Яникуле и на Ватикане. Однако императоры строили их не только здесь, но также и по другим местам столицы, покупали, получали по наследству, конфисковывали у осужденных. Так и возникло в дальнейшем кольцо роскошных цезаревых недвижимостей, блиставших роскошью, вокруг палатинского центрального дворца. Между такими барскими домовладениями существовала, конечно, сообразно их величине и пышности, лестница со многими ступенями. Рядом с истинно княжескими обитаниями устраивались более скромные, но, всё же, «господские» жилища просто состоятельных семейств, как семья Тацита; но и эти семейства поддерживали образ жизни подобного же типа, окружая себя многочисленными рабами квалифицированных профессий для обслуживания различных нужд дома. Владельцы всех таких хозяйств находились между собой в постоянном общении в связи с классовыми, экономическими, служебными и родственными отношениями.

Обрисовав внешний вид императорского Рима, наметив размещение на его площади главных категорий его населения в той части города, где должно было находиться местожительство также и семьи Тацита, заглянем внутрь знатных и благоустроенных домов, где обитали люди того класса, к которому принадлежал объект нашей работы, и посмотрим, как жилось их владельцам и домочадцам.

Чтобы дать полную картину их нравов, реально обставленную наглядными фактами, — нам потребовалось бы слишком много места. Постараемся же по возможности выбрать лишь такие черты, которые отчетливо осветят основное положение вещей.[1] На общий вопрос, каково было состояние или уровень

[1] Прекрасным подспорьем может здесь служить старая, но превосходно написанная книга выдающегося французского ученого Гастона Буасье «Оппозиция при цезарях» (Gaston Boissier. L'opposition sous les Césars), имеющаяся в двух русских переводах (Общественные настроения во времена римских цезарей, 1877 и 1915 гг.). В ней рассматривается

нравственности высшего и вообще образованного римского общества в изучаемое время, можно ответить на основании, хотя и косвенно выраженного, но ясного показания самого Тацита в его сочинении «О Германии», где он раскрывает перед читателем картину домашней распущенности римского «света»: в Риме цветут прелюбодеяния (гл. 18). Вскармливание своих младенцев матери поручают кормилицам (гл. 19). Поженившиеся избегают большого потомства. Юноши и девушки вступают в брак преждевременно и непрочно (гл. 20). Сближение между полами происходит из корысти. Женихи гоняются за приданым, молодые мужчины выпрашивают завещания у бездетных старцев. Всё это свойственно цивилизованным римлянам эпохи Тацита, упоминающего и о других постыдных их свойствах: пренебрежении к труду, любви к праздности и удовольствиям. Намекает (гл. 19) Тацит и на упадок воинского духа и подчеркивает жадное пристрастие к «развращающему соблазну зрелищ», чувственных или грубо жестоких, зловредное возбуждение на пирах, злоупотребление вином и тщеславное увлечение нарядами. Наконец, тут же клеймит он алчную страсть к денежной наживе, ради накопления или для безумных трат на оргиях, и практику безжалостного ростовщичества.

Получается густая концентрация всех язв испорченного общества, разъедающих родину автора, хотя Рим и кичится своим величием. Это раннее сочинение Тацита нам ясно показывает, на какие именно стороны жизни направлялось его внимание в юности, какие чувствования и оценки развивало в его сознании окружающее, как воспитывала его среда. Тут чувствуется не риторический пафос проповедничества, а серьезный страх гражданина за будущее родной страны при тревожном ощущении социальной опасности.

Уже Август, вступив во власть, застал те нравы, какие рисовал Тацит сто лет спустя. Император признал необходимым бороться против зла особыми законами и действовать

развитие отношений между римскими императорами и высшими классами общества в первые два века империи.

личным примером. Он задумал импонировать обществу умеренным образом собственной своей жизни. Дом его на Палатине отличался скромностью убранства. Август одевался в платье, сшитое из ткани домашнего изделия, без всяких украшений. Он поощрял браки, преследовал наказаниями лиц, отказывавшихся от деторождения, и наоборот, награждал тех, у кого рождалось не менее троих детей.

Принимаемые меры приносили мало пользы, законы не искореняли роскоши, а последней сопутствовали всяческие эксцессы и пороки. Гораций, также идейный враг роскоши, вторя Августу, осыпал ее нападками в своих одах и сатирах. Император упорствовал. Отношение его обострялось тем, что его забота о возвращении к нравам «доброго старого времени» (mos maiorum) терпела горькие неудачи в недрах собственной его семьи. Его дочь Юлия и внучка Юлия Младшая опозорили себя любовными приключениями, показав себя не почтенными матронами, а женщинами распущенных нравов. Мрачным примером того, как подобные дела оскорбляли и мучили правителя, который приобрел власть насилием, а на склоне лет мнил превратиться в цензора нравов, служит известное (отчасти таинственное) дело о ссылке, к тому времени уже прославленного, поэта Овидия. Овидий в двух из более ранних сборников своих стихов «Amores» (Любовные элегии) и «Ars amandi» (Наука или теория любви) — описывает жизнь римского общества. Он говорит не об одних высших классах, но захватывает и более широкие круги общества, ведет речь и о самом себе. Овидий воплощает свой предмет в форму множества сценок, изображаемых им в изумительно живых красках, причем выступает он не как моралист или человек кающийся, а как сочувствующий пороку тонкий наблюдатель, который вспоминает об испытанных им самим или виденных им радостях жизни. Во втором из названных сочинений автор предлагает даже систему правил, как лучше всего использовать заманчивые наслаждения, избегая опасностей и затруднений. Так поэт содействовал изворотам в практике нравов, с которыми безуспешно жаждал покончить

Август, и тот рано почувствовал к поэту антипатию, а позже и гнев.

Распутство дочери и внучки заставило императора нанести им удар: они были высланы из Рима. Но постигла кара и оправдателя и совратителя. Овидий был отправлен в «Скифию,» к устьям Дуная,[1] и злопамятность цезаря держала поэта в изгнании до самой смерти в дикой стране, не внимая униженным просьбам о помиловании, которыми тот осыпал императора. Напрасны были и те вопли о помощи, которые обращал Овидий к забывчивым своим друзьям. Против Овидия протестовала партия староверов, ратовавших за строгость нравов, поддерживали же Овидия такие крупные поэты, как Тибулл и Проперций; их творчество дает богатую хрестоматию образцов по главным упрекам Тацита в лирических отступлениях последнего в сочинении о германцах. А в поздних больших своих сочинениях Тацит будет осуждать свое общество уже прямыми, углубленными нападками.

Неудача предпринимавшейся Августом моральной реформы подтверждается тем, что при его преемниках главным гнездом ужасающей порчи нравов сделался именно палатинский дворец, а оттуда зло распространялось вокруг, будто бы по санкции государей. Самые высшие подражали наиболее ревностно. В покоях императоров расцветали безумная роскошь, бесстыдный разврат, произвол и жестокость, ложь, лесть, продажность и подкуп, интриги, шпионство — все пороки.

Многоликое зло разливалось, как страшная эпидемия. Тиберий, Калигула, Нерон, а после них Домициан, были образцами, — они давали тон блестящим представителям знати. У римских авторов (и у Тацита в том числе) можно подобрать немало примеров знатных мужчин и женщин, прославившихся развратом в потрясающих наше воображение формах. Из времен детства Тацита невольно вспоминается фигура неро-

[1] Местом ссылки Овидия был город Томы на берегу Понта (ныне Констанца в Румынии). Там осталась память о нем в поэзии местного населения; фигура Овидия отразилась и в творчестве нашего Пушкина, побывавшего в тех краях.

нова любимца Петрония, которому Тацит дал характеристику в свойственных его стилю сдержанных, но выразительных словах.[1] Петроний был советником императора, проходил крупную сенаторскую карьеру, был одним из богатейших членов аристократии, блестящим придворным, своеобразным писателем, изобразителем нравов знати и подонков, авторитетом по устройству наслаждений на разные вкусы, — и всё это соединялось у него с нескрываемым развратом. Тацит так говорит о нем: «Петроний отдавал дни сну, ночи работе и радостям жизни; он приобрел знаменитость праздностью, как другие заслуживали ее деятельностью. Он не принадлежал к тем расточителям, которые бросают деньги на грубые похоти, а являлся знатоком утонченнейших наслаждений... Когда он был наместником Вифинии, а потом консулом, он показал себя способным к серьезному делу, но затем всецело предался порокам или подражанию им. Он был допущен к ближнему двору Нерона и там играл роль руководителя и устроителя роскошнейших празднеств и изысканных развлечений. Только та забава, какую придумывал или одобрял Петроний, признавалась самой приятной, заманчивой и совершенной. Такая слава возбудила зависть в Тигеллине.[2] Против своего соперника, более искусного, чем он, в изобретении развлечений, он стал наветами возбуждать в императоре жестокость, которая из страстей выше всех преобладала в нем. Тигеллин обличал Петрония в преступной связи с близким к Нерону Сцевином, подкупил, чтобы выдать господина, одного из его рабов, остальных же посадил в заключение, чтобы они словом своим не могли его защитить». Петроний из любимца превратился в жертву: это была обычная судьба таких людей. Он должен был сам предать себя смерти и длил свое умирание, перевязывая вскрытые жилы: окруженный друзьями, распевал он веселые песни, отдавая дань искаженному, чувственному эпикурейству.

---

[1] Tac. Ann. XVI, 18.

[2] Временщик Тигеллин был одним из самых гнусных приближенных Нерона в последние годы его правления.

В своих беллетристических произведениях[1] Петроний рисует с полной откровенностью порочные нравы в верхах общества и в его низах, да и собственной личностью он их наглядно представляет. Что это общество не исправилось во времена Тацита, о том свидетельствуют крупные поэты, его современники: знаменитый сатирик Ювенал,[2] а также острый и блестящий эпиграмматист Марциал; первый — с возмущенным негодованием, второй — с язвительной насмешкой, не без цинизма.[3]

Как слагались отношения между принципатом и правящим классом в республике? Сословная политика Августа после переворота направлялась тенденцией придать положению вещей форму не разрушения, а восстановления старого порядка, расстроенного междоусобиями. Организация верховной власти была внешне прикрыта республиканской терминологией. Но основы самовластия, искусно объединенные в руках принцепса, делали последнего всесильным. За «сенаторским» и «всадническим» классами юридически подтверждены были прежние прерогативы. Но то была только «видимость». Инициатива и сила в государстве принадлежали цезарю, поддерживаемому войском и заинтересованным сочувствием широких землевладельческих и торгово-промышленных групп населения в Италии и провинциях. Симпатии городских масс столицы и других больших городов привлекались раздачами хлеба и щедрыми милостями. Можно было в безопасности укреплять власть и «монархизировать» государственный строй, сохраняя лишь для показа «демократическую» окраску политики.

---

[1] Как теперь согласно большинство исследователей, тацитовский Петроний есть Petronius-arbiter, писатель, принадлежащий римской литературе, автор нравоописательного романа «Сатирикон», убедительно подтверждающего картину социального и культурного разложения той эпохи. См.: акад. М. М. Покровский. История римской литературы. (М.—Л., 1942, стр. 312). В цитированной книге Г. Буасье есть особая глава о Петронии.

[2] Он был воодушевленным и серьезным обличителем упадка нравов.

[3] В сущности Марциал тайно сочувствовал тому, на что нападал, только не был так откровенен, как Овидий.

Выработка прочных отношений между старою знатью и новою властью должна будет зависеть от того, куда и как будет ориентироваться социальное поведение сенаторского класса в то время, как всаднический уже поддался: смогут ли и захотят ли сенаторы согласовать свои интересы с притязаниями и надеждами принципата, т. е. эволюционировать к роли монархического правящего сословия?

Утомленные гражданскими смутами, измученные постоянным страхом перед угрозой потерять имущество и самое жизнь при повторных и неожиданных переворотах и катастрофах, руководящие фамилии примирялись с торжеством единоличной власти, когда в основателе империи произошло успокоение после кровавых актов войны и террора. Они приняли принципат как устойчивую форму существования. Потерянная политическая свобода[1] республиканских учреждений, в которых знать занимала руководящее положение, перестала цениться как благо, раз она связана была с вечно грозящей опасностью. Сенат, хотя формально и сохранивший свои права, говорил с цезарем покорным языком верноподданных. В первую половину правления Августа царило, таким образом, как будто единство между государством и обществом.

Лишенные самостоятельной политической деятельности, знатные и богатые классы, пользуясь внутренним миром, утешались возможностью доставлять себе при помощи своих средств, часто огромных, всякие наслаждения, физические и умственные, смотря по вкусам, сближаясь друг с другом по симпатиям и наклонностям и по личным интересам. Вокруг двора первого императора образовалось в Риме «светское общество». Оно зажило в особых формах комфортабельного, даже роскошного быта, в «занятой праздности», измышляя новые способы весело проводить время. Эти люди общались друг с другом небольшими группами, создававшими в своей

[1] После убийства Цезаря Брут отчеканил монеты с надписью «Восстановленная свобода римского народа». Август, с своей стороны, развивал фикцию, будто, подавив междоусобия в 726 г. от основания города Рима, он восстановил республику («Res gestae divi Augusti», 34).

совокупности своеобразный вид «блестящего света», beau monde.

Знать, естественно, заняла видное место в жизни императорского двора. Помимо выполнения придворных служб, ее члены постоянно фигурировали в официальных торжествах и празднествах и в ежедневных выходах, приемах, аудиенциях. Здесь именно и вырабатывались формы общежития и правила поведения избранного меньшинства, устанавливались манеры приличного обращения, сочинялись и менялись моды. Свободное время проходило в зрелищах и увеселениях, в театрах, на бегах, на гладиаторских боях, на представлениях примерных сражений, на играх.

Утверждалась, однако, практика и других встреч, более интимного рода, и там происходил подбор более тесного знакомства по симпатиям и влечениям. Люди встречались друг с другом в различного рода клубах, лекториях, литературных и музыкальных кружках. Наконец, ближе сошедшиеся виделись между собою и в своих домах. Устраивались пиры, вечеринки с домашними забавами. Велась игра, даже азартная. Культивировались и умственные интересы, а также художественные развлечения. Велись разговоры на волнующие темы момента, сообщались и обсуждались литературные, светские и политические новинки. В собраниях участвовали женщины, привыкшие к свободному обращению с мужчинами. Это были не только «куртизанки», но и «светские дамы», нередко блиставшие красотою, щегольством, остроумием, принимавшие поклонение и умом своим завоевывавшие себе влияние. Видное место в числе приглашаемых занимали поэты, ораторы, артисты, художники. Из такого «светского общения» возникало нечто вроде «салонов» нового времени: сплачивались культурные мирки, часто приобретавшие очень действенную роль в обществе. Внутри них возникала чувствительная психическая атмосфера, на которой должны были сказываться нравы и в которую проникала политика, окрашивая их в различные цвета и оттенки.

Салоны и кружки, слагавшиеся в высшем обществе, облекались в формы обычаев позднего эллинизма. Греческий язык был обязательным орудием общения между его членами. Легкие нравы были свойственны греческому миру в александрийскую эпоху. Им охотно подражали мужчины и женщины римских «фешенебельных» кругов, и трудно сказать, кто из них первый задавал тон. Те же группы, подчиняясь сознательно афинским и александрийским образцам, но находясь в постоянных связях с Палатинским двором, невольно воспринимали оттуда струи огрубения и распутства. Последние только прятались под личиною обманчивого лоска. Двор цезарей и цвет знатности — та же развращенная верхушка общества.

Раз связь с Палатином служила определяющим началом для существования знати, то в ее недра должно было просачиваться оттуда и многое другое. С быстротою молнии из дворца приходили новости, задевавшие интересы причастных ко двору ее членов. Сыпались всякие слухи. Они вызывали пересуды и сплетни, которые будили болезненное любопытство, порождали раздражение и неприязнь. Разгорались страсти, крепли политические симпатии и антипатии к главе государства, поддержка либо недовольство, накалялось честолюбие, и вслед за этим подготовлялась оппозиция и, стало быть, группировка за или против власти. Сначала всё вращалось в сфере разговоров и споров в своем кругу, потом шла передача в круги другие, люди заражались взаимными настроениями, увеличивались вожделения. Всё смешивалось, сеялось злословие и соперничество, заплетались интриги, вспыхивали зависть и месть, неизбежно строились карьерные замыслы, поднималось враждебное чувство к власти. В первое время всё бурлило в том же котле, выражалось лишь в насмешливых анекдотах, желчных выходках против сильных мира. Потом сочинялись политические памфлеты, и от их распространения усиливалось брожение. При Августе сначала долго сохранялось довольство в обществе, утверждалась покорность, поощрялось даже искательство. Дальше появились признаки критики и осуждения, жалобы на стеснения.

Чтобы не скоплялись враждебные чувства и мнения, Август открывал отдушины, допуская фрондирующие словоизвержения, сатирические выпады. С литературы сняты были чрезмерные строгости, и через нее выпускались пары, переполнявшие душевные меха. Август писал Тиберию, который принимал к сердцу сгущавшиеся нападки: «Не сердись на распускаемые обо мне сплетни; будь доволен тем, что нам не могут сделать зла».[1] Сам Тиберий, уже приняв власть, сначала возражал приближенным, подстрекавшим его к репрессиям, лицемерным аргументом: «В свободном государстве всякий пользуется правом думать и говорить, когда и что ему угодно».[2] Потом дело резко изменилось.

После смерти Августа лица с сильным характером оправились от удара, отнявшего у знати власть. Они подняли голову, очнувшись от владевшего ими страха. В некоторых проснулись республиканские воспоминания и чувства гражданского долга, другим захотелось вернуть в свои руки хоть долю авторитета в делах. С другой стороны, в обществе установилось известное уважение к Августу и укоренилось сознание, что сила за ним. Тиберий же на первых порах мог представляться более слабым и более уязвимым. Памфлеты, эпиграммы, злоречия участились и осмелели. Но скоро Тиберий дал отпор злословию. Он подвергал разысканных и обличенных жестоким репрессиям, и задор у оппозиции быстро сменился страхом и изворотливостью. Прибегали лишь к скрытым нападкам, анонимным инвективам или пародиям, снимавшим значительную часть опасности, превращавшим оппозицию в спорт с небольшим риском.

Наиболее оскорбленные произволом цезарей и стеснением прав представители знати пытались найти более действенные способы борьбы господствующего класса против цезаризма, опиравшегося на другие, стоящие ниже, отслоившиеся социальные категории. Группирующиеся противники императоров надеялись при помощи тайных заговоров отстоять себя

[1] Suet. Aug., 51.
[2] Suet. Tib., 28.

и вернуть потерянное, подготовив террористический акт, дворцовый переворот или низвержение императора посредством бунта в столице с участием гвардии. Преемники Августа почувствовали опасность и сами были охвачены страхом. Они преувеличивали ее или решали пользоваться всякими поводами, чтобы кровопусканием и разорением непокорных еще более ослабить класс, пытавшийся бороться. Правительство цезарей ошеломило общество жесточайшими репрессиями, обрушивавшимися на причастных и непричастных, и даже больше на вторых, чем на первых.

В то время, как в провинциях империи поддерживалась благоразумная политика, проводившаяся там еще Августом, в центре римского мира установилась настоящая тирания. Следовавшие друг за другом цезари являлись либо озверелыми деспотами, либо жалкими ничтожествами, действовавшими по указке и подстрекательству злодейских честолюбцев или упоенных властью женщин, при безмолвии порабощенного страхом и раболепствовавшего сената. Единственным средством для обуздания сопротивления, часто мнимого, служила смертная казнь, применявшаяся во множестве. Главным орудием розыска было шпионство: тьма подкупленных или промышлявших сыском людей всякого звания и состояния — от рабов до сенаторов — рекрутировалась из недр развращенного общества, образуя собой около особы императора множившийся корпус охраны, на защиту которого цезари рассчитывали, пожалуй, сильнее, чем на вооруженную армию. Число доносчиков росло из года в год. Сенека пишет: «Все одержимы манией обвинения, которая истощила Рим гораздо сильнее, чем любая гражданская война».[1] Предатели (delatores — дословно «доносчики») из привилегированных кругов легко втирались в кружки знати, но и над массою населения наблюдали сонмы таких же наемников.

Можно собрать из многочисленных показаний Сенеки хорошо ему известные ужасающие, достоверные факты. Он сам стоял у власти, как главный советник Нерона, в наиболее

[1] Sen. De benef. III, 26.

страшные годы, и хотя лично не спускался до таких способов ее сохранения, но не мог не чувствовать на себе доли ответственности за совершавшиеся акты чудовищных гонений. Тацит будет с негодованием говорить, что сохраненные для вида почетнейшие республиканские должности консулов, преторов, народных трибунов раздаются в награду за услужливость перед государями путем клеветы на безукоризненных людей. По его словам, ничто так не возмущало людей, оставшихся честными, как то, что доносчики кичатся званием консулов и верховных жрецов, словно добычей, снятой с врага.[1]

Два потока струились и наполняли жизнь императорского Рима, два психических процесса объединяли совершавшееся в нем движение: гнетущий или ожесточающий страх за жизнь объял и власть имущих, и подданных, а навстречу всеобщей панике бушевали сердца неистовой злобой и ненавистью. Ненависть охватила сильных, выражаясь в бесчеловечных преследованиях, без разбора и мысли о справедливости, а у слабейших она порождала постоянные злоумышления, чтобы извести гонителей, стать на их место или облегчить себя от невыносимого сознания ежедневно грозящей беды.

Знаменательно, что, анализируя мотивы и цели оппозиции и борьбы между знатью и принципатом, нельзя отыскать для нее серьезных принципиальных оснований. Люди преследуют или защищают личные интересы, они отстаивают свою жизнь, свою безопасность. Не ощущается, что класс, против которого, по видимости, борется принципат, желая весь его искоренить или вытравить из него старую породу, сплочен в борьбе за восстановление старого порядка. Среди врагов того или другого цезаря мы видим мало республиканцев. Обнаруживавшиеся заговоры имели целью устранить только данного властителя, выдвинув на его место другого. Сенаторский класс ослабляет себя разрозненностью. Императоры же истребляют в своих преследованиях не одних знатных, но наносят кругом удары тем, кто им кажется связан-

---

[1] Tac. Hist. I, 2.

ным с их врагами, — поражают разночинцев, клиентов, рабов. Они вызывают восстания в армиях, которые им нужны для поддержки развиваемого ими монархического строя, и возбуждают временами недовольство также и в городских массах.

Можно сказать, что римское общество «уже созрело для деспотизма», когда он появился в виде принципата. Современному событиям историку-наблюдателю трудно было разобраться в мрачном и кровавом хаосе, который проходил перед его глазами. Как уразуметь причины совершающихся ужасов? Где найти пути, как освободиться от них, как вернуться к благосостоянию, благоустройству и благомыслию, к добру вообще? Трудная задача ответить на эти вопросы предстояла Тациту, когда он взял на себя бремя историка.

Светское общество, о котором только что говорилось, носило печать цивилизованности, но умственная его культура была поверхностная, дилетантская, нравственная же сильно пошатнулась. Однако в его составе были немногочисленные группы, или кружки, которые лучше других восприняли пришедшее с Востока, из Греции, просвещение и напряженно жили духовными интересами.

В середине II в. до н. э. Рим завоевал Грецию. К тому времени Греция достигла высших ступеней блестящей и оригинальной культуры, и победитель по сравнению с нею был народом еще варварским. Поэтому положение греков под игом культурно отсталого, тяжелого завоевателя привело их, особенно интеллигенцию, в состояние глубокой депрессии. Творческая энергия и моральное самочувствие нации понизились, а производительность труда упала в условиях жестокой эксплоатации со стороны новых господ. Совершилось обеднение и огрубение культуры, когда распорядителями судеб мира стали вожди народа, еще не научившегося ценить блага умственного труда и созидания.

Эллинизация не сразу нашла здоровые пути в римскую среду. Сначала туда легко просачивались только развращенные нравы больших греческих центров, и лишь понемногу началось проникновение оттуда высоких идей, знаний и раз-

личного рода технических навыков, и стали внедряться в практику производства приемы греческой техники и индустриального совершенства. Нашлась благоприятная почва и для восприятия греческой науки, и художественных вкусов, и цивилизованных обычаев Греции. Появились кружки поклонников греческого гения. Римские талантливые фамилии — Сципионы, Лелии, Гракхи — делаются убежденными сторонниками греческой культуры, «филэллинами». Это они создали в следующем поколении атмосферу, в которой мог воспитаться Цицерон, уже всецело проникшийся началами греческой образованности, и явившийся страстным пропагандистом ее в области философии, литературы и искусства.

Цицерон был родоначальником той особой «идеологии», которая стала расцветать в умах прогрессивного меньшинства лишь во времена принципата. Центральным понятием, типичным для этой идеологий, была идея единства: политическая теория такого, казалось бы, незыблемого, республиканца, каким был Цицерон, сосредоточивается на мысли о концентрации власти в руках единоличного правителя, высшего уполномоченного от народа, долгосрочного (лучше всего пожизненного) носителя верховных прав. Уважая традицию, Цицерон называет его не «царем» — rex (это слово тогда ненавистно), а «правителем» — rector, и видит его реальное историческое воплощение в образе республиканского вождя, Сципиона Африканского младшего.[1] «Правитель» должен обладать высоким разумом и безукоризненною справедливостью, а для этого ему необходимо пройти полную систему греческого образования, стать философом, знатоком права и гуманистом. Пафос, его вдохновляющий, рождается от девизов общечеловеческого просвещения (humana civilitas),[2] мировой государственности (универсализма) и вечного мира для всех (pax). Греческая философская мысль внушила эти начала великому писателю, выросшему в народе, войною

[1] Эти мысли Цицерон развивает в рассуждении «De re publica».

[2] Дословно: «Людская гражданственность».

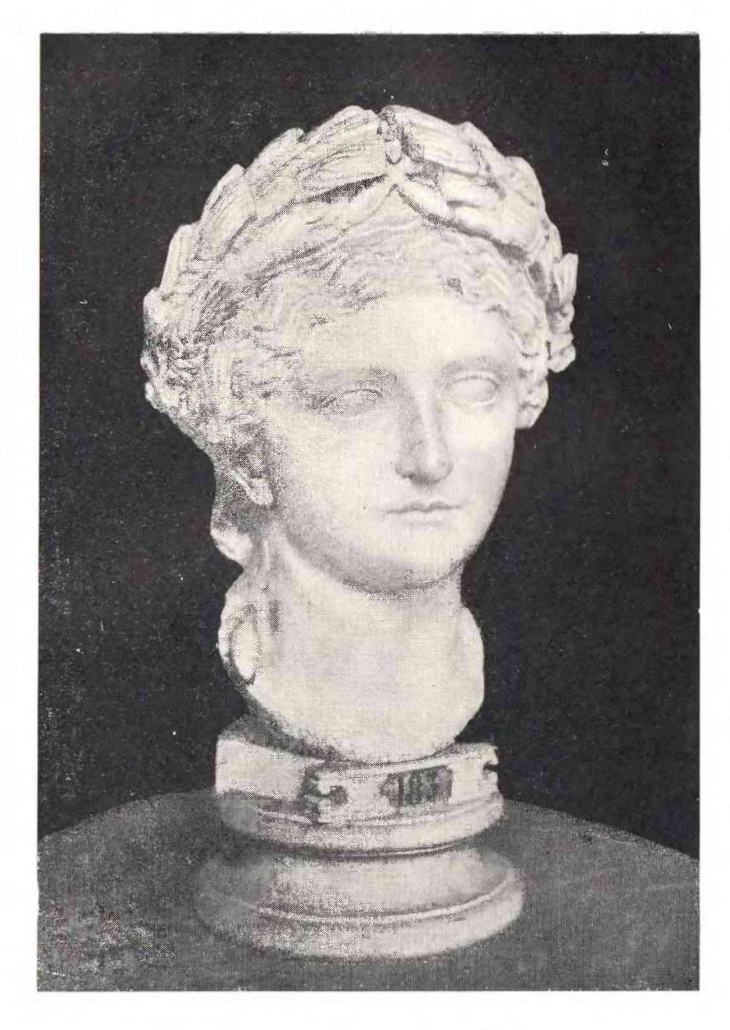
создавшем свое государство, в политическом сознании которого долго силен был национализм.

Культура времени Августа была детищем успехов римского просвещения, достигнутых в эпоху именно Цицерона. Воздействием своим на Рим греческая цивилизация на почве социального роста и хозяйственного обогащения множившихся и усиливавшихся высших, а также и средних классов римского общества развернула необычайный прогресс духовных сил. Всё это было плодом умственного подъема последнего века республики. Но успокоение внутренних междоусобий в связи с объединительной политикой Августа и его главных сотрудников — Агриппы и Мецената — много содействовало притоку в Рим способных к творческой инициативе выдающихся дарований. И правительство первого императора сумело использовать их богатые средства для своего прославления. Правление Августа было кульминационным моментом в развитии римской культуры. Ни до него, ни после него не сосредоточивалось в Риме такого множества великих талантов во всех отраслях умственной деятельности. В Риме собрались замечательные поэты: достаточно назвать крупнейшие имена — Вергилия, Горация, Овидия, Тибулла, Проперция; выдающиеся ораторы — Лабиен, Меценат, Азиний Поллион; историки — Тит Ливий, Трог Помпей; юристы — Алфен Вар, Требаций Теста, Антистий Лабеон, Атей Капитон. Последние положили основание школам мирового права, которыми была знаменита римская образованность. Первоклассных философов (т. е., по понятиям того времени, ученых) между писателями времени Августа не было, но философскими интересами были затронуты все. Крупные светила были окружены звездами меньших величин. Вот почему филологическая критика новых времен назвала эту эпоху золотым веком в истории римской литературы. Нельзя утверждать, что литературные вожди века Августа были выше главарей блестящей плеяды авторов предшествовавших, цицероновых лет или лучших представителей позднейшей, так называемой серебряной латыни (II в. н. э.):

поэт-философ поздней республики Лукреций, может быть, нисколько не ниже Вергилия и Горация, Тит Ливий не замечательнее Саллюстия или Юлия Цезаря, и лирики Тибулл и Проперций не сильнее старшего, чем они, Катулла. Точно так же позже могучий сатирический талант Ювенала, этическое учение Сенеки, глубина содержания и возвышенный стиль Тацита — это все первостепенные проявления литературного гения. В свою очередь Цицерон, по богатству идей и совершенству языка, постоит за себя перед всеми. Но настоящие классики золотого века Августа сильны своей численностью (это целый венок), своею безукоризненною речью, единством своего вдохновения. Гармоническим согласием замыслов и дружным единством работы они образуют несравнимо могучую коллективную силу.

Название «Августова века» присвоено этому моменту в римской литературной истории не без основания: Август проницательно понял общественное значение литературы; он создал для ее деятелей благоприятные условия работы в смысле материальной поддержки, расширения свободы и уважения к их делу. Великие писатели стали на его сторону, не надеясь на восстановление республики и воспевая его успехи и доставленные им человечеству блага. Но они, поэты и прозаики «Августова века», не всегда работали по политическому заказу правительства империи. Они нередко активно влияли на самого же Августа, внушая ему свои идеи, открывавшие, по их мнению, новые пути вперед, поскольку они служили высшим интересам и культурным потребностям выдвигавших их значительно расширившихся классов.

Прогрессивная проповедь литературы группировалась вокруг двух главных идей — мира и общечеловеческой культуры, выдвинутых впервые, как мы сказали, еще Цицероном. Первую развивали выразительнее всего поэты, вторую пропагандировали философы. И те, и другие безусловно влияли и на умонастроение Тацита, были его литературными учителями. Около центральных идей сцеплялись вместе и другие идеи, с ними связанные и их разрабатывавшие.



Ливия, жена Августа, мать Тиберия.

Ленинград, Эрмитаж.

Особенно настойчиво трудился Вергилий, самый принципиальный и самый искренний из современников-литераторов. Он вырос среди кровавых событий триумвирата (род. в 70 г. до н. э.), сам пострадал материально в процессе кризиса, но из тяжелого опыта не вынес ни ненависти потерпевшего, ни страха угнетенного человека, а проникся жаждой возрождения и надеждой, что оно скоро наступит. К этому он и направляет новую власть. Какова причина общественных бед? Корень их — война, свирепствующая по всему свету. От язвы братоубийственных междоусобий гибнет производительный труд, — все перековали серпы на мечи:

Страсть к железу кипит и преступное бешенство брани.

Первые сельские стихотворения Вергилия, «Буколики», оплакивают бедствия трудящихся земледельцев. Поэт мечтает об их избавлении от несчастий. Дальнейшие его стихотворения, «Георгики», проповедуют трудовую жизнь на лоне плодоносящей земли. Завершением является величественная теория мирового и мирного единства, воодушевляющая его поэму «Энеиду». В программу Августа входила задача поддержать землевладение разоряющегося крестьянства.

Рим воевал (так мыслит поэт) для объединения мира, но теперь должен настать вожделенный конец. Водворится согласие и мир (concordia, pax). Это основная мысль «Энеиды». Будущее излечит настоящее от грехов, унаследованных из прошлого. Такой завет внушает Вергилий империи.

В своем творческом вымысле он создает идеализированные им легенды о старине, пророчества о грядущих судьбах народа, строит философскую теорию лучшего будущего и обновления религии в духе монотеизма. Самыми сильными документами, знакомящими нас с этой религиозно-философской струей в поэзии Вергилия, являются IV эклога «Буколик» и VI песнь «Энеиды».[1] Древняя мифология,

[1] Последний перевод на русский язык «Энеиды» Валерия Брюсова (изд. Academia) и его же сжатый очерк о Вергилии в «Новом энциклопед. словаре» Брокгауза—Ефрона (с библиографией) не удовлетворяют почитателей римского поэта. Следует обращаться к переводу Фета.

народная поэзия, поверья и пророчества еврейских, восточных, греческих и римских «сивилл», исторические предания различных народов и космологические построения ученых перерабатывались идеалистическим замыслом Вергилия в великое предсказание о водворении мирового царства на земле. Отсюда в IV эклоге выросла у него картина возвращения счастливого века, руководимого благородным вождем, отлившаяся в форму лирико-эпической кантилены, моления, повествования и гимна:

Новых великих веков череда зарождается ныне.
(Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo).[1]

Мир (pax) — главный элемент готовящегося блага. Царство мира спустится на объединенную Римом землю, и будет править им новый великий цезарь. Автор хотел бы дожить до свершения обетования.[2] И он и дожил: Август (так Вергилий верит) идет по начертываемой поэтом дороге. Поэт кончает VI песнь «Энеиды» хвалою Августу — за то, что тот осуществляет высокий долг, к которому поэт и призывал цезаря в своей IV эклоге. «Пацифизм» подает руку «универсализму» (reget pacatum orbem — «да правит он замиренной вселенной»).[3] Это будет новый строй, но он выработает и новое право. Грецией выполнена миссия служения науке и искусству. Задача же государственного и правового обновления предназначается великой Римской державе.

Вергилий формулирует это в следующих стихах «Энеиды»:

Может быть, медь выковывать мягко, чтоб будто дышала,
Призваны лучше другие, из мрамора, словно живые,
Лики ваять, блистать красноречьем, движения неба
Точно сумеют чертить и звезд объяснить появленье.

См. превосходный комментарий Ed. Norden'a к VI песне. С. В. Шервинскому принадлежит перевод «Буколик» и «Георгик» Вергилия. Научное обширное исследование вопросов, связанных с IV эклогой, дал Ed. Norden в своей работе «Die Geburt des Kindes» 1924.

[1] Verg. Buc. Ecl IV, 5.

[2] IV эклога была написана около 40 г. до н. э., когда политика Августа еще не определилась и когда Вергилий стремился направить его волю к цели, желанной самому поэту.

[3] Op. cit. IV, 17.

Ты ж единить народы властию, римлянин, помни —
В этом будет твой дар: устанавливать мира (pacis) порядок,
Преданных оберегать и обуздывать непокорных.[1]

Таков предначертываемый Вергилием Риму жребий. Риму суждено объединение мира: чем? — Властью. Но какою? — Справедливою (iustum imperium). Что же будет служить ее органом? — Право, общее и благое для всех (aequum ius). А оружие? — Оно будет направлять свое острие лишь против необузданных варваров. Тем же, кто ценит культуру, держава Рима оказывает лишь защиту. Здесь у поэта-мыслителя старые слова — «воевать», «щадить», «покоренные», «враги», «власть», «оружие» — получают обновленный смысл. Все построение покрывается радостным образом единства (unitas), согласия (concordia) и мира (pax). Излюбленные идеи, воплотившие для Вергилия мировую правду, принимали у него религиозную окраску. В созвучии с объединением римского мира силой империи предчувствуется и объединение богов понятием единого божественного начала. Идея единобожия сродни Вергилию, как и образ одухотворенного космоса. Это — верховный рок или высший закон, своего рода монотеистический, а вместе с тем и монархический, фатализм. Без религиозного обновления нельзя, по Вергилию, очиститься нравственно, вернуть бодрость в человеческие сердца и доблесть в жизнь государства. Республика пала безвозвратно, монархия очистит мир и сама поднимется силою новой веры.[2]

Поэзия Вергилия приобрела широкий успех и популярность. Его идеи соответствовали стремлениям и пожеланиям многих передовых людей. «Энеиду» ждали с нетерпением.[3] Позже она

[1] Verg. Aen. VI, 847—853.

[2] См. G. Boissier. La religion romaine (2 т.; есть два русских перевода); эта работа, так же как и другие книги Буасье, хорошо освещает изучаемую здесь эпоху.

[3] Проперций (III, 32, 65) возвещает о ней с восторгом еще до ее появления:

Место очистите, Рима поэты, очистите, греки:
Выше песнь родилась, чем «Илиада» сама.

стала любимым произведением идеалистически настроенных лиц поздней античности. Когда начало распространяться христианство, и оно также нашло у Вергилия созвучные себе голоса. Почитание этого поэта прошло через все Средневековье: для Данте Вергилий был «вождем», «властелином» и «учителем».[1]

Кроме Вергилия, и другие поэты-лирики подхватывали дружеским хором возглашаемый его эпосом мотив, раздававшийся, как громкая «песнь мира».

Муза Горация скромнее вдохновения Вергилия. Гораций не увлекается широкими мировыми перспективами, а довольствуется реально достижимыми мечтами о комфортабельной интеллигентской жизни среди безопасности и спокойствия упроченного порядка, позволяющего свободно предаваться любимой работе. Но и он потрясен бедствиями войны и страданиями народа, расстроен и собственными злоключениями и общим упадком нравов. Поэтому мотив мира пробуждается и в нем, а совесть его задается мыслью о необходимости очищения. Сначала поэтом овладевает отчаяние. Дрожь «эсхатологической лихорадки» (ужаса перед грозящим концом мира) пронизывает его душу. Республика погибла, нет надежды на ее спасение. Греховному городу грозит катастрофа. Лучшие люди пусть бегут на край света.[2]

Однако предчувствия поэта не сбылись: катастрофа миновала Рим, победил цезарь, восстановил спокойствие, и по вселенной разнесся клич избавления. Гораций тогда примкнул к новому строю:

Твой век, о цезарь, нивам обилье дал:
он замкнул святыню
Квирина, без войны опустевшую.
Хранит нас цезарь, и ни насилие
Мир не нарушает, ни междоусобия,
Ни гнев, что меч кует и часто
Город на город враждой подъемлет.

---

[1] Dante Inf. I, 2, 140.
[2] Hor. Ep. 16.

Императору внушается мирная политика, и забота его направляется к охране трудовой жизни и правосудия:

Безопасно бредет ныне на пашне вол,
Сев Церера хранит и Изобилие,
Корабли по морям смело проносятся,
  Ни пятна нет на честности.
Не бесчестит семьи и любодеяние,
Добрый нрав и закон — цепь для распутников;
Матери родовым сходством детей горды,
  За виной кара следует.
На холмах у себя день свой проводит век,
Сочетая с лозой дерево вдовое,
И домой воротясь, пьет на пиру, к тебе
Благоговейно взываючи.[1]

Гораций взывает здесь к высоким исконным свойствам римского народа: трудолюбию, честности и строгости. В обобщенном виде Гораций высказал свои мысли о будущем в заказанной ему кантате (carmen saeculare) для хора юношей и девушек, певших в честь наставшего будто бы благополучия, на юбилейном празднестве восьмисотлетия Вечного Города (17 г. до н. э.):

Хлебом пусть полна и скотом, Церере
  В дар земля венок из колосьев вяжет,
  Ветром пусть плоды и живящей влагой
    Вскормит Юпитер.[2]
  Боги! Честный нрав вы внушите детям!
  Боги! Старцев вы успокойте кротких,
  Роду дав приплод и блага
    С вечной славой![3]
  Вот и Верность, Мир, вот и Честь, и древний
  Стыд, и Доблесть вновь, из забвенья выйдя,
  К нам назад идут, и Обилье с полным
  Близится рогом.[4]

---

[1] Hor. Carm. IV, 5.
[2] Hor. Carmen saeculare, стихи 29 сл.
[3] Op. cit. ст. 45 сл.
[4] Op. cit. ст. 57 сл.

Поэт радуется упрочивающимся удобствам жизни, но равно приветствует и возвращение к нравственной простоте и земледельческому труду в формах крестьянского строя при покровительстве власти и справедливом законе. Он осуждает богатство и роскошь, старается также внушить Августу воспеваемые Вергилием идеалы, но в более доступных формах, понятных для широких, здоровых кругов.

Те же девизы звучат и в других политических одах Горация.[1] Он надеется, что в сердцах новых поколений, возрожденных здоровым сельским трудом, воспрянут религиозность, моральная чистота, физическая сила и духовная доблесть. Римское юношество вновь почувствует, что «сладостно умереть за отечество»[2] — и тогда «ничего не будет превыше города Рима».[3]

Не будем приводить сходные цитаты в честь мира из других поэтов — Овидия и Тибулла, более молодых, чем Вергилий и Гораций: и они повторяют те же самые темы, ставшие любимыми и модными. Недаром римский сенат, санкционируя идею мира, принятую Августом, постановил воздвигнуть на Марсовом поле (в 13 г. до н. э.) алтарь мира (ara pacis). Овидий отмечает это с одобрением:

Песнь сама привела к алтарю нас желанного мира.
Мир, оставайся и будь милостив к нашей земле.[4]

Овидий радуется, воодушевляясь мыслью о благородстве труда, творимого для других:

Сродна душе человека радость служения людям
Лучше пути не найдет — славы и чести достичь.

Таков новый идейный хор прогрессивной римской литературы, призывавший к миру и осуждавший войну как злое начало в жизни государства. Течение было широкое. В нем

[1] Это первые шесть стихотворений III книги «Од».
[2] Hor. carm. III, 2, ст. 13.
[3] Carmen saeculare, ст. 11—12.
[4] Ovid. Fast. I, 712.

участвовали не одни поэты, но и историки, философы и ораторы. Оно не остановилось и позже, но продолжало развиваться и после Августа, несмотря на перемену фигур и образа действий его преемников. Один из литературных, ярко заметных представителей этой традиции, был Сенека — философ, учитель Нерона, плодовитый, талантливый и влиятельный ученый писатель. По его теории, всеобщий мир (pax universalis) — естественный закон бытия (lex universalis). Сенека проникнут ярой ненавистью к войне. Война — величайшее зло, война — бедствие. Дело же мира — дело добра. Надобно забыть о воинствующем периоде римской истории: он закончен, и наступает солнце всеобщего мира. Сенека первый из римских писателей пользуется выражением «pax Romana» как синонимом выражения «imperium Romanum». Римское государство — это мир.

Блестящие, образованнейшие юристы, сменяющие друг друга знаменитою цепью в первые три века империи, представители оригинальнейшей отрасли римского просвещения, являют себя убежденными сторонниками идеи мира. Наконец, Плиний Натуралист с искренним энтузиазмом отожествляет оба понятия, которые и на нашем языке выражаются одним трехзвучным словом «мир» (pax). Он говорит о «неизмеримом величестве римского мира» (immensa pacis Romanae maiestas), понимая здесь под «миром» римскую мировую державу.

Признать оптимистические оценки в литературе будто бы осуществленного Августом переворота за изображение настоящей действительности было бы, без сомнения, ошибочно. В них сильно звучит похвальное слово. Но нельзя не увидеть здесь появления в истории римской мысли идейного течения такого рода, которое указывает на поворот в жизни государства и в политике его вождей к новым формам социального строительства. Нельзя не усмотреть здесь же возникновения и у римской интеллигенции сознания не только нового идеала, но и того реального интереса, на каком этот идеал базировался, как в деле организации отношений между странами и людьми, так и в области зарождения иного хозяйства

и иных социальных группировок. Отсюда вытекало их обновленное понимание необходимых форм общежития и самых понятий о сущности союза между членами общества.

С понятием «pax» (мир) связывалось представление о единстве, в которое входили два признака — civilitas и humanitas, а детищем всего комплекса указанных понятий являлось начало человеческой культуры humana civilitas. Это был сложный процесс идеологического развития, о котором необходимо упомянуть, ибо он сыграл роль в умственном воспитании Тацита, как и других прогрессивных писателей той эпохи.

Первое из двух сейчас выдвинутых слов (civilitas) означает то, что свойственно «гражданину» (civis). Это — «общежительность», нераздельная с человеческой природой (еще по Аристотелю «человек — общественное существо»), и оно означало как право гражданства, так и искусство управлять государством,[1] даже развивающуюся способность жить в растущей гражданской общине.

По мере движения вперед государственности и образованности, в термин этот входят признаки, отожествляющие римское понятие civilitas с нашим «цивилизованность». Вместе с проникновением греческих влияний в Рим, уже в цицероново время от этого слова веет смягченной общежительностью и благожелательством: у власть имущих — это сдержанность (moderatio) и доступность, между простыми людьми — дружелюбие, симпатия (caritas). Стало быть, цивилизованность (civilitas) осуществляется внедрением в «общественность» (civitas) чувства «дружества» к «согражданам».

Это слово, меняясь по значению связи его с историей, прилагается во время империи к характеристике хорошего правителя.[2] Тацит говорит (Annales, I, 33) о Германике, племяннике Тиберия, которого большинство граждан желало видеть импе-

[1] См. у римского оратора Квинтилиана разъяснение греческого понятия (по Платону) ἡ πολιτικὴ τέχνη, «политическое, т. е. государственное мастерство».

[2] У Светония слово «civilitas» близко понятию clementia (кротость, милосердие).

ратором, что у него «благородная природа» (civile ingenium), выражающаяся в удивительной благосклонности и приветливости к подчиненным. Плиний Младший подчеркивает, что у Траяна то же свойство обнаруживалось в уважении к свободе подданных (Paneg., 87). Адриан же даже по внешности был «civilissimus» с самыми низшими людьми.

«Цивилизованность» в таком понимании должна была итти не только сверху вниз, но и снизу вверх: хорошо, если управляемые чувствуют к правителям любовь, вместо страха. Но надо быть благожелательным («цивильным») не только к друзьям, но и к чужим. Это отношение к людям должно приобретаться, кроме опыта, воспитанием и сказывается даже в манерах, — в правилах внешнего поведения: это античная «рыцарственность» (куртуазия). Лучшим индивидуальным воплотителем понятия «civilitas» римская образованность признавала Цицерона. У него она еще углублялась «чувством долга» (officium).

С течением времени понятие civilitas осложнилось сближением его с другим — humanitas (человечность), и так подготовился синтетический образ — humana civilitas или civilitas universalis — «общечеловеческая культура». Слова эти надо понимать не в смысле «человечество», совокупность людей, а в смысле «человечность» как совокупность признаков, составляющих сущность человеческого рода или вида (humanum genus, humana species); тут берется не объем понятия, а его содержание. Впервые разработано было это понятие все тем же Цицероном, который выяснил, как это чувство или ощущение, вытекая из природной общежительности человека (по Аристотелю), ширится концентрическими кругами, начиная внутри семейной (кровной) группы и исходя из возрастной близости, захватывает затем местное, а потом и гражданское целое и под конец обнимает все человечество. Знаменитому писателю понятие «гуманности» было сродни и в силу его личной мягкой натуры: он твердо верит, что человеку присуща по отношению к себе подобным доброта (benignitas, bonitas), а не отталкивающая злоба, не ненависть,

а любовь (caritas). Такой орган связи между всеми людьми сильнее, чем предписываемый совестью долг. Из такого источника родится целый ряд чувствований, суммируемых греческим термином philantropia (любовь к людям). Это — альтруизм.[1] Когда последний сосредоточивается на единицах, он порождает дружбу; если изливается на человечество, то создает справедливость. По Цицерону, заботиться о других составляет сущность человечности (гуманности). Великое благо, когда «человечность» реально раскрывается в каждом.[2]

Это чувство или свойство развивается в людях тогда, когда они осознают единство человеческого рода. В умах гениев греческой мысли опыт и познание открыли его прежде всех. Сократ первый провозгласил себя «гражданином мира»; Цицероном, учеником греков, идея была воспринята в целости. Возможно, само наблюдение судеб Римского государства (объединение мира) помогло ему поставить ее в центр своего миросозерцания; именно он стал проводником высоких начал «гуманизма» и «универсализма»[3] сперва в римскую философию, а затем, позже, и в мировую.

Среди продолжателей того же течения крупное место занимает Сенека. Философский монизм во взгляде на природу приводит его к этико-политическому универсализму при определении принципов межчеловеческих отношений. Сенека пишет своему другу Луцилию (Epist. 95): «Все, что видишь кругом, божеское и человеческое, едино. Мы все члены одного

[1] Этим мыслям Цицерона и Вергилия созвучны позже мысли философов и юристов времен принципата.

[2] Подобно этому и крупный историк времени Августа Тит Ливий твердо заявляет: «Общая польза — сильнейшая связь внутри общества людей».

[3] См. G. Boissier. Cicéron et ses amis (есть русск. перевод «Цицерон и его друзья»). Монография Буасье хорошо освещает картину духовного развития эпохи. Заслуживает также внимания его интересная большая статья об истории термина «человечность» (гуманность): «Histoire d'un mot latin (humanitas)» в журнале „Revue des deux mondes“ (t. 36, 1906; t. 37, 1907).

великого тела. Природа создала нас родными, ибо произвела всех из одних начал и для одной цели. Она вложила в нас взаимную любовь, сделала нас общежительными. Она же внушила нам понятие равного и справедливого. По ее закону, гораздо большая беда — вредить другим, чем терпеть ущерб себе. По повелению природы протягивается рука помощи. В груди всех звучит стих:

Я — человек, и людское ничто чужим не считаю.
(Homo sum, humani nihil a me alienum puto).[1]

Вспомним, что мы рождены друг для друга. Общество наше подобно каменному своду; он рухнул бы, если бы каждый его камень не поддерживал всех других. Связью всех крепко общество».

Приведенный тезис — центральный в учении Сенеки. Он может быть богато обставлен другими, его обобщающими. Доктрина универсализма у Сенеки развивается вширь, захватывая все народы, и спускается вглубь, взаимно сближая один с другим различные классы общества. Собственное отечество Сенека называет своей «малою республикою», но у него есть еще и «республика большая»: это — весь мир.

Из того же общего источника исходит у Сенеки другая серия основоположных мыслей, ведущих к признанию равенства между людьми. Он понимает virtus (силу, мужество, доблесть и доброту) как орудие общественности. «Она открыто всех зовет и приемлет — свободных, отпущенников и рабов, царей и изгнанников. Она не отдает предпочтения знатным и богатым, а обращается прямо к человеку». «Велика и возвышенна сила человеческого сознания» (письмо 102-е). «Человек для человека — нечто святое» (письмо 95-е). Сенека доходил, как мы видим, до понимания братства народов. Сенека хотел бы, чтобы философия служила не только

[1] Впервые выставленный драматургом поздней республики Теренцием, этот тезис впоследствии распространился по всему миру и до сих пор повторяется везде.

к просвещению избранных душ, но и к преобразованию права в интересах справедливости для всех. Национальное право должно обратиться во всеобщее. Экономические и социальные отношения так изменились, что требовали переработки правовых норм. Юристы-преобразователи (I—II вв.) находили аргументы в теориях философов для обоснования своих прогрессивных законопроектов, требовавшихся временем, в частности же — для смягчения форм рабства,[1] а также для обновления правовых принципов и в других сферах. Мысль философов содействовала распространению гуманизирующих идей (взаимной любви — mutuus amor) и призывов к «союзности» и «взаимопомощи» (foedus auxiliumque). Теория мира (pax) и единства (unitas), выросшая в умах мыслителей, как реакция на борьбу, из опыта жизни, начинала оказывать обратное действие на практику жизни.

Необходимым предикатом, знаменующим достижение «высшей гуманности», было признано широкое образование. Именно им уничтожается варварская грубость (и с нею животность), жестокость, умственная темнота (barbaritas, immanitas) — тяжеловесность варвара.

Такая ориентировка дана была понятно уже у Цицерона. Только образование, — учил он, — может превратить «дикую деревенщину» (fera rusticitas) в человечное, цивилизованное существо. Уже в его миросозерцании произошло соединение в единое живое целое обоих понятий — civilitas и humanitas.

Из рассуждения его «Об ораторе» можно убедиться, насколько признак «образованный» считался им необходимою принадлежностью понятия «человек» в истинном смысле слова. «Оратор», т. е. успешно прошедший высшую образовательную школу, это тот, кто обладает в совершенстве органом

[1] У Сенеки письмо 47-е посвящено еще не прямо проповеди правового освобождения рабов, но требованию существенного улучшения их юридического положения. Письмо 44-е трактует об истинном благородстве, т. е., по пониманию Сенеки, о равенстве между людьми. Один из знаменитейших знатоков права в римской юриспруденции — Ульпиан (170—228) был убежденным противником рабства.

речи. Орган же речи — это орудие ума, а ум отличает человека от животных. Высшее образование выделяет цивилизованную личность из дикой массы. Только полное обладание речью по форме и по содержанию есть достижение истинной человечности. Римская школа получает от своего учителя Цицерона такой завет.[1]

В Риме существовали и до Августа, и при нем, и после него довольно многочисленные группы лиц, которые интенсивно культивировали высшие духовные интересы с широким размахом, вращаясь в сфере «свободных», гуманитарных наук, Они питались произведениями крупных авторов. Это отвечало лучшей потребности этих лиц в знаниях о мире для осмысления жизни. Они отдавались таким humaniora studia с увлечением, посвящая им много времени.[2] То была самая дорогая приманка в их более интимном быту.

Отличным примером подобных идейных союзов могут служить для нас знаменитые «Тускуланские беседы» Цицерона, происходившие в его изящной вилле в Тускуле, этой живописной местности близ Рима.[3] Позже большие литературные кружки сходились вполне открыто. Сам Август был одним из их устроителей. Они сходились и в салонах покровителей просвещения — Мецената, Мессалы, Азиния Поллиона. В них блистали лучшие корифеи писательства золотого века, и ими созданы были различные течения философской и общественной мысли. Такие кружки заменили собою былые политические союзы и клубы, и в них находили утешение прежние партийные деятели.

После Августа, когда при его преемниках, испорченных и озлобленных, даже порою ненормальных, открывавшаяся

[1] Его «учительное» влияние сохранило надолго живое и действенное значение.

[2] То были, по большей части, люди богатые или состоятельные, но пробивались в их среду и из низов особенно даровитые и активные элементы.

[3] Характер интересов, господствующие вопросы, слагавшиеся направления отражаются, как в зеркале, в этом знаменитом сочинении Цицерона.

было некоторая свобода слова и общения была сдавлена террором и преследованиями, кружки сузились и замкнулись, но без умственного общения люди повышенных потребностей и развития обходиться уже не могли. Это были лучшие люди, к которым естественно притягивались, несмотря ни на что, многообещающие отпрыски новых поколений.

Для Тацита подобные кружки литературно образованных фамилий на ряду с теснейшим кругом знакомых его родителей и ближайших родственников, и были разумеется, тою средою, в которой он, несомненно, вращался, достигнув возраста сознательной юности. Поэтому и необходимо было дать понятие о литературном движении этих годов и об увлекавших его участников идеях, говоря об обстановке, которая окружала Тацита в годы между его детством и юностью.[1]

Это была обстановка, так сказать, естественная. Она влияла сама собою, как неизбежно окружавшая его бытовая и духовная атмосфера. Тацита учила жизнь, а на ряду с нею учила его и школа. Здесь опять прямые данные о Таците улавливаются лишь урывками. Снова приходится прибегать к аналогиям. Но за них мы можем быть спокойны: это будут аналогии не только вероятные, но, можно сказать, неизбежные.



[1] Многие из красок, пошедших на составление только что нарисованной культурной картины, даны самим Тацитом: поэтому, восстанавливая обстановку, в которой вырастал Тацит, мы знакомимся и со средою, в которой он развивался, и с ним самим, как ее описателем.



ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ТАЦИТА. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЕГО ЭПОХУ

I

Конкретных данных о годах учения Тацита у нас не имеется, за исключением отдельных намеков; но не может быть сомнения, что он получил самое широкое образование: это прямо вытекает из изучения его сочинений, свидетельствующих о том, что он являлся одним из просвещеннейших людей своего времени. Но чтобы ясно представить себе умственный облик историка, необходимо ознакомиться с характером и организацией обучения юношества в Риме во время империи. Это поможет нам правильно оценить многое в его литературной деятельности и отчетливее обрисовать его духовный облик. То, что мы можем усмотреть индивидуального для него по данному вопросу, дает возможность определить — чтó же было вынесено Тацитом из школы, общий строй которой мы и опишем.

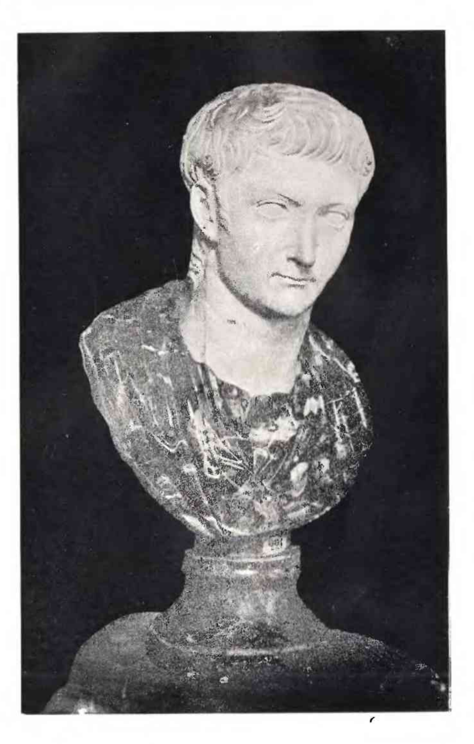
Когда Рим разросся в большое государство с осложнявшимися формами существования для различных групп его граждан, там должен был возникнуть вопрос о путях и средствах подготовки людей к их жизненной деятельности, т. е. должна была возникнуть задача воспитания новых поколений, в частности организация просвещения. Педагогические и дидактические проблемы давно были выдвинуты и разработаны греками, и лишь под их же влиянием и возникли и начали складываться они и у римлян.

Система высшего воспитания и обучения в Греции носила характер аристократический, т. е. была доступной немногим. Ее можно назвать «педагогикой гармонии и идеализма». Целью образования полагалось приближение к познанию тайны бытия; на первый план выдвигались интересы теоретического порядка. Более широко задача воспитания личности определялась, как задача создания совершенного человека, «прекрасного и благого» (ἀνὴρ καλὸς κἀγαθός) понятие, близкое английскому «a perfect gentleman».

У римлян дело понималось иначе: их система была педагогикой практической пользы. У них задачей образования признавалось усвоение знаний и навыков (мастерства), приемлемых и нужных в обыденной действительности, и такое правило держалось крепко и долго: еще Сенека повторяет элементарную формулу: «учимся для жизни». В частности, такая наука, как история, именно у римлян с особою силою приняла направление «учительницы жизни».

Римляне не стремились первоначально воспитывать в детях «человека», как учили в Греции Пифагор, Платон и Аристотель. Квинтилиан, знаменитый римский теоретик педагогики, старший современник Тацита, желает подготовить из своего ученика «оратора», т. е. сведущего и умелого практического деятеля на гражданском поприще: так разумелся этот термин в Риме данной эпохи. Та же точка зрения еще решительнее подчеркивалась раньше, во время республики, советами Катона Старшего: он определенно рекомендует готовить политиков, воинов, юристов, врачей, строителей, сельских хозяев, торговцев. В том же духе, на грани между республикою и империей, наставляет ищущих образования и римский ученый «энциклопедист» Варрон. Позже римляне стали сближаться с просветительными интересами и взглядами греков, но преобладание практического уклона у них все же сохранилось и в дальнейшем. Гораций уже с иронией отмечает эту противоположность греческой нации римской:

Грекам Муза дала гений высокий, изящное слово
Кроме величия, славы не алчут они награждения;



Тиберий.

Ленинград, Эрмитаж.

Римлян же дети учатся вечно с трудом и усильем,
На сто частей как делить асс[1] без всякой ошибки.[2]

Отмечаемое различие сказывается и на словаре: у греков слово παιδεία обнимало все понятие развития человека в его цельности, у римлян «воспитание» (educatio) мысленно отделяется от «обучения» (disciplina). У них характер и ум культивируются расчлененными средствами. Цицерон, сильно веривший в могущество просвещения, все же мотивирует это практическими соображениями. Он говорит: «Отечество родило нас и воспитало с тем, чтобы мы отдали все силы своего духа, таланта и знаний его благу: поэтому мы должны изучать те науки, которыми мы можем принести пользу государству: в этом высшая мудрость и доблесть».[3] Плиний Младший повторяет тот же взгляд: «Кто же будет настолько терпелив, что захочет учиться тому, чего не сможет применить на деле?»[4] Греки почитали теоретическую (научную), принципиальную «образованность», у них высоко котировались духовные ценности и больше всего выдвигались вперед интеллектуальные, этические и эстетические элементы просвещения, связываемые в одно целое понятием «музыки», обнимавшим все науки и все искусства, открываемые человечеству «музами». Настоящий человек, по убеждению греков, — это философ. У римлян же соответствующего слова самостоятельно не выработалось: понятие это, как и самый термин, были заимствованы ими у греков. Сами же они вначале считали высшими качествами благовоспитанного человека — силу и мужество (virtus), потом серьезность или суровость (gravitas). Важнее представлялось развитие характера, чем ума. Хороший римлянин — это честный, добрый гражданин (bonus civis), твердый политик, но и искусный

[1] Асс — римская монета и мера веса. Древнейший медный асс весил один фунт.

[2] Hor. epist. ad Pisones, (de arte poetica) ст. 323—325.

[3] Cic. in Verr. III, 69.

[4] Plin. Epist. 14, 3.

и стойкий в удовлетворении потребностей своего дома человек, деятельный хозяин (diligens pater familias). Служить могуществу и славе государства и работать для материального процветания и внутреннего благоустройства и порядка семьи — вот обязанность (officium) каждого.

Когда греческие вкусы начали проникать в римское общество, привычки римлян, их приверженность к старине, поддались изменению не сразу; долго и упорно держался лозунг за «деревенскую простоту» (rusticitas). Главою такого консервативного течения в половине II в. до н. э. был старец Катон. Но сильная и ставшая заманчивою струя, шедшая с Востока, из Греции, в конце концов одержала верх, и талантливый историк Саллюстий (в I в. до н. э.) провозгласил новый девиз: «ум — настоящий господин в нашей жизни; ум должен повелевать, тело — повиноваться; ум приблизит нас к богам, тело в нас обще с животными». Так, «гимнастика» (развитие тела — «физкультура») начинала уступать первое место «музыке» (культуре духа).

Пока жизнь оставалась простою, воспитание не нуждалось в особых орудиях действия, не требовало вспомогательных учреждений. Для жизни учились от жизни — непосредственными наблюдениями над ней же. Сыновья знатных присутствовали на заседаниях сената, простые люди приобретали опыт в народных собраниях, на форуме, на Марсовом поле, в лагере, на поле, в лавке. Пример обучал сам собою: неукоснительно передавались из рода в род давно утвердившиеся понятия и основы быта. Но когда дифференцировались функции жизни в образующейся великой державе, когда появились новые экономические потребности и образовались новые государственные порядки, тогда понадобились и новые знания и новые умения для обеспечения жизни, для укрепления борьбы за улучшение существования, для обогащения и успеха на общественном поприще.

При таких условиях должно было возникнуть систематическое обучение младших поколений старшими для подготовки к сознательной деятельности. Первоначально оно было

домашним,[1] а не школьным, и в роли учителя естественно выступал отец. Однако не все родители обладали требуемыми знаниями, досугом и охотою, и в состоятельных семьях эта обязанность стала поручаться грамотным или даже образованным рабам (servi litterarii), чаще всего греческого происхождения, и из них то и сложилась особая категория людей, специальная профессия которых определялась как профессия педагогов (дословно «детоводов»). Во всяком доме состоятельного римского гражданина всегда в качестве непременного члена «фамилии», или семьи, встречаем мы знаменитую фигуру «педагога». Роль просвещенного (в той или другой степени) грека, раба-воспитателя, оказывалась не из легких. Зависимость от господина (учитель — собственность отца семейства) затрудняла ему приобретение авторитета и самостоятельности в глазах питомцев. Комедии Плавта и Теренция содержат немало забавных, но одновременно и печальных сцен, изображающих то унизительное положение, в какое попадал такой педагог. Малыш не смущался и грубил. Подросток, эмансипирующийся от семейной ферулы, вместо того, чтобы учиться, насильно таскал с собою воспитателя тайно от родителей на попойки, пользуясь своей хозяйской властью, и тот не смел сопротивляться. Но так бывало не всегда: способному и преданному педагогу нередко удавалось, все же, внушить воспитаннику любовь к учению и импонировать ему своими нравственными качествами. Получались своеобразные формы задушевных связей, которые разрешались тем, что выросший ученик, став независимым хозяином, предоставлял своему бывшему учителю свободу в благодарность за полученные от него духовные блага, и между ними утверждалась прочная дружба под прикрытием клиентских отношений.[2]

---

[1] Превосходный по типичности образец «отеческого» воспитания и обучения представляет Катон Старший в своих «Записках» и «Наставлениях».

[2] Среди погребальных надписей встречаются трогательные эпитафии, начертанные воспитанниками бывшим их педагогам.

На этом, конечно, не могла остановиться организация просвещения в Риме. Вместе с постепенным превращением государства из варварского в цивилизованное возрастал спрос на обучение. Не одна богатая знать нуждалась теперь в образовании, но и обеспеченные группы из средних земевладельческих и торгово-промышленных кругов, а также и выходцев из плебса, рвавшихся к улучшению своей судьбы. Отсюда возникла необходимость основания в Риме школ. Возникновением своим, однако, они обязаны были частной инициативе. Государство не уразумело с самого начала политической важности учредить правительственную школу или ему нехватало средств, свободы и умения заняться новою трудною отраслью управления и использовать могучий способ воздействия на общество. Римская школа долгое время оставалась частною.

Единичные опыты основания школ спорадически имели место сравнительно рано. Уже в половине V в. до н. э. нам встречаются указания на существование каких-то училищ, помещавшихся в пустующих зданиях около форума. Вероятно то был плод влияния этрусков. В III в. называется школа вольноотпущенника Спурия Корвилия в Риме. Мало-помалу число школ увеличивалось и, наконец, они сделались повсеместным учреждением как в столице, так и в других городах Италии, а потом и в провинциях. Муниципальные управления принимали на себя основание школ, содержание их и оплату труда учителей. Во время империи они еще более распространились.

II

Писатель II в. н. э. Апулей, философ и беллетрист, так описывает иносказательно систему римского школьного образования: «На пиру первый кубок пьют для утоления жажды, второй — для возбуждения радости; третий уже вызывает страстное наслаждение, четвертый повергает в безумие. За столом же Муз, чем больше подают питий, тем больше душа наша получает мудрости и разума: первый кубок, который

наливает учитель грамоты (litterator), начинает сглаживать шероховатость нашего ума, затем приходит грамматик, который украшает нас разнообразными сведениями; наконец, ритор вручает нам оружие красноречия».

Здесь ясно обозначаются три ступени в обучении: 1) элементарная (школа грамоты), 2) грамматическая (по-нашему, — литературная, или словесная, гуманитарная) и 3) риторическая (можно сказать, философская, пользующаяся данными различных наук).

Далеко не все учащиеся проходили все три ступени обучения: большинство ограничивалось в своем образовании первою.

Это была наиболее демократическая школа, куда отдавали своих детей и бедные люди, которым не по средствам было обеспечить их начальное обучение дома, но которые поняли пользу самой грамотности. Третью же ступень проходили только немногие.

Элементарные школы находились в руках начального учителя (primus magister). Курс их состоял из обучения чтению, письму и счету.[1] Методы преподавания были очень несовершенны. Читать учили по складам — от букв к слогам, словам и фразам. Все воспринималось на слух, многое — «на-зубок». Образцы начертывались на маленьких свитках, которые ученики держали на коленях, понемногу развертывая новый текст и обратно — заворачивая прочитанный. Примеры брались преимущественно из поэтов (ритмическую речь запоминать было легче). Лучший ученик читал вслух, остальные повторяли за ним громко. К письму приступали позже чтения. Прежде всего учитель водил рукою ученика, чтобы приучить его к линиям букв и видам знаков. Потом списывались прописи. Писали на вощеных деревянных табличках заострен-

[1] Подробности римского школоведения можно изучить по сочинению знаменитого римского оратора, педагога и критика, Квинтилиана, труд которого «Основы ораторского образования» сохранился до нашего времени. См.: Г. Е. Журавский. Очерки по истории античной педагогики. М., 1940.

ными палочками («стиль»), обратный (тупой) конец которых служил для стирания написанного. Употреблялась и бумага из папируса (камышевого растения) или пергамена (тонких кож). Чернилами служил сок сепии. В начальных школах Рима изучался только латинский язык.[1]

Счету, как важному элементу начального обучения, отдавалось много времени. Самое искусство преподавания арифметики стояло невысоко.[2] Многое и тут бралось на механическую память. Счету в пределах первого десятка помогали руки: вычисляли по пальцам, и по ним же устанавливались условные знаки действий. От ученика требовалось упорное внимание к движениям рук учителя.[3] Для больших чисел употреблялись «счетные доски» (а б а к) с подвижными пуговками (claviculi, calculi). На них же делались попытки распределения чисел по разрядам. Проходились четыре действия (addere, deducere, multiplicare, dividere): названия их сохранились во французском и итальянском языках. Курс элементарной школы обычно заканчивался к 11-му и 12-му году учеников. Девочки и мальчики учились вместе.

Школы грамоты принуждены были довольствоваться скромным оборудованием. Помещались они где попало, обычнее всего в крытых сараях (pergulae). Их устроители находили для них приют на чердаках наемных домов, чаще за колон-

---

[1] О книге в древности см. интересный очерк I. Gow et Reinach. Minerva. P. 1905 (есть русский перевод).

[2] Вспомним, что система обозначения чисел у римлян была неудобна при вычислениях: не было особых мест для разрядов, сто (C) и тысяча (M) обозначались одним знаком, двадцать (XX) — двумя, тридцать (XXX) — тремя; отсутствовал ноль и т. д.

[3] Такой прием пользоваться движением пальцев учителя при счете долго сохранялся в школьной практике и впоследствии. До сих пор тот же прием составляет сущность распространенной в Италии народной игры, в которой участнику требуется подхватывать глазом и сосчитывать в уме, сколько пальцев выбрасывает партнер при движениях руками. Игра эта называется «морою», а в древности о ней говорили «micare digitis» («мелькать пальцами»).

нами под портиками храмов или общественных зданий, причем они завешивались от улицы грубыми тканями.[1]

Учебная обстановка ограничивалась самым необходимым, методика обучения стояла низко. Учителя старались поправить свое неуменье телесными наказаниями, надеясь, что они излечат учеников от плохих успехов. Поэт Марциал называет розгу «скипетром педагога». Кнут свистел в его руках, как у надсмотрщика за рабами.[2] Выражение — «пройти сквозь лозу учителя», означавшее «окончить курс школы», родившись в римском школьном жаргоне, существовало в течение всего средневековья.

Положение школьного учителя было обычно жалкое, необеспеченное. Он жил скудными подачками от родителей учеников. Профессия эта избиралась людьми, не находившими более выгодных занятий. По большей части то были лица, мало сведущие, становившиеся «просветителями» поневоле. Они искали дополнительных заработков, делались писарями в учреждениях, служителями при храмах, в лучших случаях ходатаями по мелким делам.

Низшие школы распространяли грамотность, но поднимать умственные интересы, пробуждать жажду знаний они могли очень слабо. Школы заполнялись учениками лишь в узко утилитарных целях. Лица мало-мальски состоятельные избегали посылать своих детей в школу, а давали им начальное образование дома, в более комфортабельной учебной обстановке, отыскивались более совершенные педагоги, и дети

[1] Школьный шум надоедал проходящим мимо. Блаженный Августин, рассказывая (в «Исповеди») о собственном начальном образовании и представляя звуки громкого скандирования слогов учениками («б и а—ба» и т. д.) называет их «ненавистною песнью» (odiosa cantio). Очевидно, не очень радостные воспоминания о себе оставляла начальная школа.

[2] В развалинах Геркулана найдена стенная фреска, на которой изображены школьные сцены; одна представляет урок чтения: поза учителя строгая, лица учеников вытянутые. На другой нарисована экзекуция над провинившимся учеником или лентяем: его держит на своей спине другой ученик, третий орудует розгою по его обнаженному телу, учитель отсчитывает удары.

снабжались лучшими пособиями. Конечно, так было и с Тацитом. Очевидно, отец позаботился дать сыну хорошее начальное обучение, чтобы тот получил твердую основу для дальнейшей, уже школьной подготовки к общественной деятельности. К такому выводу мы приходим вполне естественно из рассмотрения того, как стояло дело в римских начальных школах, и это повышает представление о качестве первоначального образования, какое Тацит должен был получить дома. Оно и протекало, наверное, быстрее.

Выше элементарных школ для продолжавших образование надстраивались непосредственно г р а м м а т и ч е с к и е. Этот термин следует понимать шире общеупотребительного у нас теперь его значения. В «грамматических» школах давалось, в сущности, общее среднее образование на базе гуманитарного, языкового и литературного материала.

Образцы учебных планов для этих школ также заимствовались в Греции; так, в основу курса ставилось всестороннее изучение поэм Гомера. С ними углубленно знакомили учеников не только как с памятниками языка и художественного творчества, но и как с универсальным источником для познания мира. Толкование «Илиады и Одиссеи» являлось сущностью всей системы преподавания у грамматиков. Форма их давала учителю материал для ознакомления учеников с вопросами языка, стилистики и эстетики. Древние твердо верили, что содержание этих поэм представляет неистощимый кладезь всякой мудрости и добродетели. Полное комментирование их (экзегеза) в грамматическом и литературном отношениях, а затем извлечение из них исторических, философских, религиозных и правовых понятий, как и знакомство с природою в математике, астрономии, физике, землеведении и обществоведении, по убеждению греческих педагогов, должно было дать учащемуся поколению цельную энциклопедию общего образования. Другие античные авторы служили, наряду с Гомером, дополнительными пособиями для сообщения лишь дальнейших подробностей.

Греческая «грамматическая школа» в таком виде была

перенесена в римский мир уже во время поздней республики. Для прохождения ее требовалось изучение греческого языка, признанное фундаментом просвещения и необходимым предикатом образованности. Система этой школы хорошо привилась к условиям жизни высшего римского общества: по ее принципам и программам построен был и латинский грамматический курс, проходившийся параллельно с греческим. Центральное место Гомера заняли здесь Вергилий, как поэт, и Цицерон, как прозаик.

Вергилий скоро завоевал себе широкое почитание, вызывал восхищение. Цицерон уже раньше прославился в просвещенных кругах, как великий писатель. Особенно радовало римлян то, что оба они были своими, римскими. Тексты Вергилия и Цицерона сопровождались отрывками из других писателей. Они выправляли совокупными усилиями речь учеников, облагораживали их стиль и вкус, развивали ум, а из их внутреннего содержания черпались все нужные сведения для понимания действительности мира, природы и человека.

Проникновение греческого просвещения в римское общество сильно расширяло умственные горизонты тех его групп, которым оказывалась доступна грамматическая школа. Но образование приняло формальный характер, так как строилось слишком односторонне, лишь на языковой и литературной основах. Знания систематизировались, подчиняясь не задаче стройной группировки данных по такой-то науке, согласно ее расчленению; они чередовались по порядку расположения глав в произведении изучаемого автора, который читался и пояснялся глава за главою. Так получалась смесь отрывочных сведений из разных областей.

Это было не реальное, а словесное преподавание. Данные математики, астрономии, физики, естествознания, географии, истории, права объединялись не сущностью познаваемой научной отрасли, а переплетались по воле автора того сочинения, которое было выбрано в качестве учебного руководства. В настоящее время, когда господствует предметное распределение образовательного материала, трудно даже

наглядно себе представить, в какую пестроту комбинаций воплощались знания человека, прошедшего курс римской грамматической школы. Кто стремился к выработке в себе систематического мировоззрения, тот должен был, нужно думать, усвоенное им в школе основательно переработать потом средствами самостоятельной мысли и опыта жизни.

Грамматическую школу должен был, без всякого сомнения, пройти и Тацит, как сын родителей из верхних слоев общества, с хорошим достатком. Родители Тацита, которые пеклись о благе его личного и общественного будущего, должны были приложить старание, чтобы выбрать такую школу, которая приобрела солидную репутацию, как устроенная выдающимся специалистом («грамматиком»), сумевшим привлечь к себе способных сотрудников.

В качестве ступени, завершавшей образование, сверх грамматической школы наслаивалась та, которая называлась риторической. Она представляла самостоятельный высший концентр просветительного цикла, который проходился в Риме отдельным лицом, если оно по той или другой причине искало вершин знания. Риторическая школа играла тогда роль университета, причем в ее стенах просвещалось лишь отборное меньшинство из привилегированных элементов общества.

Риторическая школа сложилась в Риме по греческим же образцам. Общее образование сначала распадалось у греков на две сферы — гимнастику (телесное, физическое развитие) и музыку (духовное, умственное просвещение), подобно тому как и человек слагался, по их понятиям, опять-таки из двух начал. Оба начала объединялись в одно целое преимущественно по линии эстетической связи.

У Аристотеля[1] вся система образования подразделялась на четыре цикла: гимнастику, грамматику, музыку и графические искусства. Цикл грамматики стал затем отделяться от остальных и качественно понижаться. Музический цикл, наоборот, развился, и поня-

[1] «Политика», кн. VIII, гл. 2.

тие его расширилось, постепенно включив в себя все словесные науки. Третий цикл дифференцировался, причем в его рамках выделились отдельные науки — о мире и о человеке; но они же вошли и во взаимную связь, сплотились друг с другом. Заметим, графика понималась не только как пособие для воспитания художественных вкусов, но и как средство познания форм и величин в природе.

Аристотель расчленил также понятие общего образования («энциклопедию»), выделив особо математику, с одной стороны, и риторику, с другой,[1] выдвинул также диалектику (логику доказательств) в качестве орудия полной, законченной культуры ума. Таковы были звенья всей круговой цепи общего образования у греков.[2] У римлян они уже назывались «свободными науками» (artes liberales), т. е. «благородными» знаниями.

Объединяющая функция в римское время на второй (средней) ступени школы, как мы видели, присвоена была грамматике в кругу словесного образования; на третьей же она принадлежала риторике, представлявшей также комплекс разнообразных наук. Грамматика являлась источником знания, риторика считалась его венцом.

По понятиям, которые проводились римской образованностью, тот, кто овладевал в совершенстве всеми силами и богатствами дара речи, приобретал великое могущество, превращался почти в чародея: теоретически он мудрец, практически — власть имеющий.[3] Отсутствие риторического образования налагало на человека, в глазах представителя римской интеллигенции, печать невежества и темноты, смешивало римлянина с варваром. Квин-

[1] Риторика это нечто гораздо большее, чем наше понятие «красноречие»: это, скорее всего, теория развития дарований.

[2] Перечисляю: 1) гимнастика, 2) грамматика, 3) музыка, 4) графика, 5) математика, 6) риторика и 7) диалектика. Деления эти перешли и в средние века, затем «гимнастика» исчезла, остальные же звенья сгруппировались иначе и отчасти изменили свои названия.

[3] Слава ритора обеспечивала крупные места на службе; она не раз возводила ее носителя на императорский трон.

тилиан убежденно провозглашает: «Речь — царица мира» (regina rerum oratio). Он же проповедует: «Красноречие — добродетель».[1] Сопоставляя оба эти выражения, мы приходим к тому выводу, что по идеям сложившейся римской культуры, ораторское искусство — голова и сердце образованности. Формула идеализации понятия «римлянин» — это господство над миром могуществом речи. Римские патриоты-интеллигенты верили, что объединение мира было завершено влиянием того просвещения, которое давалось в риторических школах. Различные народы земли будто бы охотно склоняли выю перед величием римской civilitas («цивилизации»). Ювенал, поэт — современник Тацита, с гордостью заявляет,[2] что далекая Британия ищет римского оратора, который просветил бы ее. Мы видим здесь, без сомнения, аристократическую культуру, мало сознающую цену, за которую она покупается для немногих через пожертвование благом трудового большинства. Но вместе с тем тут же раскрывается перед нами интересный процесс развития веры в действенность силы просвещения через долгий опыт использования его плодов, как органа власти над миром.

Общий оттенок преподавания, состав курса, форма построения чтений и их обработка, анализ материала, приемы добывания выводов были в риторических школах однородны с системою и методами, практиковавшимися в школах грамматических. В основу лекции (или урока) и здесь полагался определенный текст, взятый из литературы; он подвергался истолкованию с различных точек зрения. Только размах в риторических школах был шире, обучение в них было полнее и самостоятельнее, так как оно обращалось к более зрелым и более подготовленным ученикам. Должно, однако, отметить существенную разницу в характере подбиравшегося там и здесь материала. Центром или органом объединения сообщаемых риторикой сведений становилась философия,

[1] Такое почитание культуры слова получило официальное затем признание в законодательных сборниках: в кодексе Феодосия читаем, что «знание литературы есть добродетель».

[2] Sat. XV, 112.

тогда как у грамматиков работа вращалась главным образом около поэзии и художественной прозы. Такое направление определяло высшую цель, ставившуюся при постановке курса риторических школ: таково было стремление лучших из них в эпоху наибольшего расцвета. Но и гораздо позже (в IV в.) император-философ Юлиан горячо советует своим друзьям: «Не пренебрегайте литературой, не оставляйте красноречия, но сосредоточивайтесь по преимуществу на науке.[1] Ваш величайший труд — изучение идей Платона и Аристотеля. Это основание и остов всего духовного здания; остальное — только его укрепление» (55-е письмо).

Тем не менее и в риторических школах литература в чистом виде сохраняла большое место и имела немаловажное значение, как питательная почва, доставлявшая работе ума живительный материал. Стержень преподавания попрежнему был гуманитарный. Данные из точных наук всегда подчинялись содержанию литературного текста. Природа неизменно оставалась на заднем плане, не как самостоятельный объект изучения и основная цель знания, а как нечто только служебное. Много тратилось сил на чисто формальные задания. Упражнения часто ставились на отвлеченные, не реальные, даже нелепые темы. Но все же философия выступала как новинка и как приманка, и являлась ферментом, бродилом, возбуждавшим наперекор рутине увлекательные, серьезные и возвышенные вопросы.

Ключом, откуда заструился в Рим поток философской мысли, конечно, являлась все та же Греция, вообще сыгравшая роль учителя Рима и насадителя в нем просвещения. Оттуда шли все умственные веяния. Греки-философы, по прибытии в Рим, осмотревшись в окружающей обстановке, организовали там, опять же на свой риск и страх, особое преподавание, устраивая приватные «кафедры» и с высоты их пропагандируя любознательным умам доктрины своих философских школ. В Риме их встречали противоречивые настрое-

[1] Под наукою Юлиан здесь разумеет именно философию.

ния. Одни искали у них откровений, другие их опасались и избегали соблазна. Ум римлян склонен был относиться с недоверием к идее, удалявшейся от трезвой действительности, но и среди них уже зародилась потребность уразумения смысла природы вещей.[1] Правительство и значительное число людей, слагающих общественное мнение, отнеслись к новым предлагателям мудрости враждебно и подозрительно. Переселявшиеся к римлянам греки-философы несколько раз подвергались даже изгнанию из Рима, но они не сдавались, упорствовали: интерес к их слову и проповеди возрастал, побеждал робость, сомнения и боязнь новшеств, по крайней мере в наиболее светлых и смелых головах.

Пришлые философы ютились сначала под покровительством знатных лиц, любителей просвещения, но к последнему веку республики они уже приобрели и самостоятельную оседлость в стране завоевателей Греции. Они вызвали подражание себе и нашли учеников среди местных просветителей. Философские элементы преподавания усиливались в римских риторических школах. Хотя некоторое опасение углубляться в философию сохранялось в римском обществе еще и позже, но, в конце концов, тут можно повторить вслед за Горацием:

Греция, взятая в плен, победителей диких пленила.[2]

Образовались различные течения. Конечно, в числе приезжих греков-учителей нельзя назвать первостепенных носителей философской мысли, но между ними были люди серьезные, сведущие и проникнутые потребностью поделиться истиною, которая их осчастливила, с людьми, неуклонно ищущими света и знания. По большей части то были представи-

[1] В римской литературе в I в. до н. э. появилась замечательная философская поэма, созданная в духе эпикурейского учения, первоклассно-талантливого автора, Лукреция Кара, «О природе вещей» («De rerum natura»). Имеется русский перевод И. П. Рачинского. Новейший русский перевод поэмы Лукреция принадлежит Ф. А. Петровскому (издан Академией Наук СССР в 1945 г.).

[2] Hor. Epist. II, 1, 156 (Graecia capta ferum victorem cepit).

тели так называемых «послесократовских» философских школ — особенно стоиков, но также и эпикурейцев; были между ними также платоники, были и скептики. Каждый приносил с собою свое учение, и многие умели зажечь умственную жажду в римской молодежи, жадно стремившейся к образованию. Лучшие из прибывших, дорожившие глубиною и полнотою распространения своих идей, выбирали учеников с осторожностью, подыскивали последователей, внимательно вглядываясь в их качественную высоту и прочность их исканий. Они не допускали принижающей популяризации учения, воздерживались от бросания перлов в толпу, подбирали «достойнейших», привязывали их к себе и сами к ним привязывались. Так образовывались вокруг учителей тесные группы учеников, предававшихся воодушевленным занятиям в благоговейной тиши «кабинетов». Это называлось «работою в тени» (umbratilia studia). Здесь происходило длительное взаимодействие действительных философов и избранных юных умов — «углубленное руководительство». Зарождались и ветвились из поколения в поколение философские ячейки разнообразнейших философских толков. Отсюда шел не широко разливавшийся, но сгущенный, сосредоточенный свет. Умственная близость между членами философских тесных союзов поддерживалась и за пределами годов учения. Биография Цицерона дает любопытные иллюстрации внутренней жизни возникавших «идейных содружеств». Они встречались и в комфортабельных убежищах вилл в окрестностях Рима: вновь вспоминаются нам знаменитые цицероновы «Тускуланские беседы».[1] Проявлялся и тут, конечно, иногда ветреный «дилетантизм», но, все же, основной тон определялся серьезным и полным энтузиазма стремлением к совершенствованию образования.

В высших кругах римского общества скоро открылась сильная тяга к подлинным центрам исконного эллинизма,

---

[1] Новейшее общее сочинение о Цицероне L. Laurand «Cicéron» (2 тома P. 1931—1935) с подробной библиографией.

прежде всего к Афинам, куда часто ездили теперь многие представители захваченной просветительными интересами римской интеллигентной молодежи завершать свое научное поприще. Также и египетская Александрия являлась тогда не только крупным промышленным центром и международным рынком, но и деятельным очагом философской, научной (в частности, математической и космологической), литературной и художественной работы. Даже на Западе греческая — ставшая римскою — древняя Массилия (нынешний город Марсель) служила для римлян местом эллинистических штудий.

Это было только лучшее, квалифицированное меньшинство, вершина просветительного движения. Рядом развивалось другое течение, более поверхностное, но влиявшее на общество еще шире. В Риме действовали и весьма дешевые популяризаторы философских направлений, предлагавшие их как «ходкий идейный товар». Они бросали его в более широкую публику, разменивали серьезную и трудную, дорогую истину на мелкую монету, которая подхватывалась жадной толпой, затронутой интересами лишь внешнего образования, больше любопытством, чем настоящею любовью к знанию. В явлениях этого рода нельзя усматривать здоровое проявление общественноценных попыток демократизировать просвещение, чтобы открыть народу пути к нему. Немногие элементы из низов, которым удавалось дорваться до школы, чаще всего вынуждены бывали довольствоваться начатками грамоты. В учителях же, зазывающих в свою лавочку, мы наблюдаем лишь яростное старание приобрести влияние в светских кругах, хвастливую страсть блистать с кафедры бьющим в ухо громким словом и привлекать к себе внимание слушателей легко усваиваемым, упрощенным материалом. Их увлекает суетливая склонность нашуметь и снискать себе дешевую популярность. Это грубая погоня за прозелитами, жажда легкой славы и, в затаенной мысли, ловля наживы помощью пленяющего внешние чувства красноречия, расточающего пустую, но эффектно звучащую премудрость. Последняя прикрашивалась ловкой рекламой,



Калигула.

Копенгаген, Глиптотека Ню Карльсберг.

заманчивыми обещаниями, подлаживающимися к легкомысленным вкусам мало требовательного уровня среднего большинства учащихся и слушателей, а то и стекавшейся на звонкие призывы неподготовленной массы, будто бы прельщенной обманчивой наружностью полупонятой фразы, а также завлекаемой удобствами и материальными благами, доставляемыми образованием.

Успех подобных популярничающих разносителей дешевого знания в «аудиториях» риторических школ, открывавшихся в Риме искусниками подавать мудрость под оболочкою легковесного, но общедоступного, разукрашенного популярно-элементарного слова, был широкий и шумный. Сенека-философ рассказывает, что одному из них, Фабиану, начавшему преподавать при Августе, многочисленная публика внимала с постоянно нараставшим возбуждением, а подчас, увлеченная пышно разрисованным образом или соблазнительной формулой, разражалась бурными рукоплесканиями. Некоторые учителя и этой категории начали работу искренне, но прислуживание грубым инстинктам толпы вскоре искажало чистоту вдохновения, и удача не окрыляла, а чаще, наоборот, принижала нравственное настроение и умственную содержательность обучения. Строгие философы замыкались в тесном кругу общения с немногочисленными верными последователями. Легкая же литература и словесная бойкость чуждались подлинной идейности и основательной логики суждений. Философия у них сохранялась лишь в виде «гарнира», обманчивой примеси. Учителя-устроители таких обыденных риторических школ сводили свои усилия к «натаскиванию» учеников в усвоении установленных ходячих понятий, требовавшихся общежитием; они заботились не о том, чтобы обогатить своих слушателей солидными сведениями, развить в них твердые приемы познания и внушить им потребность двигаться вперед. Они задавались целью внедрить в них лишь внешние навыки мышления и привить им понятия морали и правила поведения, одобряемые светским («порядочным») обществом. Кроме того, они влагали в их головы официаль-

ный минимум позитивных знаний и готовых мнений, облегчавших прохождение служебной карьеры, что и заменяло им солидное правовое образование.

Таким образом, риторическая школа больше «вылащивала» человека для житейских успехов, чем «выращивала» из него сознательного и принципиального деятеля. Учащиеся покрывались лаком изящной словесности, приучались к увертливой диалектике спора, защиты и нападения,[1] снабжались приятными уменьями для общественного обихода, а не серьезными, реальными познаниями в науках о мире и человеке. Все покрывалось искусством владеть речью и формальною выправкою ума. Система механизировалась, горизонт образования суживался, задачи его мельчали, культивировались большие вкусы, нежели идеи, скорее привычки, чем воля, и в учеников вселялась рабская подражательность образцам; ученики не двигались к оригинальности, к новизне и не тянулись к открытию. Школа вырабатывала шаблоны, которые влекли за собою низкие уровни, узкие рамки, плоский рельеф. Не питалась свобода исканий, всему назначались обязательные границы. В большинстве школ преподавание не поднимало духа, учителя вручали скорее бесплодную оболочку, шелуху просвещения, чем его плодоносящее зерно. Риторическая школа лишь косвенно будила мысль, вызывая самыми своими недостатками высшие потребности в умах только лучших учеников.

Для жизни были нужны знания, развитие, новые вопросы, свежие решения, широкие, вновь пробиваемые пути. Это понималось и искалось лучшими из учителей, разумевшими губительность омертвения. Это ощущалось и во множившихся рядах учащихся, в сознании даровитого меньшинства. И сознание этого меньшинства мешало застою, вызывало критику, поднимало брожение, ставило перед обществом новые творче-

[1] Недаром в риторических школах предлагались тематические задания на развитие определенного тезиса в положительном и отрицательном смысле (за и против).

ские проблемы. Просвещенные, передовые родители выбирали для сыновей школы получше. Недовольные системою обучения учителя питомцы взывали к реформе школы и обсуждали ее цели и пути. Таково было влияние положительных и отрицательных особенностей школы и на Тацита в его юные годы. Это мы ясно видим на его первых сочинениях.





ПЕРВОЕ СОЧИНЕНИЕ ТАЦИТА — «ДИАЛОГ ОБ ОРАТОРАХ»

I

Тацит ничего не сообщает прямо о своих школьных занятиях, и за тот период времени, который проводил он в аудиториях риторов, получая высшее образование по существовавшим тогда планам и программам, мы не в состоянии следить за Тацитом шаг за шагом. Но, зная, какова была тогда школа и каким сам Тацит стал в зрелом возрасте, мы можем довольно ясно представить себе, как должно было протекать его ученье. Оттого-то и требовалось нам дать здесь краткий очерк состояния школы в Риме времени Тацита. В первом же своем произведении Тацит показал, что̀ он вынес из своего школьного образования, чего ему в нем недоставало и чего бы он от него ждал. Так, общая картина сольется с индивидуальным примером и выделит его на своем фоне.

Когда юноша-Тацит закончил грамматический курс,[1] отец, как то было принято, представил его тому магистру или ученому, которого он признавал наиболее выдающимся руководителем риторической школы, — основываясь на собственном мнении или по совету компетентного знакомого, суждению которого он доверял. Избранному он и поручил попечение о сыне для завершения его подготовки к общественной

[1] Может быть, он проходил его дома с приглашенным грамматиком, но, вернее, это происходило в хорошо обставленной школе.

деятельности теоретическим и практическим изучением того, что тогда называлось ораторским искусством. Наибольшею славою в Риме того времени пользовался Квинтилиан, замечательнейший в истории римской литературы представитель риторики, теории воспитания и литературной критики.

Мы знаем определенно, что у Квинтилиана учился Плиний Младший,[1] оставшийся на всю жизнь поклонником его несравненного, как он утверждает, мастерства в деле обучения ораторов. Предполагают, что и Тацит был отдан отцом под его же авторитетное руководство. Это, конечно, возможно.[2] Но тогда Тацит должен был бы упомянуть о нем в числе тех ораторов, которые его восхищали или привлекали. Между тем, он среди них Квинтилиана не называет и, насколько мы можем судить по высказываемым им взглядам, он далеко не во всем сходился с понятиями и вкусами Квинтилиана, или же, быть может, он не остался вполне удовлетворен полученным от него образованием, если только действительно учился в его школе.

Сам Тацит говорил о себе, что он предавался занятиям в риторической школе с юношеским увлечением, при настойчивом труде. Когда обычный курс был пройден, он не прекратил работы над своим образованием, а деятельно занимался самоусовершенствованием, постоянно общаясь с лучшими специалистами красноречия, посещая их выступления, лекции, диспуты, бывая у них на дому, стараясь проникнуть мыслью во все тайны их искусства (arcana semotae dictionis).[3]

Остаться совсем в стороне от науки Квинтилиана Тацит, однако, не мог; он должен был обращаться и к его советам: Квинтилиан был ценным наставником для тех, кто хотел использовать все пути законченного гуманитарного образования. Он основывал свои уроки на искусно подобранном

---

[1] Plin. Epist. VI, 6.

[2] Думают, что в школе Квинтилиана заложено было и основание дружбы между Тацитом и Плинием. Но это лишь предположение, принимать которое надлежит с осторожностью.

[3] Tac. Dialog. de orat. 2.

богатом материале образцов из всех первостепенных писателей классической литературы, греческой и римской. Сохранившееся его сочинение — «Об ораторском образовании» (Institutio oratoria) представляет важный источник для ознакомления с римскою образованностью той эпохи.

Но автор выступает там противником философии. Особенно яростно боролся он против влияния на молодежь популярных тогда универсальных доктрин Сенеки, доказывая, что своим космополитизмом тот отвращает учеников от патриотических обязанностей, говоря лишь о достоинстве человека и умалчивая о службе и подвиге гражданина. Впрочем и к другим философам Квинтилиан очень строг. Он возвращает учащихся к авторитету Цицерона, выдвигает значение последнего, как образцового по языку оратора, но при этом как бы упускает из виду, что сам Цицерон был главным пропагандистом философских знаний во многих из своих сочинений. В недошедшей до нас книге «Гортензий» Цицерон даже прямо призывал к изучению философии, которая, как он это утверждает, одна раскрывает путь к истинному познанию и, сообщая основы мировоззрения, утоляет в человеке врожденную ему жажду правды.[1]

Гастон Буасье в своей книге о Таците говорит, что и последний относился к философии с недоверием, считая, что она развивает гордыню и высокомерие, а с другой стороны, отдаляет от жизни. Это будто бы сближает его с Квинтилианом и побуждает считать Тацита его учеником. Но здесь можно легко впасть в ошибку, преувеличивая значение тех оговорок, какие встречаются у Тацита, когда он, опираясь на присущее римлянину «чувство меры», предостерегает против фанатизма и утопизма отвлеченных идей. Особенно это замечается у Тацита в те годы, когда он, после окончания учения, приступал к практической деятельности.

[1] Так действовал Цицерон на молодые умы и в последующие века: Блаженный Августин еще в юности увлекался философией, идя именно по стопам Цицерона, как он об этом красноречиво и рассказывает в своей «Исповеди».

Однако, он всегда оставался поклонником Цицерона, не только как оратора и писателя (хотя и признавал его недостатки), но и как мыслителя: то и другое было в Цицероне нераздельно, и его призыв к философии находил живой отклик в сердце Тацита.

Но дальше опыт жизни, должно быть, разочаровал Тацита в возможности плодотворных результатов от участия в политике при окружающих условиях воинствующего цезаризма. Тем сильнее чувствовал он тогда необходимость найти утешение в убежище философии от ударов жизни. Во всяком случае, с ненавистью Квинтилиана к занятиям философией, которые тот называет «самомнительным лентяйством» (pigritia arrogans), критическое отношение Тацита никак не совпадало.

Кроме того, Квинтилиан уже увлекается риторическим формализмом или поддается ему по принуждению, рекомендуя в качестве упражнений для развития ораторских качеств в учениках вымученные, искусственные задачи на отвлеченные, моралистические сюжеты из истории или литературы («суазории» — увещательное красноречие) и образцы небывалых судебных процессов («контроверсии» — состязательное красноречие). Школа вступала на скользкий путь, отходя от здравого реализма и ознакомления с живой жизнью к дебрям словесной декламации. В этом сказывалось несомненно влияние правительственного террора после Августа, в правление императоров I века. С особой жестокостью террор разразился в царствование Домициана (81—96), сковавшего свободу слова и письма вечным страхом за личную безопасность. Паника устремляла деятелей мысли в пустословие, лицемерие и лесть. Так, и Квинтилиан опустился до низкопоклонного искательства и раболепства, чтобы заслужить милость императора, и это поведение должно было вызвать в принципиальной натуре Тацита неприятное чувство к оратору и побудить его обращаться к другим руководителям риторического просвещения.

Плиний Младший окончил школу Квинтилиана по достижении 19 лет. Таков был, вероятнее всего, и возраст Тацита,

когда началась его самостоятельная жизнь и публичная деятельность. Личная карьера молодых римлян, стремившихся выдвинуться в обществе, обычно открывалась ораторскими выступлениями в качестве адвокатов в деловых процессах по гражданскому праву или защитников жителей какой-нибудь провинции, подвергшейся преследованию хищных и корыстных правителей; они также произносили надгробные речи о скончавшихся крупных государственных людях.

С этого началась и деятельность Тацита в годы правления Веспасиана (после 70 г.). Вскоре он приобрел репутацию даровитого оратора в судах и общественных собраниях. Плиний так отзывается об этом в письме к самому Тациту:[1] «Будучи еще совсем молодым человеком, когда ты уже блистал известностью и славой, я желал следовать непосредственно за тобою и считаться ближайшим к тебе, несмотря на далекое расстояние между нами. Было много знаменитых талантов, но ты казался мне таким, которому должно наиболее подражать».

В другом письме Плиний характеризует выдающуюся черту красноречия Тацита греческим словом σεμνότης, что значит «величавость» и вместе с тем «чистота». Эти качества были в самом деле присущи духовной природе Тацита и сродни господствовавшему в нем основному моральному настроению.

Тогда же началась литературная работа Тацита, но еще не как историка, а как оратора. Лица, пользовавшиеся успехом на трибуне, любили публиковать свои речи, которые потом быстро расходились в публике. Личные ораторские выступления Тацита до нас не дошли, но самое раннее его сочинение, до нас от него сохранившееся, посвящено именно вопросам теории и практики красноречия. Оно озаглавлено «Беседа об ораторах» («Dialogus de oratoribus»).

Это — рассуждение о причинах, почему в Риме падает красноречие. Оно написано в форме разговора между кори-

---

[1] Plin. Epist. VII, 20.

феями различных школ ораторского искуства, которые славились в те годы. Одно время сомневались в принадлежности этого сочинения Тациту, потому что, по мнению специалистов филологической критики, оно довольно резко отличается от других его трудов языком, формою и построением. Так как известно, что трактат на ту же тему («De causis corruptae eloquentiae) был написан самим Квинтилианом, текст которого среди сочинений последнего не находился, то некоторые и приписывали именно Квинтилиану и «Диалог об ораторах», входивший в состав рукописных кодексов сочинений Тацита. Сомнения эти, впрочем, лишены твердых оснований. Полемика теперь прекратилась: на стиль Квинтилиана стиль диалога Тацита походит гораздо меньше, чем на стиль более поздних собственных его произведений. К тому же, у всякого писателя стиль меняется с годами и опытом, а также в зависимости от предмета сочинения и от обстоятельств, при которых оно писалось.[1]

Не все сходятся и в том, к каким годам относить «Диалог об ораторах». Вернее всего следует считать его произведением ранних лет, написанным в последние годы правления Веспасиана или при сыне последнего Тите (правил с 79 по 81 г.), — во всяком случае, не позже самых первых лет тирании Домициана, пока еще не выяснилось, каким ужасным преследованиям подвергнется от него литература: сам Тацит заявляет, что при последнем государе он погрузился в полное молчание.[2]

«Диалог об ораторах» построен по образцам, которыми часто пользовались античные писатели. Диалогическая форма была указана как подходящая для развития философских тем еще Платоном; в Риме же ее придерживался Цицерон в своих философских и ораторских трактатах, а также Варрон, даже в сочинении о сельском хозяйстве. «Диалог об ораторах» — небольшая работа из 42, по большей части корот-

[1] Свод соображений, какие можно высказать за принадлежность «Диалога» Тациту, см.: В. И. Модестов. Тацит (стр. 32—39).

[2] Тацит это говорит в 3-й главе биографии Агриколы.

ких, глав. Она написана, действительно, не тем неподражаемо индивидуализированным, присущим одному только Тациту языком, каким впоследствии были написаны им его крупные исторические книги. Здесь он близок еще к цицероновой речи, отчасти, вероятно, в силу подражания общепризнанному классическому образцу и под влиянием школы; но уже и тут появляются у него его будущие оригинальные особенности — порывистость, эмоциональность, красочность, как всегда, впрочем, сдерживаемые; а потом уже и здесь попадаются характерные для него отступления, лирические, предметные, равно как и строгие сентенции и размышления или позывы к ним.

Критики удивлялись неровностям языка в «Диалоге». Он не льется единым потоком от начала до конца текста. Но сам автор объясняет, что он стремился воплотить в речи, в тоне и строе ее своеобразие умственного склада и темперамента говорящих лиц.[1] Еще одной отличительной чертой диалога Тацита является спокойная простота и открытая искренность, свободная смелость выражения мыслей, без крайностей, но и без дипломатии или затушевки того, что автор признает истиной. Это работа бодрая и полная надежд, еще чуждая налета трагического сознания и горьких чувств, какими будут проникнуты позже его основные исторические произведения, что также, между прочим, указывает на раннее время написания «Диалога», созданного Тацитом еще до того, как он испытал ужасы домицианова царствования: последние подорвут в нем оптимизм. «Диалог» сложился, иными словами, в годы императора Тита, но, должно быть, долго не опубликовывался в ожидании наступления лучших времен.

Тацит строит свои рассуждения как рассказ-воспоминание о действительном происшествии, относящемся к 75 г., при котором он лично присутствовал, когда был еще очень мо-

---

[1] Tacit. Dial. de orat. 1. Автор, стало быть, преследует здесь и литературные (стилистические) задачи; он и ставит их перед собой, и умеет с ними совладать.

люд.[1] Оратор и поэт Матерн[2] только что прочитал публично новую свою трагедию «Катон»[3]. В ней он высказал мысли, шедшие против течения, задел намеками влиятельных лиц, чем вызвал в высших сферах неудовольствие, грозившее ему неприятностями. На следующий день добрые его знакомые, популярные ораторы Апр и Секунд, пришли убеждать его бросить поэзию, которая опасна и фантастична (орудует баснями и мифами). Они советуют ему отдаться исключительно ораторству: оно необходимо в интересах многих (поэтому безопасно) и очень жизненно (реалистично). Матерн, возражая, доказывает, что он намерен, наоборот, всецело уйти в поэзию и тем принести больше блага людям, чем занимаясь ораторской практикой: так он и сам поднимется гораздо выше, чем если будет копошиться в сутолоке эгоистических интересов на судебных тяжбах и приучит себя к лжи и обману.

Эти дружелюбные пререкания образуют завязку всего дальнейшего рассуждения. Здесь сразу же обнаруживается оригинальный талант автора, притягивает к себе его остроумная, блестящая речь, и уже ясно видно уменье рисовать живые образы лиц, которых автор вводит в действие как носителей различных натур и расходящихся взглядов. Вслед затем приходит Мессала, тоже известный оратор, и вмешивается в беседу. Все собравшиеся, кроме хозяина — Матерна, стоят за ораторское искусство, хотя, вместе с тем, все они и признают, что оно падает[4] и что требуется реформа.

Каждый из участников спора высказывает свое понятие о добром красноречии, и отсюда получаются ценные характе-

---

[1] Момент определяется вычислением лет в 17-й главе «Диалога». Тациту было тогда с небольшим 20 лет, а вспомнил он и описал эпизод лет через пять.

[2] Участники «Диалога» — исторически существовавшие лица.

[3] Катон Младший — философ, прозывавшийся «Утическим».

[4] Теперь, говорится в «Диалоге», избегают даже пользоваться почтенным термином «оратор» и прибегают к более низменным словам — «говорун», «адвокат», «патрон» и т. д.

ристики типичных направлений в римской ораторской литературе (ars oratoria). Все они воплощены в портретах действующих лиц, выведенных в любопытной сцене дебатов по вопросу, представлявшему для передового общества того времени острый интерес. В перемежку между речами рассыпаны картины бытовой обстановки, образующие фон и декорацию сцены. Тут же бегло, но выразительно даны эскизы мыслей, попутных разработываемой теме. «Диалог» Тацита — богатый этюд духовной культуры эпохи: автор хорошо угадывает внутренний мир лиц, избранных им в качестве типичных фигур, и удачно изображает индивидуальный облик каждого из них в отдельности.

Тацит предупреждает читателей, что он передает все точно, как было, указывает, что говорит он не от себя, а только приводит суждения и аргументы споривших. Впрочем настоящего спора и не было: был мирный обмен мыслей и мнений. Тацит стремится закрепить письменно то, что высказывалось замечательнейшими из мастеров красноречия, сам же скромно скрывается за их авторитетами. Но думаем, передача их мыслей осуществляется Тацитом не без ретуши и не без подчеркиваний; во всяком случае, можно расшифровать, чьи идеи и в какой комбинации самому ему симпатичны, а поэтому невольно и выдвигаются им вперед.

Автор внимательно следил в послешкольные свои годы за выступлениями Апра и Секунда, которых называет первого модным, а второго видным и солидным ораторами того времени. Но не они стали для него образцами, особенно первый. Апр, в глазах Тацита, яркий деятель слова, но он не коренной римлянин, он уроженец Галлии. Кроме того, он гоняется за славою ради карьеры и далек от каких бы то ни было идеальных побуждений. Апр добивается блеска и наживы и готов хвататься за всякий выгодный процесс. Он уверен, что не выучка, а природный дар обеспечивает успех на трибуне и службе. Он убежден в своем гении, не хочет трудиться, надеется, что экспромт даст ему всегда победу. Он дерзко нападает на Цицерона, требует

эмансипации от авторитета древних, восхваляет появление новых приемов, бьющих на эффект и манящих золотом. Они и доставляют ему это золото. Надо дать простор новому слову, старина только давит, не дает подняться ораторскому искусству к небывалому раньше блеску.

Апр сначала привлек к себе Тацита именно своею горячностью внешнего натиска, но скоро отвратил его от себя неуважением к науке, самонадеянностью и корыстностью жизненных целей. Секунда Тацит хвалит и почитает: это строгий, серьезный и добросовестный специалист красноречия. Он повинуется добрым заветам искусства и ищет правды; но его речи нехватает воодушевления, и язык его тяжеловат, поэтому он тоже не образец.

С обстоятельной и внушительной защитой древнего красноречия выступает Мессала. Тацит подробно излагает содержание его мыслей, стараясь придерживаться однако и самой формы его спокойного, насыщенного фактами, убедительного доводами построения. Для Мессалы ясно, что древнее деловитое и честное красноречие, основательное и благородное, полное патриотизма и принципиальности, не может быть даже сравниваемо с фразистым и легковесным, невежественным и неискренним ораторством его дней, полным лживости, фимиамов или клевет. Мессала не хочет признать современного ему словоговорения за достойное искусство. Он думает, что надо вернуться к примерам древних, и лучшей мотивировкой такого взгляда является для него (в противоположность Апру) анализ великих достоинств таланта, принципов и приемов Цицерона, этого подлинно великого образца. Мессала считает, что главными причинами современного падения красноречия должны быть признаны понижение нравственного уровня общества и упадок образованности, возрождение невежества. В речи Мессалы содержится, между прочим, тщательнейший разбор коренных недостатков в системе или, лучше сказать, в практике и обиходе современного ему воспитания детей. Прежде сами родители несли этот труд с самого момента рождения у них детей, теперь же это важное дело поручается

худшему из рабов. Прежде родители сами заботились о том, чтобы непременно пройден был их сыновьями хороший курс грамматической школы, — отец тщательно разузнавал, какому оратору следовало доверить завершение подготовки сына к жизненной деятельности, — нынче все делается кое-как; риторика грозит превратиться в бессодержательную декламацию, и юноша вступает в жизнь мало знающим, без любви к труду, лишенным моральных устоев. Конец речи Мессалы в тексте Тацита до нас не дошел, но смысл его ясен: Мессала требует возвращения к старым высоким авторитетам. Здесь звучит вера в совершенство уже осуществленных достижений, лишь бы ими не пренебрегать.

Тацит излагает речь Мессалы с видимым удовольствием. Приводятся колоритные конкретные примеры. Автор любит древних, и современность, по его убеждению, отодвинулась от них не настолько, чтобы их мнения и язык успели уже устареть. Но ему нужно и нечто новое: нельзя стоять неподвижно, повторяя одно и то же. Тацит с особенным сочувствием останавливается на словах Матерна, которыми он заканчивает беседу. Ему кажется правильным, чтобы поэзия согревала, освещала и красила ораторское искусство. Ее изучение должно поэтому занимать важное место в образовании будущего оратора: он не должен чуждаться ее и дальше в своей деятельности. Но Матерн разумеет поэзию серьезную и строгую, патриотическую и религиозную. Он вспоминает давно прошедший золотой век, который мифология ставила исконным началом человеческой истории и который любили изображать поэты Вергилий, Гораций, Овидий. Тогда (в золотом веке) не было ни ораторов, ни судей, потому что в первоначальном невинном человечестве не совершалось и преступлений; но тогда уже были вдохновенные поэты-оракулы, прославлявшие деяния героев: им незачем было защищать дурные дела, как делают это ныне покладистые ораторы. Народы чтили поэтов, верили, что они верные истолкователи воли богов. Да и теперь песни Гомера почитаются не меньше речей Демосфена: трагедии Софокла и Эврипида восхваляются выше,

чем мастерство Лисия и Гиперида. И у нас теперь Цицерона (оратора) уже критикуют, а Вергилия (поэта) превозносят до небес. Матерн произносит похвальное слово и Вергилию. Поэты свободны (знамя свободы поднимается Тацитом уже в первом сочинении), ораторы же заранее обречены на лесть. Положение их трудное, они не могут никому угодить: правители находят недостаточным их раболепие, мы же (т. е. общество, народ) всегда обвиняем их в отсутствии независимости, корим за подслуживание к власти или к тому, кто хорошо платит. Тацит убежден, что в поэзии заключена великая сила культуры, и этой силой должны пользоваться ораторы, обвинители и защитники, раз испорченность людей сделала их работу необходимой. Подобная личная его оценка выявляется для нас из того тона сочувствия, с каким он передает речь Матерна.

Впрочем, одной поэзии мало, чтобы воспитать оратора по-настоящему: ему надо приобрести еще и широкое и основательное образование — и не только формально и словесно, но и научно, по существу. Матерн указывает, какие предметы должны служить фундаментом просвещения оратора: это, во-первых, философия и, во-вторых, право, причем последнее в историческом изучении, как необходимое знакомство с опытом предков. Теперь же забыто, говорит Матерн, такое углубленное изучение: только бы уметь пустить пыль в глаза. Оттого-то и падает у нас, римлян, красноречие.

И еще один довод приводит Матерн при объяснении причин упадка ораторского искусства в современном ему Риме. Мы бы сейчас на своем языке, назвали это влиянием «среды», условий, в которых развивается жизнь. Республиканские ораторы воспринимали образы и дела замечательных людей, вождей и героев, теперь же человеческая природа оскудела, измельчали и умы, и характеры. На ряду с замечательными людьми дух поднимали великие события истории, блестящие и самоотверженные акты, как примеры добра и мужества. Теперь повсюду господствует посредственность. Наконец — что особенно важно — в республике царила свобода и возможна

была в ней борьба за великие блага. Это двигало жизнь, окрыляло людей и закаляло оратора. Высокое искусство красноречия рождается и растет при созерцании крупных людей и славных событий; оно питается и одухотворяется свободными порядками. Теперь эти времена, замечает Тацит, прошли. Матерн в виде утешения, — впрочем, не без иронии, выпуская жало горькой насмешки, — будто успокаивает: Август своею властью — «замирил красноречие».[1] Это, очевидно, значит: свобода отошла в прошлое, но все делают вид, будто ее и не нужно. Царит дружба и согласие. Поэтому-то и слышатся только похвальные речи.[2]

По форме, принятой в тексте «Диалога», Тацит излагает мнения других, воздерживаясь от высказывания собственных, но симпатии его ясно склоняются на сторону Мессалы и Матерна. Он почитает старину, учится у великих ораторов еще недалекого прошлого, но ему нужно и движение вперед, к дальнейшему совершенствованию. Последнее достигается путем научного образования и поэзией, но на ряду с этим необходимо и наблюдение над самой жизнью и подражание великим примерам, какими дарит нас действительность в людях, событиях, ходе истории. А для успешного развития всех воспитывающих человека сил требуются свободные формы в жизни общества.[3] Так комбинируются устами Мессалы и Матерна разделяемые Тацитом и уже продуманные им, собранные здесь в одно целое, основные признаки высокого искусства оратора, а причины падения его заключаются для него в отсутствии перечисленных условий, которые их питают.

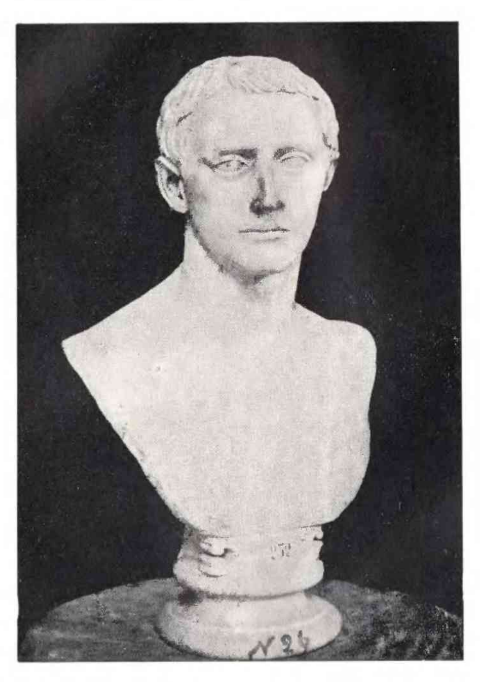
Надобно еще обратить внимание на одну черту в самом

---

[1] Tac. Dial. de orat. 38.

[2] Тот же Матерн, в виде шутки, высказывает догадку: не влияют ли на упадок красноречия введенные недавно обязательные при выступлении адвокатов на суде узкие мантии (paenulae), стесняющие их движения? См. «Dial. de orat.» 39. Пожалуй, и это намек на урезку свободы слова.

[3] Матерн говорит Мессале (Dial. 27): «Смелее. Ты будешь держать речь о древних, делай это с той свободой, которая отдалилась от нас еще больше, чем красноречие».



Молодой римлянин времени первых императоров.

Ленинград, Эрмитаж.

определении того, что такое оратор. У римлян интересующего нас времени это понятие более широкое, чем наше современное, связанное у нас с этим словом. Тогда оно вызывало представление о человеке, основательно образованном и подготовленном к самостоятельной общественной деятельности, к служению государству. Но к такому интеллектуальному признаку должен был присоединиться еще и моральный или волевой, воплощавшийся в сочетании двух понятий vir bonus, «хороший» и активно «честный» человек, одушевленный желанием нести свою общественную обязанность (officium publicum). Полное обладание даром речи являлось у оратора средством для ее выполнения. У Квинтилиана поэтому говорится, что orator — это «vir bonus, dicendi peritus», «хороший человек (как по-французски: un homme de bien), искусный (опытный) в даре слова». Такое воззрение разделялось и Тацитом. Стало быть, и он считал, что назначение его высокое и трудное, но его дело (eloquentia) легко вырождалось вследствие порчи необходимых для него качеств: происходило падение или порча красноречия (corruptio eloquentiae).

Когда умолкает в «Диалоге» Тацита Матерн, которому дано главное слово, все присутствующие поднимаются, считая, что беседа закончена и пора расходиться. Мессала заявляет тогда, что у него имеются возражения. «В другой раз, — говорит Матерн, — я буду готов разъяснять вам, если в сказанном мною осталось что-нибудь темное». Затем он целуется с Апром и добавляет с улыбкой: «Мы нажалуемся на тебя поэтам, а Мессала — поклонникам древности». «Я же, — возражает Апр, — обоих вас выдам ораторам-практикам». Все весело смеются взаимному обмену шутками и отправляются по домам, откладывая продолжение разговора до ближайшей встречи.

Очевидно, подобного рода беседы были обычны в обществе римских интеллигентов. Тацит оставил нам прекрасный образчик их формы и содержания, и «Dialogus de oratoribus» по справедливости можно назвать талантливым и выразительным произведением, принадлежащим по своей форме

к одному из типичных у римлян литературных видов, ценным памятником для истории римской культуры и, в частности, важным и для изучения творчества самого автора.

Воспитание и начало практической деятельности обещало в Таците оратора, так же как и в Плинии Младшем; только Плиний, поддакивавший Тациту, внутренне был ближе к Апру, чем к идеалу Тацита. Однако, дальнейший жизненный опыт и собственные глубокие переживания направили Тацита к работе летописания. Как и почему Тацит стал историком? — Постараемся на этот вопрос ответить.





ЖИЗНЬ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАЦИТА ДО СМЕРТИ ДОМИЦИАНА (96 г. н. э.)

I

Став на самостоятельный жизненный путь в правление Веспасиана (70—79 гг.), Тацит проявил себя, прежде всего, как общественный оратор, «деятель форума», выступавший с блестящим успехом. Как выше указано, до нас не дошло ни одной из его речей, хотя они, наверное, были опубликованы. «Диалог об ораторах» был уже опытом формулировки выводов из собственной ораторской практики и из критических наблюдений над другими. Плиний Младший категорически утверждает, что Тацит, по общему признанию, принадлежит к числу замечательнейших мастеров слова.

Плиний бывал особенно доволен, когда в этом смысле его сближали с Тацитом. Он с чрезвычайным удовольствием сообщает одному из своих корреспондентов случай, рассказанный ему самим Тацитом.[1] Раз в цирке во время игр рядом с ним и с Тацитом сидел не знавший его в лицо римский всадник. После завязавшегося между ними разговора, последний спросил его: «Ты родом из Италии или из провинции?» Тацит ответил уклончиво: «Ты мог бы знать мое имя по моим литературным трудам». На это собеседник заметил, очевидно, выражая благоприятное впечатление, произведенное на него содержанием и формой его речи: «Значит, ты Тацит или Плиний!» Он назвал имена двух писателей, лучших, по общему мнению

[1] Plin. Epist. IX, 23.

и вкусу им современных читателей. Плиний очень рад: для него нет большего удовлетворения, чем отожествление его с Тацитом.

С своей стороны, и Тацит ценил Плиния, как литературного знатока и авторитетного критика. Оба приятеля обычно обменивались только что написанными своими новинками до их опубликования, чтобы выслушать дружеские замечания и исправить дефекты.[1] Хронологию рассказанного происшествия и только что цитированного письма Плиния точно определить нельзя, но вернее всего дело идет о первых работах Тацита: позднейшие сочинения скорее всего были бы названы по заглавиям. Стало быть, уже ораторские упражнения его производили шум в литературе. Плиний высказывается с большой похвалою о двух из них. Это были: хвалебное поминальное слово в честь консула Вергиния Руфа и обвинительная речь против Мария Приска, наместника Африки, в защиту провинциалов, с обличением его насилий и вымогательств.[2]

Несмотря на свое тщеславие, Плиний преклоняется перед Тацитом как красноречивейшим оратором (laudator eloquentissimus),[3] признавая его учителем и образцом. Восхищается он им и как личностью: «Ты знаешь, Корнелий Тацит, что это за человек!» Понятие об искусстве красноречия Тацита можно составить по примерам построения и стиля многочисленных речей, которые он любил влагать в уста политических, военных и культурных деятелей, при рассказе об их делах, в своих исторических сочинениях.[4]

[1] Plin. Epist. 20 (очень интересное письмо).

[2] Op. cit., II, 11. С этими замечательными образцами ораторского искусства Тацит выступал уже позднее: с первым в 97 г., со вторым в 100 г. Нельзя сомневаться, что им предшествовало немало подобных речей; в указанных Тацит выступал уже как законченный и прославленный оратор.

[3] Op. cit. II, 1. Laudator — «хвалитель» в римском одобрительном понимании термина «панегирист» — прославитель честных деятелей.

[4] К составленным автором речам в исторических сочинениях Тацита нам придется еще вернуться при характеристике «исторической манеры» его.

В таких литературных упражнениях проводил свое время Тацит и в них влагал свой труд в 70-х годах I в. н. э. Помимо составления речей, он отдавался, повидимому, опытам поэтического творчества, опять так же, как Плиний и как особенно одобряемый им в «Диалоге» оратор-поэт Матерн.

Мы ничего не знаем о плодах его поэзии: от Тацита не осталось ни одного стихотворения. Плиний только вскользь указывает, что Тацит их писал, и что для этого ему требовалось уединение в деревне, вдали от городской суеты.[1] То были, вероятнее всего, лирические стихотворения, воплощавшие его эмоциональные настроения, или небольшие эпико-дидактические поэмы, любимые жанры римских поэтов, может быть, иногда еще и эпиграммы, шуточные, либо обличительные. Полное их исчезновение, нужно думать, не столько свидетельствует о том, что они не ценились читателями, сколько показывает строгое отношение автора к задачам поэзии и пренебрежение его самого к продуктам собственной музы. Они, должно быть, представляли интимные излияния, которыми он делился с друзьями и которые не опубликовывал для широкого распространения. Но упомянуть о них следует, чтобы очертить разнообразие дарований, духовных вкусов и эстетических потребностей Тацита и углубленность его внутренней жизни.

Был еще один литературный жанр, которым, без сомнения, пользовался Тацит, но от которого не осталось также никаких следов, — это его письма. Судя по сохранившимся письмам к Тациту Плиния, можно быть уверенным, что и Тацит ему часто писал. Вероятно были у него и другие корреспонденты, и его письма должны были быть очень содержательны, талантливы и своеобразны. Они открыли бы важные данные для биографии их автора. Наряду с письмами Плиния

[1] У Плиния (Epist. IX, 10) читаем, что таково было мнение Тацита, и Плиний придавал значение его взгляду как искушенного деятеля в области поэтики. Ср. о том же: Tac. Dial. de orat. 12. Это указание удостоверяет также, что у Тацита был приют, где он уединялся, когда приходило вдохновение, т. е. собственная вилла.

и в отличие от них, в связи с различием натур и темпераментов каждого из корреспондентов, они дали бы нам в руки интереснейший specimen римской эпистолографии.

В то время, когда начиналась общественная деятельность Тацита, римское общество вздохнуло свободнее после ужасающей тирании и диких оргий Нерона и жестоких смут, разразившихся вслед за его убийством (68 г. н. э.), во время продолжавшейся больше года борьбы между тремя захватывавшими власть с помощью войска императорами (Гальбою, Отоном и Вителлием). Утверждение во власти Веспасиана внесло в жизнь центра римского мира некоторый порядок. Можно было чувствовать безопасность, и для отдельных лиц являлась возможность сохранять свое человеческое достоинство.

Тациту, как всаднику, приходилось начинать служебную свою карьеру, официальный cursus honorum, с низших должностей. При Веспасиане (70—79) он, может быть, получил звание трибуна легиона: военные места для всадников предшествовали гражданским. Затем он мог занимать место в составе судейской коллегии двадцати (vigintiviratus) или участвовать в каких-нибудь жречествах (sacerdotia). Об этих моментах своей службы он умалчивает, как о менее значительных, но зато о дальнейших видных ступенях своей карьеры говорит сам так: «Служение мое началось при Веспасиане, оно двинулось вперед при Тите (79—81 г.) и еще больше возвысилось при Домициане» (81—96 гг.).[1] Это значит, что уже Веспасиан открыл Тациту путь к сенаторской курульной карьере и возвел его в звание квестора, т. е. он поднялся на первую ступень лестницы, которая вела в сенат. Толкуя приведенные слова, надо далее думать, что Тит предоставил Тациту эдилитет, или народный трибунат, а Домициан назначил его претором. Так он становился родоначальником новой «сенаторской» фамилии Корнелиев, вместо угасшей старой линии, носившей это имя.

[1] Tac. Hist. I, 1. Надо тщательно ловить немногочисленные фактические свидетельства самого автора.

Вступив в ответственную должность, Тацит должен был вращаться в кругу людей высших классов и соприкасаться с придворным и — шире — со светским обществом. Связи с последним были ему необходимы в интересах дальнейшего продвижения. Служба и продолжавшаяся «адвокатская» (ораторская) деятельность сталкивали его с этой средою, что должно было, с одной стороны, выработать в нем известный культурный склад, а с другой, дать ему разнообразные наблюдения. Сюжеты этих наблюдений, в виде бытовых этюдов, мелких эпизодов и характеристик, или в форме размышлений, иронических замечаний и острот, несмотря на склонность Тацита держаться вообще серьезного тона, вкрапливаются впоследствии и в его основные исторические повествования.

Тацит должен был иметь успех в высших кругах столицы. Умный, тонкий, образованный, изящный, хотя и склонный к сдержанности, он мог быть интересен и занимателен и при встречах, и на собраниях. Это общество было нужно Тациту, но мало ему нравилось, между тем как Плиний чувствовал себя в нем, как в любимой среде. Оно жило в роскоши и чаще всего в распутстве. Потеряв свободу и политическую власть, сенаторские фамилии искали компенсации в великолепии житейской обстановки и в эксцессах развлечений. Императоры, преемники Августа, не препятствовали излишествам. Они даже потворствовали расточительности: сама республиканская аристократия подрывала свои силы безумными кутежами, пожалуй, не меньше, чем страдала от преследований подозрительной власти. Старые крупные семьи истощали себя и вымирали. Но поднимались новые выходцы из дальних углов Италии, из заморских областей — Галлии, Испании, Африки, с Востока. Отцы возвышались на местной службе в своих городах; сыновья вступали командирами в имперскую армию и отличались в ней, либо занимали финансовые должности, приезжали в Рим, и там, как и Тацит, основывали новые сенаторские роды.

Новые фамилии также легко поддавались испорченным нравам Рима, но они часто были привержены к литературе и падки до интеллектуальных наслаждений. Они и сами много читали, и любили слушать чужое искусное чтение, страстно увлекались утонченными беседами в гостиных и сценическими представлениями в театрах, а иногда и в цирке более грубыми зрелищами — гладиаторскими боями. Опять устраивались и собирались кружки и салоны. Внутри же них попрежнему возобновлялся сыск и начинались новые преследования.

II

При Веспасиане (70—79) атмосфера разрядилась, стало полегче и литературе. Теперь и Тацит мог проявлять свои таланты, занимать видное место и приобретать нужные знакомства, находя поддержку в сближении с сильными мира. У него были разнообразные способности: величавость речи и благородный тон, обширные знания и искреннее увлечение и вместе с тем уменье заострять речь язвительной фразой, или, наоборот, смягчить ее тонкой шуткой, загладить деликатной ласковостью комплимента, привлечь внимание к рассказу внушительной фигурой изображаемого лица или трогательной прочувствованностью суждения, углубить и осмыслить картину философским обобщением или моральным, возвышающим душу, выводом. Все это изощрялось в писателе от постоянного общения его с лучшими представителями интеллигенции.

Указанные качества мы находим в сочинениях Тацита: стало быть, они жили и в его природе. Он входил в жизнь, сходился с людьми в момент замирения отношений и поворота к созидательной работе, во всяком случае — к исправлению расстройства. Тацит многое узнал, изучил, принял участие в работе государственного аппарата: для будущего историка то был важный опыт жизни.

Заняв почетное положение на службе в составе высшей магистратуры, Тацит приобрел себе и новый круг друзей.

В их числе находилась семья авторитетного общественного деятеля — Гнея Юлия Агриколы, из рода состоятельных муниципальных граждан южной Галлии. Отец Агриколы переселился в Рим и достиг на службе всаднического, а потом и сенаторского звания, но был казнен по бешеному произволу сумасшедшего императора Калигулы. Сын был воспитан матерью, Юлией Прициллой, повидимому, образованной и незаурядной женщиной. Он учился до конца в галльском центре классического просвещения, в греческой Массилии (Марсель), в которой, по словам Тацита, «царили в счастливом единстве эллинская цивилизованность и провинциальная простота». Агрикола был добросовестным государственным работником, особенно способным к военному делу. Его очень ценил Веспасиан как полководца, отличившегося при завоевании Британии. Тацит тесно сошелся с Агриколой и его семьей; в 77 г. он просил руки его дочери и в следующем же году вступил с нею в брак. Они счастливо прожили вместе годы их союза.

Агрикола умер в 90 г. н. э. Тацит посвятил его биографии свой первый исторический труд — «О жизни и характере Юлия Агриколы». Это — нечто вроде разработанного надгробного слова. К данному сочинению мы еще вернемся ниже, как к начальному опыту исторического жанра у нашего писателя. Сейчас хочу лишь указать (для характеристики самого Тацита), как он изображает своего тестя, чтобы подчеркнуть, какими качествами должен быть наделен, на его взгляд, хороший человек и честный гражданин. Здесь Агрикола интересует нас как лицо, связанное с биографией Тацита, бросающее свет на характер нашего историка.

Про жену свою Тацит определенно упоминает только один раз, сообщая о своей помолвке с ней, и говорит, что Агрикола удостоил взять его в зятья, хотя он был еще молод (iuvenis), она же считалась девушкой, подававшей большие надежды (egregiae spei filia).[1] Впрочем, из тона, каким

[1] Tac. Agric. 9. Имя ее осталось неизвестным.

он в последних главах своего «Агриколы» обращается к ней и к ее матери, через двадцать лет после брака, видно, что их семейная жизнь сложилась и протекала в любви и согласии.[1] Если Агрикола одобрил Тацита в качестве будущего зятя, то, значит, он не только был ему приятен лично, но он видел, что Тацит стал на прочную жизненную дорогу, т. е. тоже «подавал надежды», и потому мог породниться с солидным домом: это в Риме всегда принималось в расчет заботливыми родителями при выдаче дочерей замуж.

Тацит стремится изобразить своего «героя» замечательным человеком. Интересно отметить, какие же он находит в нем черты, аргументирующие поставленный тезис. В силу своей природы бескорыстный и безупречный Агрикола не мог поддаться соблазнам порока, но его могли чрезмерно полонить интеллектуальные интересы. Сам он признавался, что готов бы был предаваться без удержу занятиям философией, «если бы мать не умерила его рвения, обозначив ему пределы, какие приличествовали римлянину и сенатору. Тогда его возвышенная душа в мечтах о красоте, даже о великой и чистой славе, слушалась больше страсти, чем смысла. Но разум вместе с возрастом успокоили его порывы и, что было особенно трудно, привели его к равновесию мудрости». Характерно, что в главную нравственную заслугу Агриколе ставится Тацитом здесь борьба с излишествами, с увлечениями даже жаждою истины, во имя чувства меры, гармонии, предписываемого идеалом римской старины, но не противоречащего и греческой «калокагатии». Воля побеждает, по велению разума, крайности юношеского энтузиазма ввиду трезвого понимания долга служения благу государства. Это заветы предков, и Агрикола подчиняется им вопреки личному стремлению посвятить себя всецело образованию, к чему влекут его окружающие новые вкусы. Следовательно, Тацит сам, вступивший в то время в служебную карьеру, признавал

[1] См. гл. 44 и следующие, где произносится заключительное прощальное слово Агриколе всеми членами семьи.

такую дисциплину (temperantia) обязанностью гражданина. От этого пути не должен уклоняться «хороший римлянин». Это и надо было прежде всего подчеркнуть в Агриколе в похвалу ему.

На указанную основную черту, определяющую характер Агриколы, нарастают другие качества, которые выбираются из содержания понятий «гуманность» и «цивилизованность». Биограф замечает, что самая наружность Агриколы изобличала его душевные качества. «В чертах его лица не было ничего, что вызывало бы в людях страх, все выявляло в нем благожелательство».[1] «Обычно думают, что в людях военного дела отсутствует тонкость ума, потому что в лагерях твердая власть и быстрый суд, осуществляемые чаще всего по мановению руки (начальника), не допускают ухищрений гражданской юстиции. Но Агрикола, облачаясь в тогу судьи, разрешал дела легко и справедливо, благодаря присущей ему мудрости». И дальше: «Он умел превосходно делить время между трудом и отдыхом. Пока исполнялись деловые обязанности, он был серьезен, внимателен, строг, но и тут часто милостив. Когда же дело было покончено, в нем исчезали все признаки человека, облеченного властью. Нельзя было увидеть его сумрачным, высокомерным или алчным — что было особенно редкостно; его мягкость, как и его строгость, не ослабляли: первая — его авторитета, вторая — привязанности к нему подчиненных». Характеристика Агриколы заканчивается у Тацита следующими словами: «Восхвалять такого человека за честность и бескорыстие было бы оскорблением его доблестных свойств.[2] Никогда с помощью хитростей или выставляя свои достоинства на показ, не добивался он славы, ради которой даже хорошие люди приносят большие жертвы. Он не завидовал своим товарищам, не вступал с ними в соревнование, ибо полагал,

[1] Tac. Agric. 44: Nihil metus in vultu: gratia oris supererat.

[2] Эти свойства предполагаются и значатся в таком человеке сами по себе.

что в такой борьбе торжество бесславно, а поражение постыдно».[1]

Весь объединенный здесь комплекс нравственных качеств Агриколы представляет не книжный шаблон, а обобщенный образ дорогого и почитаемого человека, каким Тацит чувствовал и понимал его в свете своей душевной симпатии. Ему, идейному ученику Цицерона и Вергилия, радостно было находить в Агриколе то, что соответствовало идеалу его учителей, разделявшемуся и им.

В такой обстановке и с такими настроениями проходила общественная деятельность и государственная служба Тацита в правление первых двух императоров из дома Флавиев, Веспасиана и его старшего сына Тита. Но в 81 г. вступил во власть второй сын Веспасиана, Домициан, о котором уже и раньше должны были ходить тревожные слухи. Его пятнадцатилетнее царствование (81—96 гг. н. э.) оказалось одной из самых страшных годин в истории принципата, по крайней мере для тех, кто, проводя жизнь в центре римского мира, в Риме, или в Италии, приходил в соприкосновение с Домицианом.

Но жестокости последнего разразились не сразу: сначала Домициан сдерживал себя.[2] Тацит, видимо, приобрел предшествующей своей службой репутацию ценного сотрудника правительства в центральном управлении, и первые годы Домициана проходили для него благополучно; повидимому, он не вызывал подозрений со стороны недоверчивого деспота. В 88 г. он даже был возведен в высокую должность претора, и как таковой, а также как член почетной жреческой коллегии (квиндецемвиров), руководил торжественными церемониями юбилейного празднества 800-летия Рима, которое Домициан вздумал по своему произволу повторить именно в этом году («секулярные игры»).[3]

---

[1] Tac. Agric. 9.

[2] Плиний Младший говорил впоследствии, что за эти первые годы Домициан не успел еще обнаружить своей ненависти к честным людям.

[3] Tac. Annal. XI, 11. Это исключительный случай, когда Тацит,

Однако Тациту в эти годы приходилось внимательно вглядываться в события и в отношения, вести себя крайне осторожно, чтобы не возбудить неудовольствия, не войти в сношения с кем-нибудь из тех, к кому император относился враждебно, не сказать опрометчивого слова. Такое положение должно было сильно тяготить Тацита, так как ему постоянно грозила опасность, или ему пришлось бы унижаться и подслуживаться. Поэтому, когда для него открылась возможность, по сложении с себя претуры, покинуть Рим, приняв на себя ответственную должность в областном управлении, он уехал из столицы.

Отбывшие претуру доверенные лица обычно отправлялись в какую-нибудь императорскую провинцию наместниками с преторской властью (legatus Augusti pro praetore). Назначение зависело от самого императора, и сроки службы были разные. Избранному лицу предоставлялась гражданская и военная власть — административная и судейская. Такое назначение получил и Тацит. Он принял его с охотою: это освобождало его от пребывания при императоре. Он отправился вместе с женою немедленно после 88 г. и долго находился вдали от Рима: около четырех лет.[1]

Любопытно, что мы, имея очень мало известий о жизни Тацита, все же можем проследить главные повороты и перемены в общем ходе его биографии. Надо только уметь пред-

вообще редко упоминающий о себе, устанавливает тут даже дату этого этапа своей службы. Жреческая коллегия «пятнадцати» (Sacerdotium quindecimvirale), хранившая священные «Сивиллины книги» пророчеств, являлась одной из четырех высших жреческих коллегий Рима, члены которой ведали, между прочим, и порядком празднования «секулярных игр» или сакрального восьмисотлетия. Празднество это было уже отпраздновано Августом в 17 г. до н. э., а затем, в нарушение римских священных обычаев Рима, произвольно повторено императором Клавдием. Отпраздновал их, наконец, столь же произвольно, при жизни Тацита и Домициан (Suet. Domitianus 4).

[1] Сам Тацит (Agric. 45), указывает этот срок (quadriennium). Провинциальная служба помешала Тациту и его жене присутствовать при болезни и кончине Агриколы, умершего в 93 г. (Agric. 24). К концу этого года или в начале следующего они вернулись в Рим.

ставить себе картину сопровождающих обстоятельств и не терять из виду ни одной мелочи в имеющихся данных, так или иначе касающихся его личности. Можно ли установить, какая провинция была поручена управлению Тацита? Прямого ответа на этот вопрос у нас нет, но можно догадываться, что он был поставлен во главе одной из северных областей империи. Отец или дядя Тацита управлял Бельгийской Галлией. Сам Тацит написал сочинение о германцах, которое обнаруживает, что он точно представлял себе культурное состояние германских племен. Это была страна, близкая к рейнской окраине, она требовала большой бдительности, и дело поручалось лицу, вызывавшему к себе доверие, отличавшемуся опытностью и надежностью. Провинциальная политика Домициана, в резком противоречии с его кровавыми безумиями в центре, держалась разумной линии, установленной еще Августом. Управление расположенных вдоль Рейна двух провинций «Германии» носило специфически военный характер. Тацит, как это видно по его сочинениям, был хорошо знаком с устройством армии, но по личному своему характеру мало подходил к роли главноначальствующего большими вооруженными силами. Вернее всего именно он был наместником провинции «Бельгики», но деловые отношения связывали его также в силу соседства и с обеими «Германиями», Верхней и Нижней. Он должен был там бывать и, во всяком случае, хорошо знать, что там происходило. Оттого и написана была им «Германия».[1]

В годы, пока Тацит отсутствовал из Рима (примерно 89—93), там с полной силой свирепствовал страшный террор Домициана. Картина ужасающего положения вещей охватила его по возвращении. Писавшие о Домициане историки — римский Светоний и греческий Дион Кассий — оба в одинаковых красках изображают его тиранию как полосу черных лет. Немногие слова, которыми обрисовывает свои потрясающее впечатления по прибытии в Рим и Тацит, под-

[1] Это предположение, высказывавшееся многими исследователями, может быть принято как вполне вероятное, если не несомненное.

тверждают ту же характеристику кровавых злодеяний тирана против всего общества.[1] Автор счастлив, что смерть избавила его покойного тестя от дальнейшего отвратительного зрелища: глаза его уже не видели, как Домициан «обескровил республику».[2] Он делал это не моментами, давая людям отдохнуть и самому очнуться от истязаний, но неистовствовал без перерыва, удар за ударом. Сенат подвергался как бы осаде вооруженными силами, множество его членов погибало сразу, в одно избиение; знатные благородные женщины изгонялись или сами спасались бегством: так рассказывает Тацит. «Рустик и Сенецион были преданы смерти потому, что воздали хвалу (раньше погибшим) Тразее Пэту и Гельвидию Приску. Преследовались не только авторы неугодных сочинений, но предавались сожжению на форуме и даже в комициях самые произведения этих блестящих гениев. Что же! В пламени надеялись загубить голос римского народа, свободу сената, сознание человеческого рода. Философы, учителя мудрости, были прогнаны, задавлены все честные искусства, уничтожены последние следы добра. Мы показали великий пример терпения: как в древности мы доходили до крайностей свободы, так теперь, в свою очередь, познали полное рабство, ибо окруженные шпионством, мы потеряли право говорить и слушать. Вместе с даром речи мы бы утратили даже способность памяти, если бы человек мог забывать, так же как он может хранить молчание».[3] Сравнивая Домициана с Нероном, Тацит отдает пальму первенства за жестокость первому: Нерон отвращал глаза при исполнении предписываемых им злодеяний, приказывал, но не смотрел. Этот же сам смотрит и заставляет других смотреть на свои казни. Домициан постоянно присутствовал на заседаниях сената и зорко всматривался, как отражались в глазах его отдельных членов

[1] В начале и в конце биографии Агриколы.

[2] И во время принципата продолжали так именовать римское государство.

[3] Tac. Agric. 2. Уже здесь предчувствуются страницы дальнейших лучших работ Тацита.

его зверские акты. Он втягивал сенаторов в свои жестокости, назначая из них судные комиссии по преступлениям «против величества», предательски останавливаясь в своем выборе на тех, кто был в дружбе с осуждаемыми. Так он делал их ответственными за принудительно произносимый ими приговор. Тацит с горечью и стыдом восклицает: «Мы собственными руками тащили Гельвидия в темницу, мы не протестовали против осуждения Мавриция и Рустика, нас обагрила чистая кровь Сенециона».[1] Пассивно негодующее молчание не спасало: надо было или итти на смерть, или против совести участвовать в злых делах императора.

Тациту пришлось около трех лет претерпевать невыносимую муку опасности за жизнь и постоянных укоров совести, пока жив был Домициан, предававшийся кровавому произволу. Понятны слова Тацита об Агриколе, что счастьем для него было умереть во-время, сохранив незапятнанным доброе имя. Но трудно было разрешить для себя ту же проблему, оставаясь в живых. Работать на общественном поприще при таких условиях было невозможно человеку принципиальному. Оставаться в праздности мешали деятельная природа и нравственное требование труда для других. Какой найти выход? Искать твердости, утешения себе в философии? Но чем же служить общественному благу? Мы можем убедиться из вдохновений, какими дышат сочинения Тацита, что эта основная задача волновала его сознание. Из того, что мы знаем о его образовании, из данных, рисующих искания им кругов, затронутых идейными интересами, — наконец, из признаний, какие прорываются у него в моральных отступлениях после наиболее выразительных исторических сцен в его повествованиях, можно думать, что Тацита в эти годы остро занимали мысли философов-стоиков. Сомнения в философии, вызывавшиеся в уме римлянина-гражданина, должны были ослабляться, когда в общественной деятельности он становился лицом к лицу перед препятствиями, с которыми не могли справиться

[1] Tac. Agric. 45.



Клавдий (Калигула [?]).

Рим, Национальный Музей.

заветы предков. Тут совесть могла направить сбившегося с дороги просвещенного деятеля к «мудрецу» с вопросом: как избавиться от зла? Тацит, очевидно, принадлежал к числу тех, кому потребно было всегда искать осмысления и оправдания жизни общества и личности, и его философское образование, в частности сочинения Сенеки, естественно обращали его к стоицизму.[1]

Стоицизм ставил во главу угла вопрос о достижении человеком «счастья», которое не противополагалось бы «благу», а объединялось бы с ним. Для этого требовалось сознание единства между «большим миром» (природою) и «малым миром» (человеком), и каждому надлежало жить согласно с природой, желанный путь к которой должен был показать человеку данный ему «разум», а осуществлять его — «воля». Чтобы итти к этому, воля, по велению разума, должна победить аффекты и страсти постоянной борьбою с ними и вернуть человека от порока к добродетели, от лжи к правде, — и таким способом сделать его способным к счастливой и вместе с тем праведной жизни: счастье дастся человеку тогда, когда достигнет он совершенства. Такое построение — своего рода фатализм нравственного порядка, следование человека к цели, не им предначертанной, а установленной высшею силою — природой, мировым разумом, богом. Не разум человека определяет этот закон: воля человека ведет его к согласию с необходимостью. Это — великое дело, свободно принимаемое личностью, если ее разум понял, в чем состоит необходимость. Этот путь доступен всем и каждому. Все люди по природе равны — граждане и не-граждане, греки и варвары, свободные и рабы. Счастье человека —

[1] Философия занимала большое место в образовании Тацита, а сочинения Сенеки были философскими сочинениями, наиболее тогда распространенными в римском передовом обществе. Хотя у Тацита и возникали сомнения трезвого римлянина по отношению к советам философии, но он не доходил до резкого их отрицания, высказывавшегося, например, Квинтилианом: может быть, это-то и отвело Тацита от его аудитории.

в нем самом, и если все поймут это, все будут счастливы: благо всех достигнется усилиями каждого. Дорога эта трудна, но для выдающегося человека она открывает широкую перспективу и вручает ему средства для укрепления и утешения. Избегай соблазнов неизменным воздержанием. Преодолей зло в себе, уклоняйся от общения с худыми людьми. Если государство погрузилось в порок, удаляйся от деятельности для него, замкнись в себе, выработай невозмутимость духа, побори страх, не бойся смерти. Сильному такая доктрина могла дать помощь на пути приобретения закала в борьбе с собственными моральными немощами и в противостоянии бедствиям, шедшим от внешнего мира. Но путь героического самоограничения — тернистый путь, и трудно требовать его, как обязанности, от себя, а тем более от других. Тацит, признавая основную истину учения, смягчает ригоризм его требований, предъявляемых им к личности, говоря, что «могут рождаться великие мужи при худых государях» и что нет необходимости «делать вызов славе или смерти высокомерием перед опасностью и суетным тщеславием свободы». Он поясняет, что такая непримиримость умеряется сдержанностью и благоразумием.[1]

Тацит удалялся от дел в это страшное трехлетие, запирался в глубине своего дома от опасных встреч, погружался в молчание, но завоевать спокойствия не мог, и над ним продолжал висеть дамоклов меч беспощадного гнева императора, который «легко загорался ненавистью даже против тех, кого сам оскорблял». Одной философии Тациту было мало для нахождения равновесия, притом только для себя. Не мог он и не хотеть, выяснив это для себя, показать современникам, как это произошло. Иначе говоря, он пришел к сознанию необходимости углубиться в ближайшее прошлое своего народа, понять и изобразить, как попал этот народ в «рабство»: такие побуждения и сделали Тацита историком.

Еще Цицерон направлял своих собратьев-писателей

---

1 Tac. Agric. 42.

к истории: от него идут многие корни римской образованности. Цицерон высоко ценил значение истории; на своем ораторском языке он называл ее «свидетельницей веков, факелом истины, душою памяти, наставницею жизни».[1] Оттого ее надо настойчиво изучать. Тацит решает предаться истории, как делу дальнейшей жизни, узнать прошлое и в нем — корни настоящего, понять смысл жизни и помочь другим ее осмыслить. Для римлянина это вполне естественный путь: умственный труд, нужный для практической цели.

III

Такой поворот интересов, склонностей и направления мысли естественно вытекал из пережитого им самим, Тацитом, опыта жизни, то-есть, и из того тяжелого положения, в каком он оказался после возвращения в Рим под ужасными впечатлениями последних лет тирании Домициана.

Как жить и что делать? Эти вопросы неизбежно должны были ставиться перед ним его умом, привыкшим, вследствие полученного образования, всегда отдавать себе отчет в том, что совершается вокруг. Мрачные наблюдения над действительностью естественно заставляли его обращать взор назад: откуда выросло зло? Каков может быть, из него выход? Хорошее знакомство не только с литературой, но также и с жизнью уже давало ему немало материала для освещения старины. Тациту не могли остаться чужды сочинения крупнейших римских историков — Саллюстия и Тита Ливия. Он восхищался ими, и на его трудах чувствуется их влияние. Но они писали о старых временах. Он должен был теперь обращаться к другим повествователям,[2] но он не всегда удовлетворялся писаниями тех, которые занимались недавними

[1] Cic. De or. II, 9, 36; De legibus I, 2.

[2] В «Диалоге об ораторах» (напр. в гл. 14) Тацит одобряет мнение Мессалы и Секунда, которые требуют для оратора исторического образования.

годами. Надо было изучить все заново и все построить по-новому.

Прежнее величие родины отошло в прошлое и забыто: следует вспомнить о нем и объяснить, отчего оно исчезло или исказилось, и как вернуться к нему. Нельзя примириться с постыдным раболепством сената и купленной лестью, хотя бы и талантливых, панегиристов, какими были при Домициане поэты Стаций и Марциал. Одна история и ее уроки могут раскрыть глаза, отрезвить сознание и поднять дух. Тацит не забывал убедительного тезиса Цицерона, что история — учительница жизни. Он безусловно разделял в этом смысле веру учителя. Но тот же Цицерон требовал: «Пусть история всегда дерзает говорить всю правду, но не дерзает ни в чем погрешать против нее».[1]

Такую истину разделяли немногие древние писатели, даже историки. Они часто смотрели на свою задачу только как на дело красноречия, которое услаждает и поучает, но может и прикрашивать или перекрашивать истину. Тацит равным образом хочет научить, как творить добро и разрушать зло путем уразумения того, как зло образовалось. Но это возможно только через восстановление истины о прошлом. Теперь мы бы сказали: через научное, достоверное познание истории. Для Тацита долг историка — изучать и изображать прошлое «без гнева и пристрастия»,[1] «без любви и ненависти», т. е. по объективно исследованной правде: «incorruptam fidem professus».

Вынужденное бездействие под грозою Домициана, когда Тацит заботился только о том, чтобы его забыли,[3] доставило ему досуг. Он принялся за работу, ожидая для ее завершения и обнародования, когда, наконец, пройдет гроза. Сочетание

---

[1] Cic. De or. II, 15. «Ne quid falsi dicere audeat, deinde ne quid veri non audeat».

[2] Tac. Ann. I, 1 «Sine ira et studio».

[3] Домициан, может быть, и в самом деле забыл о Таците и потому не возводил его в консулы, но возможно, что то был признак уже начинавшегося недовольства, от которого до беды был один шаг.

всех обстоятельств жизни создало из Тацита испытателя старины, а личный крупный талант и почувствованное призвание сделали его историком первой величины. Он собирал материалы, обдумывал их, — возможно, составлял первые наброски, но мог приняться за работу спокойно и систематически только тогда, когда собственные придворные и вольноотпущенники насильственно избавили римлян от Домициана. Домициан был умерщвлен 18 сентября 96 г., и сенат преемником ему выдвинул Марка Корнелия Нерву, который сулил надежду на утверждение совсем других порядков как в управлении, так и вообще в отношениях между властью и населением.[1]

План исторического замысла Тацита слагался в голове у него постепенно. Тацит испытал сéбя сначала над обработкою небольших тем, задуманных им раньше, — именно (мы это видели) биографии своего тестя Агриколы и описания жизни и нравов германских племен. Позже он поставил себе задачей написать историю своего времени в форме двух контрастных картин — жестокого правления Домициана и «счастливого времени» Траяна. Помимо субъективного интереса к правдивому повествованию о том, что было пережито им лично, здесь им предполагалась и определенная моралистиче-

[1] Домициан возбудил против себя общую ненависть. Плиний Младший рассказывает, что незадолго до смерти Домициана он навестил своего приятеля, довольно важного сановника, Кореллия, жестоко страдавшего от подагры. Тот признался ему, что давно покончил бы с собою, чтобы избавиться от невыносимых мучений, если бы страстно не желал пережить хоть на один день «этого разбойника» (т. е. Домициана). Действительно, узнав, что Домициан убит, Кореллий возрадовался общему избавлению от злодея и наложил на себя руки. Такое отрицательное отношение к Домициану обнаруживалось особенно резко среди высших классов общества, но распространялось и за их пределы. Кровавый произвол задевал людей всякого звания. Ненависть к Домициану отражалась и в народных рассказах. В полулегендарной биографии известного тогда прорицателя Аполлония Тианского говорится, будто в момент убиения императора находящийся далеко от Рима — в Эфесе — Аполлоний как бы в ясновидении воскликнул: «Смерть тирану!» Philostr. v. Ap. VIII, 26. О Кореллии: Plin. Epist. I, 12.

ская цель — изобразить картину зла и добра и объяснить их происхождение и их взаимодействие, т. е. борьбу этих сил и возможное торжество добра.

Мало-помалу рамки и перспективы задумываемого труда раздвинулись, и в сознании историка выросла широкая схема — рассказать всю историю принципата, от смерти Августа до дней жизни самого автора. Время Августа Тацит не вводил в свою задачу, поясняя, что правление его уже нашло достойных истолкователей. Царствование же Траяна должно было составить конечное звено выковываемой им длинной цепи повествования, которое, как ему казалось, должно было прозвучать как осмысливающий и примиряющий, заключительный аккорд для всего построения. В конечном счете, может быть, историк намеревался даже включить в состав разраставшегося плана обзор деятельности первого императора в качестве введения, увлеченный мыслью рассказать и истолковать весь ход и все содержание истории римского мира после падения республики.[1]

Выполнить и завершить всю предположенную историческую задачу Тациту не удалось. Первые две монографические работы были написаны им целиком и дошли до нас. Но главный труд осуществился не во всем плане. Автор обрабатывал избранный им сюжет по частям, начиная с более поздней, ближайшей к нему, эпохи. Он назвал этот труд «Историями» (Historiae). Изложение охватывает в нем годы от смерти Нерона до смерти Домициана (т. е. годы 68 — 96). Вслед затем он описал время от смерти Августа до конца правления Нерона (т. е. годы 14 — 68). Это последнее, лучшее его произведение известно под именем «Летописи» или «Аннал» (Annales). Повествование о царствовании Нервы и Траяна (т. е. годы 96 — 117) Тацит откладывал до лет своей старости, и, должно быть, не успел этого сделать, — по крайней мере, довести до конца. За царствование Августа он, во

[1] Впрочем, точных указаний на это у нас, строго говоря, нет, кроме неопределенного намека в «Анналах» (III, 24).

всяком случае, не принимался. Должно сказать с уверенностью, что Тацит совершил величайшее дело писателя-историка и своими трудами занял одно из первых мест в развитии мирового летописания, и не только в ряду историков античности. Печально, что оба главных исторических сочинения Тацита дошли до нас далеко не в полном виде. Оба вместе они составляли тридцать книг (или частей) и должны были сливаться в единое целое. Из них, по всей вероятности, книг двенадцать-четырнадцать относились к «Историям», а шестнадцать или восемнадцать — к «Летописи»,[1] как захватывавшим значительно большее число лет. Но от первого труда сохранилось только пять книг, а от второго — двенадцать, и притом некоторые книги дошли до нас не целиком. Таким образом, самое важное наследие Тацита дожило до нас в плохой сохранности. Но и то, что дожило, обеспечивает за автором славу одного из великих историков человечества, богато освещая одну из существеннейших, но до сих пор все еще не вполне и не во всем ясную для нас, эпоху римской истории.

Таков инвентарь литературного фонда Тацита или вклада его во всемирную историю. Необходимо в дальнейшем сначала анализировать содержание и характер каждого из перечисленных сочинений историка, чтобы затем дать синтез его взглядов на предмет главного труда его жизни, проникнуть в его духовную природу и понять его индивидуальный образ.



[1] Это сообщает читавший целиком оба сочинения церковный писатель IV в. бл. Иероним.



МАЛЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ ТАЦИТА — «АГРИКОЛА» И «ГЕРМАНИЯ»

Историческое творчество Тацита, как последовательная работа, как выполнение окончательно избранного призвания, началось уже после смерти Домициана (96 г. н. э.), когда писателю исполнилось 40 лет, и продолжалось до конца его жизни (вероятно, около 120 г.). Первым плодом его исторического писательства были уже названные два небольших этюда: один — по отечественной «просопографии» (биографической литературе), а другой на тему, взятую из области этнографии чужих народностей, — описание быта и нравов германских племен. Оба сочинения написаны были в самые первые годы после убийства Домициана, а вышли в свет в 98 г. н. э.[1] При Домициане допустимо было только молчание; теперь, говорит Тацит — «душа наша оживает»: настало время, когда «можно думать, что хочешь и высказывать, что чувствуешь».[2]

Книгу «о жизни и характере Юлия Агриколы» (De vita et moribus Iulii Agricolae) нет необходимости рассматривать в подробностях: это — наименее содержательное сочинение, не носящее еще печати личной оригинальности Тацита, хотя сам автор, правда, чересчур строг к себе, начиная свой труд

---

[1] В 3-й главе «Агриколы» Тацит говорит о Нерве как об императоре еще живом (он не назван divus), но уже усыновившем Траяна. Стало быть, это относится к зиме 97/98 г. Время выхода «Германии» определяется указанием на второе консульство Траяна, которое состоялось в том же году.

[2] Tac. Hist. I, 1.

с извинения, что пишет «грубым и неискусным языком» похвальное слово безукоризненному лицу.

Нам уже известно, при какой обстановке возникла у автора мысль об этой книге, прежде всего в силу обязанности исполнить долг перед честью семьи, помянув о заслугах ее старшего члена. Когда Тацит, по окончании провинциальной службы, вернулся с женою в Рим, он не застал в живых своего тестя, — и тогда же, вернее всего, он и составил первоначальный набросок «Жизни Агриколы», но опубликовать его не решился на глазах у императора, перед которым нельзя было высказать то, чего требовала задача: отдать дань хвалы умершему, охарактеризовав его нравственные свойства, значило бы косвенно осудить самого цезаря и навлечь на себя его гнев и месть. Поэтому Тацит предпочел отложить свой замысел, и то, что сохранилось от него под указанным выше заглавием, является уже переработанным текстом, выпущенным в самые последние годы I века.

Зерном биографии Агриколы была обычная у римских ораторов форма памятного слова в честь скончавшегося человека, а образ Агриколы автор действительно считал должным увековечить, как достойный славы и подражания. Тацит обладал уже опытностью в произнесении таких похвальных надгробных слов, но в процессе обработки речь выросла в целую монографию. В манере, какою написана «Жизнь Агриколы», в оформлении рассказа, в особенностях расположения материала — филологическая критика, кроме влияния Саллюстия, которого Тацит, видимо, высоко ценил, находит многочисленные отзвуки цицероновского стиля и языка.

Самый объект изображения помешал сделать из биографии крупное произведение. Агрикола был лишь честным, добросовестным работником на службе и храбрым и твердым в походе полководцем, возвести же его в герои было довольно трудно. Только в такое безвременье, какою была эпоха Домициана, когда все были подавлены страхом и многие готовы на низкопоклонство и предательство, Агрикола мог показаться настоящим героем в этой опустившейся среде.

Сам Тацит выдвигает, как центральное качество Агриколы, исконную римскую «умеренность», строгое «воздержание» (moderatio, prudentia). «Осторожность» Агриколы оберегала его от опасности превратиться еще в одну лишнюю жертву Домициана, но доблестный образ из него получиться никак не мог, и тацитовские высокие его оценки звучат некоторым преувеличением, вызванным привязанностью к близкому человеку.

Говоря о биографии Агриколы, какой она вышла у Тацита, надо отметить, что построение ее было осложнено приемом противопоставления личностей Агриколы и Домициана, как контрастов между строгой честностью и жизнью по долгу и открытым злодейством и произволом. Это была особая задача, возникшая в последний момент, вызванная наболевшею острою горечью писателя, обреченного на долгое молчание, но сознавшего свою обязанность историка-обличителя. В таком смысле звучат первые и последние главы, введение и заключение. Но они не дают для обеих характеристик ничего крупно-нового. Они лишь оттеняют то чувство возмущения и ненависти, какое возбудил к себе император в группировках очень различного состава, не только среди знати, но и в народе, а также в армии, частично поднимавшей восстания против его власти.

Служба Агриколы государству происходила преимущественно в Британии, где он являлся одним из главных военачальников при завоевании страны и в борьбе со вспыхивавшими там восстаниями против римлян. Уже в этом первом историческом произведении Тацит обнаруживает вкус и искусство в изображении войны, со всеми подробностями хода кампании, сражений, устройства лагерей, укреплений, вооружения, приемов тактики и т. д. Но особенно любопытно, что, описывая военные действия в отдаленном и мало известном краю, населенном не похожими на римлян племенами, — автор уделяет большое внимание изучению быта британцев.

Несколько глав (особенно главы с 10 по 18) специально заняты объединенным очерком географии и этнографии Брита-

нии,[1] но и по всей повествовательной части книги рассыпаны дополнительные черты, связанные больше всего с военными нравами островных племен, освещающими, впрочем, и их образ жизни вообще. Этими описаниями автор позволяет нам предчувствовать уже в «Агриколе» подготовлявшуюся тогда им к выходу и впоследствии ставшую столь знаменитой, свою «Германию».

В «Агриколе» уже имеются образцы речей, которые автор любит влагать в уста главных деятелей изображаемых событий, так же как типичные для него и другие приемы оформления и оживления исторического повествования. Такие речи здесь произносит Калгак, один из вождей британцев, боровшихся за независимость, словами которого дается беспристрастная картина управления Рима в провинциях, не скрывающая ни гнета, ни злоупотреблений, обострявших сопротивление туземцев.[2] Другая речь, как бы ответная, принадлежит самому Агриколе и служит иллюстрацией его воинских качеств и его авторитета как полководца.

Заканчивает Тацит биографию Агриколы воззванием к душе умершего, «если она, как говорят мудрые, пребывает на покое в мире ином». По мнению автора, нельзя оплакивать таких замечательных людей, надо только возносить хвалу их величию. Он удовлетворен исполненным долгом: «Многие из героев древности остаются погребенными в забвении, как без-

[1] Автор пользовался всеми имевшимися у него источниками. Он их не называет, но, кроме письменных источников у него были еще и личные: он мог многое узнать о британцах в провинции Бельгике, которая была расположена по соседству с Британией и где он встречался с лицами, знакомыми с нею. Агрикола, бывавший там не раз, также немало ему рассказывал о Британии.

[2] В речи Калгака находим такое выразительное место (Agric. 30): «Римляне захватили мир, и когда им нехватает земли для опустошений, они шарят в глубинах моря. Они алчны, когда враг богат; если он беден, они угнетатели. Восток и Запад не могут их насытить. Они одни между всеми народами с одинаковой страстью набрасываются на богатство и на бедность. Грабить, расхищать — это называется править на их лживом языке, и когда они превратят какую-нибудь страну в пустыню, то утверждают, что даровали ей мир».

вестные и бесславные, но Агрикола, жизнь которого запечатлена и передана потомству, будет сохранен навек в воспоминаниях». Такое сознание вселяло в автора твердость и энергию, нужные ему для продолжения дела историка.

Если заслуги Агриколы преувеличены биографом, то теплота тона, побеждающая шаблоны риторической стилистики и обычного у оратора пышного пафоса, придает сочинению привлекательную окраску. Оно производит впечатление искренности и жизненности, а в изложении уже предчувствуется талант первоклассного писателя.

В том же году или через год явилась и следующая историческая работа Тацита — «О происхождении, местожительстве и нравах германских племен» («De origine, situ, moribus ac populis Germaniae»). Мы не имеем сведений о том, каков был успех «Германии»[1] у современников, но она вызвала много толков и споров и большой интерес у историков новых времен. Высказывались и сомнения в отношении точности и реальности сообщаемых автором сведений.

Как оценить характер этого произведения? Как определить степень достоверности сообщаемых в нем данных? Что сказать о его литературных достоинствах?

Особенно много споров о «Германии» возникало издавна среди немецких ученых. Надо заметить, что и на главный вопрос — о достоверности высказано было немало отрицательных ответов. Одни предполагали, что это политический памфлет, имевший целью отвратить императора Траяна от замышлявшегося будто бы им плана завоевания внутренней Германии. Объяснение это неверно: оно ничем решительно не обосновано. Во-первых, у нас нет никаких данных о намерении Траяна, только что избранного цезарем в год появления «Германии», возобновить наступление за Рейном. Он, правда, сам находился тогда на рейнских границах с целью реорганизовать их защиту, как и на дунайской линии, будучи направлен туда Нервою как полководец и как правитель. Но, провозгла-

[1] Так обычно сокращенно называют это сочинение.

шенный там императором, он поторопился закончить необходимые мероприятия и явиться в Рим для принятия власти Во-вторых, Тацит совершенно не выдвигает в своем сочинении специально военного вопроса. Другие характеризовали «Германию» как сатиру на римские нравы. Опиралось это мнение на несколько мест в тексте сочинения, в которых внимание автора, проникнутого почитанием старых доблестей римлян, обращено на крупные нравственные дефекты его сограждан. Главная же, если не единственная, цель автора — показать современникам, что им предстоит гибель от их нравственной испорченности. Но Тацит вовсе не рисует радужных картин благосостояния и культурного роста германцев, а изображает племена варварские, часто бедные, буйные, грубые и невежественные.

Уже по содержанию «Жизни Агриколы» можно заметить, что у Тацита был особый вкус к обработке подобных тем. Необходимо, впрочем, признать, что вопрос о германцах был в то время сам по себе актуальным для Рима: империя соприкасалась с ними по длинной пограничной полосе, и требовалось установить целесообразное отношение к ним. Так к научному интересу присоединялся мотив политический. Тацит считал германцев самыми серьезными врагами римлян, но именно в связи с этим он находил, что их должно хорошо знать, чтобы уметь с ними бороться. Он понимал неудобство для цивилизованного государства постоянного соседства с варварами, поэтому у него и вырывается пожелание, чтобы германские племена продолжали и впредь воевать между собою, оставляя в покое римские границы. Во всяком случае, теперь в серьезной и беспристрастной науке упрочилось понимание «Германии» Тацита как обстоятельного «делового» этюда. Важно только хорошо выяснить, насколько в праве мы полагаться на достоверность сообщаемых им данных.

Каковы же могли быть источники его осведомления о культуре германцев? Их было немало — прежде всего письменных: автор говорит, что тщательно их использовал. Более ранние историки и географы оставили много сведений

о Германии: отношения с германцами длились у римлян уже около двух веков. О германцах говорил целый ряд римских писателей, начиная с Юлия Цезаря, которого Тацит считал «величайшим римским историком». О них же писали Тит Ливий, Страбон, Помпоний Мела, Веллей Патеркул и др. Особенно ценен был Плиний Старший (Натуралист), долго служивший в рейнской армии и написавший о войнах с германцами 20 книг, до нас не дошедших. Тацит должен был хорошо исчерпать и его данные.

Мог ли Тацит дополнить книжные источники личными наблюдениями? Высказывались догадки, что он, во время службы в провинциях, путешествовал по Германии, но это мало вероятно, если учесть условия самой обстановки жизни его на Рейне, а тем более за Рейном. Но если Тацит был наместником в соседней области, он, наверное, все же проехал по Рейну туда и обратно. Служба могла требовать поездок в римские города по этой реке, берега которой кишели германцами. Служили германцы и в римском войске; он получал, таким образом, непосредственные впечатления от самих германцев. Книжные материалы оживлялись свежими красками, — это прямо чувствуется, когда читаешь «Германию». Автор мог дополнить их и личными своими расспросами туземцев Германии. Наконец, римляне, знавшие германцев, например командиры пограничных армий или лица, занимавшиеся торговлей, осведомляли его, сообщая ему много ценных подробностей. Отец или Агрикола, конечно, тоже рассказали ему многое. В самом Риме жили или туда приезжали выходцы из Германии, которые также обогатили Тацита сведениями. Возвратившись из провинции, Тацит привез с собою, надо думать, и свои собственные записи и просто фиксированный в памяти материал для, возможно, уже задуманного труда. Три года невольного досуга к концу правления Домициана были частью отданы им на составление «книжечки» о германцах, к которой автор относился, видимо, с большой любовью.

Насколько собранный материал мог быть критически освоен автором, сказать не совсем легко, но за проницатель-

ность и правдивость нам ручаются его образование, крупный талант и добросовестность в работе. Для немецких историков, изучающих старину своей страны, тацитова «Германия» явилась драгоценностью. Если бы не существовало «золотой книжечки»,[1] говорит Георг Вайц, без нее пришлось бы, за неимением памятников, начинать историю германского народа лет на пятьсот позже, когда появилась «История франков» Григория Турского и впервые были записаны нормы обычного права салического племени.[2]

Книга «О происхождении, месте жительства и нравах германских племен» — одно из наиболее заботливо обработанных исторических произведений Тацита, как по собранию, изучению и построению материала, так и по литературной отделке текста. Развивавшийся в голове автора план задуманной общей истории его времени трёбовал выяснения и этой темы: у границ Германии происходило много событий эпохи, поэтому ему казалось недостаточным ограничиться краткой этнографической справкой в общем сочинении, и он создал отдельную монографию в качестве введения в рассказ об отношениях римлян с германцами.

Вся «Германия» Тацита умещается на каких-нибудь 40 страницах нашего печатного текста. Она распадается на две части — общую (27 глав), дающую описание общественного строя и культуры германцев в объединенном очерке, и специальную (19 глав), содержащую указания особенностей быта отдельных племен. Изложение начинается с характеристики физических свойств германской земли и описания ее территории и границ. Классические писатели, выросшие в южных, теплых и солнечных странах, тяжело воспринимали северную природу, ее климат и ее ландшафт. Она вызывала в них жуткое чувство, действовала на них пригнетающе, в поэтах пробуждала мрачные образы, порождала страшные гео-

[1] Так охарактеризована «Германия» (aureus libellus) в некоторых рукописных кодексах ее текста.

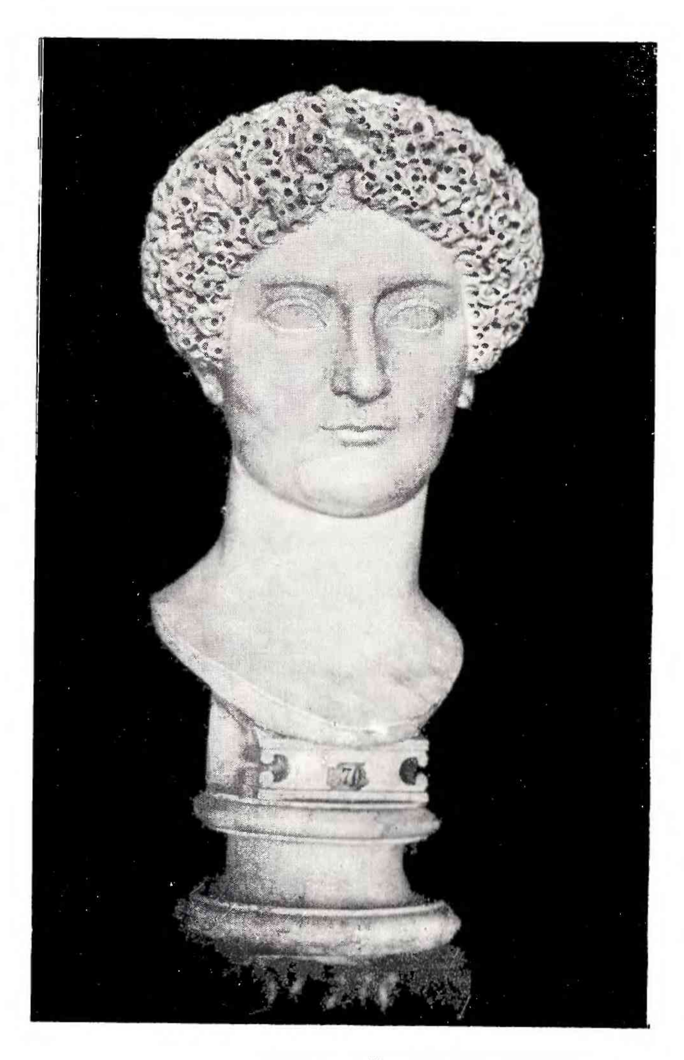
[2] G. Waitz. Deutsche Verfassungsgeschichte (изд. 3-е, т. I, 1881).

графические сказки. Тацит (в 1-й главе) деловито описывает картину рейнского края, но и он в нескольких словах высказывает тяжелое, производимое ею на него, впечатление. Он говорит об «опасностях огромного и безвестного океана», о «земле с бесформенными очертаниями, суровым небом, — земле, печальной своей пустынностью и самым видом». «Она покрыта лесами, как щетиною, заражена болотами (5-я глава), так что ее можно любить, только если она родная страна».

Далее автор переходит к происхождению германских племен, которых он считает туземной расой, сохранившей чистоту вне смешения с другими народностями. Потом историк обращается к описанию общественных форм и культурного состояния германцев: их военного устройства, их религиозных верований, их государственных и судебных учреждений. Затем следует очерк частного быта германцев — их жилищ, одежды, брачных обычаев, воспитания детей, наследственного права и кровной мести, питания и развлечений. Изображаются социальные отношения, говорится о рабах и вольноотпущенниках, описывается экономический строй германцев, их земледелие, их торговля, а в заключение упоминается о погребальных обрядах и о культе умерших. Получилось и очень полное, и очень связное обозрение.[1]

Особая часть «Германии» занята описанием специфических черт, присущих лишь некоторым германским племенам и отличающих их от остальных. В основу изложения положен порядок топографический: сначала берутся племена, сидевшие вдоль правого берега Рейна; потом автор переходит дальше

[1] Тонко уловлено Тацитом существование у германцев сельской общины с коллективным землевладением, что представляло коренное различие с господствующими в Риме аграрными порядками, основанными на частной собственности (гл. 26). От наблюдения автора не ускользнули также сохранившиеся у варваров прочные особенности родовых отношений. Это свидетельствует о большом историческом чутье и зоркости глаза и о внимании при оценке полученных сведений, письменных и устных, а может быть, и своих непосредственных наблюдений.



Агриппина Младшая, жена Клавдия, мать Нерона.
Ленинград, Эрмитаж.

к востоку и северо-востоку, перебирая племена одно за другим. Здесь автор делает остановку и бросает общий взгляд на историю войн римлян с германцами, причем не скрываются им и перенесенные римлянами неудачи. В дальнейшем своем описании он возвращается вновь к германским народам северной группы, которые прослеживаются им вплоть до устья Эльбы и Кимврского (Датского) полуострова. Обзор заканчивается у берегов Восточного (Балтийского) моря. Там ставится предел добытым сведениям о жизни европейского Севера.

В книжечке Тацита могут встречаться ошибки, происходящие от недостаточной или неверной его информации, но в общем автору удалось нарисовать полную реализма картину строя и быта у «варварских» народов, объективно им оцененную именно как отсталое состояние культуры, которое не вызывает к себе сочувствия автора, несмотря на «оплакивание» им признаков упадка собственной высокой цивилизации. Его привлек к предмету интерес историка, помогающий ему преодолеть трудности при истолковании изучаемых явлений. Он овладел пониманием своеобразия жизни германцев, и мы можем по Тациту составить себе вполне конкретное представление о различных сторонах экономического строя, материальной культуры и нравов современных ему германских племен.

Наиболее слабым является освещение их религиозных верований. Не обладая способностью уловить действительные особенности религии варваров, автор пытается (будто для наглядности) приравнять образы их богов к римским, чем он не только не раскрывает, а, наоборот, значительно затушевывает их оригинальность и смешивает в одно различные ступени религиозного развития в жизни этих народов.

Знаменитый старый исследователь германских древностей, Яков Гримм, правильно говорил, что немецкая наука должна радоваться, что образованный римлянин засветил для первоначальной истории германского народа раннюю «утреннюю зарю» (ein Morgenrot). Можно только пожалеть, что Тацит

поскупился на место, что он был чересчур краток, а поэтому иногда и не вполне ясен; но он, видимо, преследовал и литературную (по-древнему — риторическую) задачу сжатого и тщательно обработанного, изящно отделанного и украшенного антитезами, изложения.[1]



[1] Новая литература о «Германии» Тацита огромна. Ценнейший историко-социологический материал тацитовой «Германии» широко был использован и научно исследован и освещен Энгельсом в известной работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В XX в. наиболее значительным трудом по изучению данных «Германии» Тацита является, пожалуй, книга Нордена (Ed. Norden. Die germanische Urgeschichte), выдержавшая ряд изданий. Последний русский перевод текста «Германии» Тацита имеется у нас в сборнике «Древние германцы», из серии «Документы и материалы по всеобщей истории», (изд. МГУ, М., 1937). См. также: А. И. Неусыхин. Общественный строй древних германцев (М., 1929).



ГЛАВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРУДЫ ТАЦИТА — «ИСТОРИИ» и «ЛЕТОПИСЬ»

Наибольший интерес представляют, конечно, основные исторические сочинения Тацита: в них лучше всего раскрываются личность и миросозерцание автора. Этих трудов Тацит оставил два — «Истории» и «Летопись». В полном виде они образовали единое целое: надо, однако, сперва дать характеристику содержания и особенных черт каждого из них в отдельности.

I

Тацит, как мы видели, предпринимая свой большой исторический труд, твердо заявлял, что будет искать в прошлом только правды и беспристрастно ее оповещать, ибо только правда может принести пользу и научить добру.[1] Поэтому он считал необходимым тщательно подготовиться к предпринимаемому делу и добросовестно использовать все пути, чтобы приобрести полное осведомление в событиях, совершавшихся в изучаемые годы, и о лицах, действовавших в них.

Может быть, именно в силу этого он принялся за свой труд не с начала намеченного им плана, а с ближайшего к себе времени (nostra aetas). В этих пределах он и сам многое хорошо помнил от лет юности, а последние годы хранил

---

[1] Плиний Младший, вторя другу и поздравляя его с предпринятым трудом, говорит также, что «история не должна преступать истины» (Epist. VII, 33, 1).

в памяти как незабываемые, глубоко им пережитые. Кроме того, оставалось в живых еще много лиц старших поколений, перед которыми он имел возможность легко проверить запечатленные в нем самом воспоминания. Наконец, ему могло казаться, что рассказ о только что протекших годах возбудит особенно сильный интерес в современниках.

Содержанием первого большого исторического труда Тацита было время от смерти Нерона до смерти Домициана (всего 27 лет: 69—96 гг.). Автор назвал свой труд «Историями». Он не считал возможным ограничиться в нем данными личной памяти и собранием устных сведений от живых свидетелей событий, — он изучил письменные источники. Так, он пользовался, например, официальной римской газетой — «Ежедневными деяниями римского народа»[1] (Acta diurna populi Romani), доступными для всех. Пересматривал он также и протоколы сената (acta senatus), которые были открыты для него, как члена этого высокого учреждения.

Затем Тацит называет сам исторические сочинения Плиния Старшего и историю этих лет, написанную оратором Мессалой.[2] Он ссылается еще и на других писателей, имен которых он не приводит.[3] Он знакомился и со специальными сочинениями мемуарного характера, как, например, с воспоминаниями, оставленными императором Веспасианом.[4] Тацит знал все, что имелось документального и исторического в литературе его времени, и это свидетельствует о заботе автора полно изучить материал, который мог попасть в его распоряжение.

Насколько умело выбирал он наиболее авторитетные известия и в какой степени орудовал приемами сравнительной кри-

[1] Они начертывались каждый день на доске и вывешивались в городе на видном месте. В них помещались действия правительства и народа, известия о событиях дня, столичная хроника. Кто хотел, мог копировать их.

[2] Tac. Hist. III, 25, 28.

[3] Таких безымянных ссылок, обычных в практике античных писателей, у Тацита много.

[4] О них упоминает историк Иосиф Флавий в своей биографии.

тики достоверности собираемых данных, сказать трудно, так как большая часть источников, на которые он опирался, до нас не дошла. Мы скажем ниже, насколько удавалось ему последовательно выдерживать провозглашенный им самим принцип быть объективным. Во всяком случае, Тацит твердо понимал, что историк должен добиваться точности повествования, и к этому стремился. Он взвешивал ценность добываемых сведений, стараясь устанавливать, какие из них вероятнейшие. Немногие историки древности достаточно думали о критической осторожности при построении своего рассказа, да и читатели не ставили вопроса о достоверности и беспристрастии очень серьезно. Они легко принимали на веру то, что было написано. Тацит же, считая, что только правда о прошлом научит добру в настоящем, всегда обдумывал, как следует доискиваться этой правды.[1]

Писались «Истории» в окончательном виде в первые годы II в. н. э. и, должно быть, вышли в свет до 110 г.[2] Начиная свое сочинение, Тацит сам мастерски характеризует содержание предпринимаемого им труда, которому приписывает важное значение:[3] «Приступаю к повествованию о времени, обильном бедствиями, залитом кровью страшных битв, раздираемом междоусобиями, жестоком, даже пока сохранялся мир. Четверо государей погибли от железа,[4] свирепствовали три гражданские распри, несколько внешних войн, часто одновре-

[1] Автор оттого повторно успокаивает читателя, что у него нет личных мотивов нарушать правду: Гальба, Отон, Вителлий не причиняли ему вреда, а Флавии — Веспасиан, Тит, Домициан — даже продвигали его по службе, но он будет сообщать о них только то, что известно ему как истина.

[2] Плиний Младший (Epist. VII, 33) в письме, написанном уже после смерти Нервы (т. е. не раньше 100 г.), просит Тацита ввести в свои «Истории» один интересующий его эпизод: стало быть, «Истории» находились тогда еще в процессе писания. Вероятно, части именно этого сочинения Тацит пересылал Плинию для прочтения (Epist. VII, 20). Оба письма относятся к 104—108 гг.

[3] Tac. Hist. I, 2.

[4] Гальба, Отон, Вителлий и Домициан.

менно. Войны шли успешно на востоке, но неудачно на западе. Иллирия находилась в восстании, грозила бунтом и Галлия, Британия была завоевана, но тотчас же оставлена. Сарматы и свевы поднялись против нас. Дакийцы прославились нанесенными нам поражениями, а не нас прославили победы над ними. Парфяне готовы были схватиться за оружие, подстрекаемые Лже-Нероном. Италию потрясали беды, до сих пор неведомые или такие, какие повторяются лишь через много веков. У плодороднейших берегов Кампании были засыпаны или разрушены цветущие города.[1] Рим опустошался пожарами: сгорели древние храмы; Капитолий был сожжен самими гражданами; осквернены обряды религии, совершались знаменитые прелюбодеяния. Море покрывалось изгоняемыми людьми, скалы обагрялись кровью умерщвляемых людей. В городе царили жестокие насилия: знатность, высокие почести, или, обратно, отказ от них, почитаются преступлениями. Обладание высокими качествами обеспечивает человеку гибель. Доносчики, поощряемые наградами, не менее ненавистными, чем их злодеяния, расхватывают, как добычу, жречества и консулаты; другие узурпаторы овладевают управлением в провинциях, забирают власть внутри государства, расхищают все... А потом видим рабов, воспламененных ненавистью против господ или развращенных страхом перед ними, — также вольноотпущенников, негодующих на своих патронов... А те, наконец, у кого нет врагов, предаются собственными друзьями». Здесь представляется действительная историческая характеристика эпохи или короткого момента в ней, сильная картина тяжелой разрухи, охватившей все государство, как центр его, так и провинции, после насильственной смерти Нерона. Она дышит реальной правдой.

Весь 69 год был занят жестокой борьбой за верховную власть между тремя претендентами на принципат, замечательными только своим ничтожеством или пороками. Тацит был

[1] Это — великое извержение Везувия 79 г. н. э., когда погибли Помпеи, Геркулан и Стабии.

тогда еще юношей. Он жил в родительском доме, еще учился, но грозные впечатления от совершавшихся ужасов должны были врезаться в его память и чувства. Утверждение во власти Веспасиана восстановило порядок (70 г.), но отзвуки бурь раздавались и при нем, а при Домициане они поднялись вновь с особенным ожесточением.

Автора самого пугает получившаяся зловещая живопись. Он хочет смягчить пессимистическое ее освещение, и следующая глава (3-я) служит умеряющим противовесом. «Это время не было, однако, вполне лишено доблести и мужества. Появлялись и добрые примеры: матери сопровождали сыновей, спасавшихся бегством от гибели; жены шли в изгнание вместе с мужьями. Можно было видеть смелых родичей, преданных зятьям, рабов, отличавшихся несокрушимой верностью, даже под пытками. Являлись знаменитые граждане, подвергавшиеся тягчайшим испытаниям, но выдерживавшие их с великою твердостью. Упоминаются случаи смерти, выдерживающие сравнение с теми, какие прославляли героев нашей древности».

Но Тацит и здесь впадает в минорный тон. С одной стороны, он высказывает свои верования в чудесные явления, происходящие в природе и в жизни, с другой — ему приходят в голову сомнения: можно ли надеяться на милостивое попечение небожителей о людях? Автор размышляет: «Рядом с бесчисленными несчастьями, поражавшими род людской, совершались на небе и на земле необычайные знамения, иногда радостные, но чаще грозные предзнаменования, даваемые молниями, загадочные, но порою и ясные. Никогда народ римский не испытывал столько опасных ударов, никогда столь очевидно не обнаруживалось, что боги не пекутся о благополучии людей, а только наказывают их за злые дела».

В приведенном вступительном отрывке с выразительной сжатостью дается как бы свод всего, уже законченного тогда, сочинения. Вслед за тем автор приступает к последовательному изложению событий. Он предваряет красочный, густо насыщенный фактами рассказ интересным методическим

замечанием. «Надобно, — говорит он, — не только восстановить ход и конец событий, которые часто происходят, видимо, в силу случайностей, но и уразуметь их внутреннюю связь (сцепление друг с другом) и их причины». — Это своего рода понимание известной «закономерности» в движении истории. Чтобы достигнуть в данном случае цели, Тацит считает нужным прежде всего рассмотреть состояние города Рима, затем устройство и расположение его воинских сил и общественные порядки в провинциях. Это для него те основные элементы, которыми творилась тогда история. Отсюда идут главные потоки жизни, и надо определить, чтó здесь имелось «здорового и чтó больного».

События в «Историях» Тацита действительно развертываются как в центре великой державы — в Риме и в Италии, — так и в провинциях востока и запада. Действующими силами в них выступают по преимуществу армии с их предводителями, так как все течение истории, изображаемое в сохранившейся части сочинения, занято вооруженной борьбой, междоусобиями за власть, восстаниями в войсках, возмущениями покоренных народов и их подавлениями. Такая окраска придает рассказу подвижное единство: первые четыре книги с частью пятой образуют как бы введение к эпохе правления дома Флавиев, в изображении которой заключался центр тяжести всего труда. Утраченными оказываются, таким образом, самые главные книги «Историй».

Тацит являет себя выдающимся мастером нарративного жанра, крупным историком-колористом, владеющим замечательным искусством специально военно-исторической живописи, как при описании устройства армии и военного быта, так и при описании самых событий войны: похода, лагеря, осады, большого сражения, настроений войска в торжестве и после поражения, храбрости и трусости, бешенства и грабежа, бегства и паники. Он знает и понимает психологию и вождей, и солдат, и умеет рисовать портреты, индивидуальные и коллективные, и тех и других. Но и обстановка, среди которой совершались события, дается у него конкретно и

отчетливо, как необходимый фон движущейся картины. Все это ярко и убедительно, притом с сохранением равновесия; без перегружения, без многословия. Он не отдается страсти рассказчика, он владеет собой, но всякий раз переживает с глубоким чувством то, что он передает другим, желая тронуть читателя, возбудить в нем интерес, просветить его, углубить его ум и поднять его дух.

То, что мы имеем от тацитовых «Историй» — материал не однообразный (все многоразлично индивидуализировано по оттенкам событий и особенности деятелей), но в общем однородный. Поэтому сохранившиеся отрывки не могут дать характеристики всех сторон таланта автора и показать полностью всей его исторической манеры. То, что пропало — годы правления троих Флавиев, — количественно и по содержанию составляло существенную часть «Историй». Это видно уже по последним главам остающегося большого отрывка, где намечается характер правления Веспасиана после провозглашения императором. Важно было бы знать, как справился Тацит с изображением тирании Домициана. Его годы были пережиты им всецело, но возможно, выросшая ненависть к тирану помешала ему удержаться в рамках объективности. Безумные насилия императора должны были представляться летописателю кульминационным моментом периода «рабства» римского народа, как он именует время цезаризма после Августа вплоть до Траяна.

В частности, рассказываемые им события давали мало поводов для использования приемов «речей», которые так часто влагаются многими античными историками в уста руководящих деятелей, чтобы охарактеризовать ими лицо или создавшееся положение, а иногда и пояснить собственную идею или оценку: автору не представлялось здесь особенно крупных фигур. Впрочем, можно указать два небезинтересных примера. Один раз [1] приводится слово, сказанное первым из высту-

[1] Tac. Hist. I, 15, 16.

пающих в его рассказе императоров, старика Гальбы, оказавшегося непосредственным преемником убитого Нерона: Гальба обращается к Пизону, которого он усыновил, чтобы объявить его своим соправителем и наследником. Сначала Гальба ссылается на прецедент, который он находит в действиях основателя империи, назначившего при своей жизни себе сотрудника и преемника во власти. Потом он хвалит Пизона за его высокие качества: он выбирает его не из родичей, а из чужих именно за его достоинства и безупречную жизнь. «Если бы огромное тело империи могло стоять твердо, сохраняя равновесие, без единого главы, я бы должен был восстановить республику: но необходимость уже давно требует единой власти, и моя старость может дать лишь одно — доставить римскому народу хорошего наследника. Твоя же юность не обещает ничего больше, как хорошего государя». После этого император высказывается вообще против «династического» принципа наследования. Каким окажется сын, — неизвестно: это всегда случайность, но когда властитель избирает себе преемника в порядке усыновления, то он останавливается на том, кого и он сам, и общественное мнение признают достойнейшим. Заканчивается речь общим советом: «О Нероне жалеют только худые, мне же и тебе следует поступать так, чтобы и хорошие не почувствовали того же. Лучшим и быстрейшим способом решить, в чем благо и в чем зло, это представить себе, что одобрил бы ты и что осудил бы в другом государе. Ибо у народа римского порядок не таков, как в монархических государствах, где властвует одна семья, все же остальные повинуются, как рабы. Ты же будешь править таким народом, который не выносит ни полного рабства, ни полной свободы».

В это обращение отца к названному сыну Тацит желал вложить собственное понимание лучшего из возможных устройств в римском государстве. Единовластие в Риме необходимо — республика держаться не может, но наследственность не терпима, а между тем именно она начинала утверждаться в доме Юлиев-Флавиев. Надо предпочесть, так за-

ключает Тацит, адоптивный принципат, который теперь и насаждается Нервою и Траяном.

Любопытна еще одна речь, которую произносит Цериалис, предводитель римской армии, отправленной для подавления под руководством Цивилиса восстания племени батавов. Цериалис обращается к собранию двух германских племен и разъясняет им, каковы цели правительства римской империи по отношению к варварам.

«Тирания и война — такова была участь Галлии, пока она не подчинилась нашему закону. Мы много раз терпели от вас нападения, мы же, по праву победы, дали вам только то, что было необходимо для сохранения мира. Нигде, в самом деле, мир не может держаться без армии, армии не могут существовать без оплаты, оплата — производиться без податей. Остальное все обще между нами и вами: вы командуете у нас легионами, управляете провинциями. Нет у нас ни привилегий, ни лишения прав... Если бы Рим был сражен (да хранит нас божество от такого несчастья), что бы произошло тогда, кроме вечной войны между всеми народами? Счастливая судьба и труд, твердая дисциплина в течение восьмисот лет сплачивали это великое целое. Если оно рухнет, будут раздавлены те, кто его сокрушит... Любите же и почитайте мир и Рим (pacem et urbem): Рим принимает в свое гражданство чужестранцев и после поражения, и после победы. Вас зовет к тому весь опыт прошлого, и ваша, и наша судьба. Предпочтите сопротивлению, которое вас погубит, покорность, которая вас спасет».[1] Здесь Тацит подчеркивает, влагая их в речь Цериалиса, те начала, которыми освещали свою политику прогрессивные деятели ранней империи, ее идеологи: единство и мир и расширение прав гражданства на покоренных и замиренных. Он сочувствует демократическому движению, на которое, как можно было надеяться, будет опираться принципат, поддерживая интересы широких средних классов против эксплоатации мира олигархией знати и стремясь обеспечить

[1] Tac. Hist. IV, 74.

производство благ и мирный обмен их между частями империи. Август становился на такой путь, но преемники его в жестокой борьбе за власть не пошли за ним; они погрузили мир в новые беды. Их и описывает Тацит как раз в тот момент, когда Траян (Тацит в это верил) возвратится на правильную дорогу и когда историк должен показать, изображая ужасы ближайшего прошлого, каков истинный путь и как доброму правителю должно к нему подойти и по нему следовать.

Содержание первых книг «Историй» уже вскрывает нам основное намерение автора. Тацит живописует картину тирании, возобновившейся и после убиения Нерона. Это уже опыт солдатского господства. Армии вводят во власть своих полководцев, не руководствуясь сознанием цели, и так же легко предают своих ставленников, как их возвысили. Все три императора, которые сменили друг друга насилием в пределах почти одного 69 г., знаменуют своим поведением происшедший распад. Расслабленный старик Гальба, неспособный держать в своих руках бразды правления, жестокий и развратный Отон, Вителлий, присоединивший к порокам предшественника еще невероятное обжорство, на удовлетворение которого вытягивались из государства громадные средства,[1] — все они всходят на трон, правят и падают с трона среди кровавого хаоса борьбы за власть, без мысли о народном благе, без плана об упрочении порядка и справедливости.

В Риме народ проникся панической ненавистью к своим же войскам, которые его грабят и режут в угоду своим предводителям, как неприятели. В провинциях восстания покоренных племен и бунты внутри армий как бы дублируют общее расстройство в столице, осложняют и усиливают его, погружая великую державу в анархию. Тацит переходит попеременно

[1] Тацит сообщает, что за немногие месяцы своей власти Вителлий проел 900 миллионов сестерциев (Hist. II, 95), и этому легко поверить, когда мы смотрим на его бюсты, воплощающие, в самом деле, без всякого стыда «всепожирающее чудовище».

от описания событий в центре к тем, какие происходят на периферии.

Автор выражает надежду на избавление от этих бедствий, и взоры его обращаются к В е с п а с и а н у, который вместе с сыном Титом посланы были на Восток еще Нероном для усмирения восстания евреев. Фигура Веспасиана поднимается уже в первых главах повествования («Истории» 1, 10); с самого начала Тацит рисует дело так, будто Веспасиану выпала роль умиротворителя, предназначенного судьбою для верховной власти, для восстановления порядка.

Тацит рассказывает о провозглашении Веспасиана цезарем на Востоке единодушным порывом армии, но в сохранившихся книгах «Истории» рассказ не доводится до вступления Веспасиана в Рим. Через Иллирию движутся к центру его полководцы Антоний и Муциан, сражаясь с вителлианцами. Они переправляются через Альпы, на севере Италии они громят противников в кровавой битве под Кремоною и наступают дальше на Рим. Вителлианцы в то же время производят расправу над своими врагами в Риме. Капитолий разорен пожаром, сильно пострадал знаменитый храм Юпитера на одной из двух капитолийских вершин. Рассвирепевшие толпы вителлианцев убили префекта города, брата Веспасиана — Сабина. Вскоре овладевшие Римом армии Веспасиана жестокой местью, огнем и мечом, навели ужас на обезумевшее население. Все жаждали одного: избавиться от кровавых насилий и найти успокоение.

Описание и оценка Тацитом деятельности Веспасиана и Тита остается нам неизвестной. Пятая книга «Историй», последняя из доставшихся нам, прерывается на неоконченном рассказе о восстании Цивилиса в Германии. Как было уже сказано, не сохранилось и описания пятнадцатилетнего правления Домициана, которое должно было явиться главным содержанием «Историй». Тем не менее, и оставшееся от этого сочинение, уже дает ясно почувствовать силу автора и его повествовательного таланта, который в полной мере предстанет перед читателем в последнем труде знаменитого историка.

II

Вполне зрелое и наиболее совершенное произведение Тацита в развитии его исторического и литературного дарования заключало в себе историю Римской империи от смерти Августа до смерти Нерона (14—68 г.). Подлинное заглавие его: «Ab excessu divi Augusti (дословно «от кончины божественного Августа»);[1] но Тацит сам нигде не повторяет этого названия, зато несколько раз именует свой труд «Анналами».[2] Хотя слово это и значит «Летопись», т. е. погодное изложение событий, но сравнить «Анналы» Тацита с писанием старых римских «анналистов» нельзя: те — «летописцы» в узком смысле этого слова. Он, правда, пишет, соблюдая хронологический порядок, как поступает он и в «Историях», однако же, как там, так и в «Анналах», им производится группировка, классификация материала, делаются попытки объяснения, вносятся характеристики и обобщенные выводы или, по крайней мере, высказываются домыслы, и рассказ разнообразится и углубляется размышлениями.

«Анналы», как и «Истории», дошли до нас далеко не в полном, как мы сказали, виде: из 18 (или 16) книг, на которые они были разделены автором, сохранились первые четыре и начало пятой; шестая не имеет начала, книги от одиннадцатой по шестнадцатую дошли целиком с некоторыми пробелами последней в начале. Так, имеются лакуны в рассказе о Тиберии, отсутствует все правление Калигулы, начало времени Клавдия и последние два года жизни Нерона. Очень печальны эти потери; чем больше вчитываемся мы в Тацита и научаемся чувствовать его выдающийся дар бытописателя и своеобразного толкователя событий и деяний, тем сильнее оплакиваем утраченные части его труда. Один из новых кри-

---

[1] Так озаглавлено это сочинение в одном из лучших рукописных сводов (Codex Mediceus).

[2] Будем пользоваться этим названием и мы, как простейшим и распространеннейшим.

тиков Тацита замечает, что должным образом произведение его может быть оценено только таким же жизненно зрелым и опытным человеком, каким был сам автор; но полагаю, что и серьезный молодой ум, и отзывчивое чувство юноши также способны увлечься оригинальным продуктом высокого психологического проникновения и художественной красоты этого великого писателя. Ведь и Данте — тоже нелегко читаемый автор, но кто преодолеет сложность его творчества и полюбит его, тот расширит горизонт своего знания и возвысит свой вкус.

Работа над «Анналами» заняла последние годы жизни Тацита — второй десяток II в. н. э., захватив и начальные годы правления Адриана. Тацит за этот период особенно тщательно погрузился в источники, стремясь использовать все следы намеченного им к изучению прошлого и увековечить память о нем как орудия уразумения смысла жизни и деятельности человека. Источники «Аннал», примерно, те же, что послужили ему и для «Историй»; официальные «Акты сената», «Ежедневные деяния римского народа», законы цезарей, сочинения других историков: Плиния Старшего, Клувия Руфа, Фабия Рустика и еще некоторых других. Привлекал он и мемуарный материал — автобиографию Тиберия, записки Агриппины Младшей и т. д. Всестороннее и подробнейшее ознакомление с историческими документами и преданиями еще недалекой от него по времени старины было, разумеется. необходимо для добросовестного летописателя, лишенного здесь собственных воспоминаний и редко имевшего возможность пользоваться рассказами живых свидетелей.

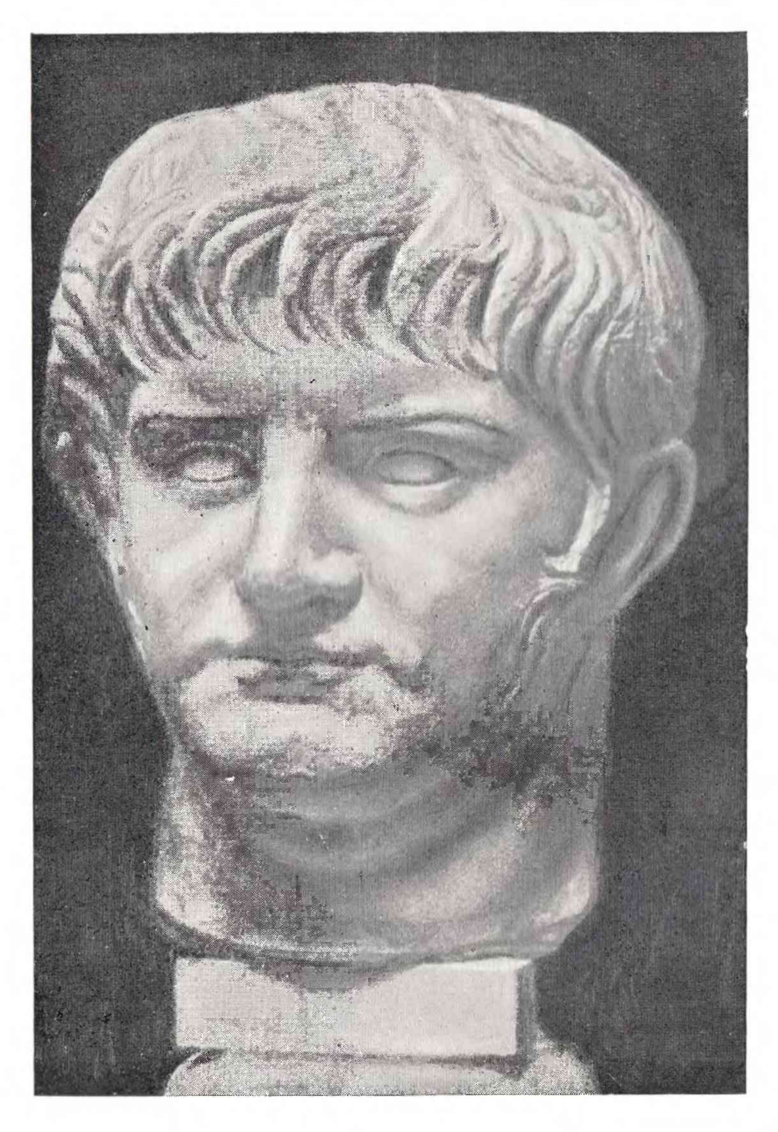
Мы можем познакомиться с «Анналами» лучше, чем с «Историями» так как от их текста осталось больше, чем от текста «Историй», и так как одна серия сохранившихся от них книг относится к началу сочинения, другая же к его концу. Построение «Аннал» еще более обдуманно и внутренне еще более цельно, чем план «Историй». Прежде всего, автор бросает краткий взгляд на прошлое римского народа (кн. I, гл 1). Сначала в Риме правили цари. Их господство сменилось

республикой с консулами во главе: то был период свободы, прерывавшейся лишь кратковременными диктатурами. Потом началась длительная борьба за единовластие: Сулла, Помпей, Юлий Цезарь, вторые триумвиры. Наконец, власть сосредоточилась всецело в руках одного Августа, принявшего титул «принцепса», и мир, утомленный междоусобиями, всецело подчинился его воле.

Автор не хочет говорить о времени Августа, равно как и о «счастье и несчастьях» Республики, так как правление Августа уже изображалось славными историками, пока утвердившееся низкопоклонство не отвратило их от писательства. Что же касается преемников Августа до Нерона, то история их правления при жизни их представлялась лживо под влиянием страха; а после них она искажалась, диктуемая ненавистью. Автор предпримет свое повествование «без гнева и пристрастия», к которым у него лично нет никаких оснований.

Тацит поясняет, как совершился, по его пониманию, переход от республики к империи: «После гибели Брута и Кассия [1] республика осталась без войска. Когда потерпел поражение Секст Помпей в Сицилии, когда пал Лепид и смерть постигла Антония, у партии Цезаря не оставалось другого вождя, кроме Августа, и Август, сложив с себя звание триумвира, заменил его званием консула и удовлетворился властью трибуна, как защитника прав народа. Расположив к себе солдат дарами, народ — раздачами хлеба, а всех прочих — благами мира, он возвысился, захватив в свои руки авторитет сената, могущество магистратов и власть законодательную. Он не встретил никакого сопротивления, так как самые неустрашимые пали жертвами гражданских войн или проскрипций. Те же знатные, какие оставались в живых, наперебой друг перед другом спешили навстречу рабству. Они награждались богатством и почетными должностями, становились, благодаря этому,

[1] Это были последние защитники республики, погибшие в сражении с триумвирами при Филиппах (42 г. до н. э.).



Нерон.

Рим, Национальный музей.

еще более сильны, чем прежде, и предпочитали настоящее с его безопасностью прошлому с его тревогами».[1]

Автор прибавляет характерное замечание: «Провинции также приветствовали совершавшуюся перемену, ибо тяготились правлением сената и народа вследствие происходивших распрей между вождями знати и вследствие своекорыстия магистратов; они мало надеялись на помощь законов, которые постоянно нарушались произволом, насилиями, происками и, главное, подкупами». Тацит понимал, что республика не могла дольше существовать, потому что правящие группы, руководившие ее делами, потеряли свою былую доблесть. «Чистота и неподкупность прежних нравов совсем исчезла, и каждый, отказываясь от равенства, только ожидал, что прикажет государь».[2] «В Риме все ринулись в рабство — консулы, сенаторы, всадники: самые знаменитые люди явили себя самыми поспешными в лицемерии». «Они скрывали свои чувства, как бы не показаться (когда умер Август) слишком довольными смертью старого государя или слишком опечаленными началом правления нового. На лицах перемешивались слезы, радость, сожаление, притворство».[3]

Таким состоянием общества и объясняется, по мнению Тацита, упрочение новых форм государства. Вся сила сосредоточилась в единоличной власти цезарей. Каковы ж были эти всесильные цезари? При таком понимании вещей, когда властители рисовались историку самодержавными распорядителями судеб государства и общества, повествование Тацита неизбежно должно было сосредоточиться на изображении деятельности императоров и их друзей и противников. Но если само общество представлялось автору испорченным, погрузившимся в рабство и низость, то и правители этого общества должны были тоже предстать перед ним извращенными людьми, носителями зла, а значит, и гонителями граждан. История воплощалась, таким образом, в биографии императо-

[1] Tac. Ann. I, 2.
[2] Op. cit., I, 4.
[3] Op. cit., I, 7.

ров, деятельность же последних превращалась в тиранию: получалась цепь мрачных драм. Так развертывались «Анналы» под пером Тацита.

Рассказ открывается горько-насмешливой картиной вступления Тиберия во власть. Построена она в форме трагикомедии двойного лицемерия, разыгранной главарями сената, с одной стороны, и кандидатом на единовластие — с другой. Двоедушие видится Тациту господствующей чертой общественных нравов эпохи, и оно вызывает в нем глубокое отвращение. Он мало говорит об Августе, даже в самом начале своего изложения как бы стесняясь обличать и его, потому ли, что и сам он находит его лучше других цезарей, или избегая входить в конфликт с общественным мнением, готовым восхвалять Августа. Впрочем, и основатель империи характеризуется им как искусный хитрец. Именно его он считает изобретателем «тайных пружин самовластия» (arcana imperii), которыми государь скрыто стремится укрепить свою силу: это — задаривание армии, прокармливание массы римского населения даровым хлебом, увеселение его зрелищами (panem et circenses), награды за покорность и раболепие, игра фикцией сохранения республики (магистратурная внешность власти).

Сцена диалога между сенатом и Тиберием о возведении его во власть написана Тацитом с большим мастерством сдержанного сарказма.[1]

После похорон Августа и определения ему божеских почестей сенат обращается к его пасынку Тиберию с настойчивой просьбой возложить на себя бремя правления. Тот отвечает уклончиво, в туманных выражениях указывая сенату на громадность государства, с одной стороны, и на свои слабые силы, с другой. «Только гению Августа было посильно несение такого чрезвычайного труда», — говорит Тиберий. «Сам он, призванный участвовать только в некоторых делах правления, познал на опыте, как тяжело это бремя.

---

[1] Tac. Ann. I, 11—13.

Поэтому в таком городе, как Рим, который может найти опору в стольких замечательных мужах, не следует поручать все дела одному: легче будет многим исполнять обязанности по служению государству соединенными силами». Сенаторы, хорошо понимая хитроумную подкладку его фальшиво скромных слов, продолжая играть взятую на себя роль раболепной покорности, умоляют его со слезами, простирая руки к статуе Августа и к коленам самого Тиберия. Тот, будто в оправдание своих колебаний, велит принести собственноручную записку Августа, в которой заключалось подробное описание положения империи, и доложить ее. Будто бы утомленный настояниями сената, Тиберий, в конце концов, соглашается взять на себя только часть государственных забот. Азиний Галл, ободренный возможностью для сената ограничить деспотизм, ставит ему вопрос: какие же отрасли управления он предпочел бы принять в свои руки. Тиберий смущается, захваченный врасплох, чувствуя коварность замысла, но быстро оправляется и ловко выпутывается из ловушки, возразив, что с его стороны было бы нескромностью что-нибудь выбирать, раз он решил отказаться от всего. Тогда Галл, видя, что его уловка раскрыта, ретируется, утверждая, что слова его имели целью только показать, что государство, как единое тело, может и управляться только одним умом. В таком стиле пререкания продолжаются дальше и, под конец, представляясь убежденным необходимостью, после всеобщих упрашиваний, Тиберий перестает отказываться, хотя прямо и не объявляет, что принимает власть. Но последнее совершается само собой.

Первые шесть книг «Аннал» заняты рассказом о времени Тиберия. Тацит делит годы его правления на два периода. Первый кончается смертью сына Тиберия, Друза, в 23 г., а с этого времени начинается второй, который становится особенно жестоким после смерти в 29 году Ливии (матери Тиберия, вдовы Августа). Последняя больше всех умела сдерживать мрачные и злые порывы Тиберия. В более ранние годы он деятельно отдавался интересам государства, обуздывая в себе злобу и произвол. Но и описание всех лет его

правления вообще окрашено у Тацита в темный цвет, сгущающийся все сильнее к концу. Автор признавал за вторым императором дарования правителя, но главными свойствами его он почитал, на ряду с жаждой самовластия, мрачную подозрительность, отсутствие веры в людей, скрытность и лицемерие, а также злопамятную жестокость.

Одним из первых политических актов Тиберия было уничтожение народных собраний, ставших омертвелым пережитком старины. Август сохранил за ними формальное право собираться, издавать постановления и производить выборы магистратов, и сторонники республики возлагали надежду, что в этих собраниях поддержатся традиции свободных учреждений, Тиберий же передал их последние полномочия сенату. Скоро насилия и преследования начали множиться. К тайным пружинам, которыми, по мнению Тацита, императоры действовали, чтобы укрепить свою силу и ослабить врагов, Тиберий присоединил еще одну, обрушившуюся на общество страшным ударом: то был памятный для всех закон о величестве (lex maiestatis). Не сам Тиберий изобрел эту суровую формулу уголовно-политического права, но он придумал для нее новое применение в виде орудия репрессий против повсюду мерещившейся ему преступной оппозиции знати. То был давний закон, сохранившийся еще от времен республики, когда «величество» признавалось высшим свойством римского народа (maiestas populi). Судимости по этому закону подлежали виновные в государственной измене, сдаче войска неприятелю, подстрекательстве народа к бунту, оскорблении его чести. При Августе закон стал применяться к распространителям порочащих пасквилей (famosi libelli) против почитаемых лиц. Тиберий же, который присвоил себе права народа, превратил себя в обладателя его «величества»: «величество народа» (maiestas populi) стало «величеством цезаря» (maiestas caesaris). В первое время, по его воле, карались оскорбители памяти и чести Августа; но скоро этот закон стал грозою для врагов правящего императора, явных и тайных, действительных и мнимых, не только злоумышляв-

щих против него заговорами, злоречием, или хотя бы насмешкой, но и оказывавших непочтение его имени или его изображению. Каждому заподозренному грозили жестокое следствие и смертная казнь. Личная безопасность исчезла. Всех окружило шпионство, которым промышляли за деньги люди всякого звания, от рабов до подслуживающихся сенаторов включительно, щедро награждавшиеся за это. Дети доносили на родителей, друзья на друзей. Донос для многих стал профессией. Не было средств защищаться от клеветы, люди жили под вечно грозившей им гибелью. Гонению подвергались не только виновные или подозреваемые во враждебных замыслах, — погибали и просто влиятельные люди, казавшиеся опасными, или богачи, крупными имуществами которых можно было поживиться для пополнения императорской собственности. Истреблено было по произвольному применению закона о величестве множество лиц, занимавших видное положение. Дело дошло до того, что естественная смерть среди крупных представителей высших сословий стала явлением исключительным, и Тацит специально отмечает такие редкие случаи. Под влиянием страха за жизнь люди знатные, отличившиеся военными подвигами и другими заслугами перед родиной, сами налагали на себя руки, чтобы в смерти найти успокоение. Из года в год преследования и убийства возрастали в числе и в жестокости. Потоки крови лились в Риме непрерывною, все более обильною рекою.

Густая полоса актов жестокости тянется в повествованиях Тацита через все годы правления следовавших друг за другом императоров от Тиберия до Нерона. Нет возможности перечислить имена жертв императорского террора. Выдающийся историк Кремуций Корд покончил с собой, не дожидаясь приговора сената, судившего его по «закону величества» под грозным взглядом Тиберия за то, что он в своей истории отдал честь Бруту и Кассию, «последним республиканцам». Так же поступил ученый юрист Кокцей Нерва, находившийся даже в числе «друзей императора», — чтобы уготовать себе «честный конец», т. е. избавить себя от рук палача.

Можно бы думать: Тацит преувеличивает, ослепленный бьющим в глаза зрелищем тирании. Но и другие историки писавшие после него, рисуют те же мрачные картины. Ими полны страницы биографий Светония и рассказы Диона Кассия.[1] Тиберий не щадил лиц, ценных знаниями и талантами, не помышляя о нуждах культуры и интересах потомства: он будто бы часто декламировал известный греческий стих: «Когда умру, пусть землю хоть огонь спалит».

Раньше Тацита о Тиберии так же высказывался Сенека. Он говорил, что доносы загубили в Риме и Италии больше народа, чем гражданские войны.[2] Разбитые преследованиями высшие классы все глубже погружались в страх и раболепство. Сам Тиберий это подтверждает. Тацит пишет, что выходя из сената, выслушав низкопоклонные речи высокопоставленных лиц, он презрительно воклицал (по-гречески): «О люди, созданные для рабства!»

Описаниями Тацита выдвигается еще одно явление, характерное для деспотизма — владычество временщиков во дворце цезарей. В фигуре любимца Тиберия С е я н а он дает изумительнейший образчик этого типа людей. Обычно такие люди начинали свою карьеру придворными паразитами, потворствовавшими самым худым наклонностям своих господ, поднимались затем до высших должностей искательством, а далее подготовляли гибель самого властителя, если преждевременно не гибли сами, как погиб и Сеян, когда раскрывалось их предательство. Рассказом об отношениях между Тиберием и Сеяном завершается у Тацита летопись о царствовании Тиберия в особенно омраченных красках обличительной живописи.

Картина получилась, может казаться, освещенной односторонне, но нельзя не заметить у автора стремления к справедливости, которое он только не всегда выдерживает. Историк не отрицает в императоре государственных дарований, не скрывает его заботы в первые годы о нуждах

[1] S u e t., Tiberius 61; Dio, VIII, 23.
[2] S e n. De benef. III, 26.

управления. Тиберий не обременяет провинций податями, оказывает помощь разоренным городам, соблюдает осторожность при назначениях на ответственные должности. В городе Риме он оказывает широкую материальную поддержку беднякам, пострадавшим от пожаров и других общественных бедствий.[1]

Жестокостям государя соответствует страшный упадок нравов, пороки и преступления в обществе. Тацит передает слова из послания Тиберия к сенату с осуждением роскоши, распутства и излишеств, которым без удержу передаются знатные. «Что же следует переменить в их жизни, чтобы обуздать их? Как вернуть их к строгим обычаям предков? Надо ли положить предел бесконечным размерам их пышных загородных усадеб, огромному множеству их рабов? Это целые племена! Лишить их груд золота и серебра? Чрезмерны чудеса художественного убранства их жилищ, украшаемых статуями и картинами, их блистательные одежды, одинаково у мужчин и у женщин. Безумна расточительность последних в приобретении драгоценностей, при покупке которых деньги переходят в руки иностранцев, даже наших врагов». Далее в послании перечисляются убедительные примеры недопустимого извращения добрых обычаев, которое внедрилось в повседневную жизнь знати. Требуется побороть разрушительное зло, но тут нужны суровые меры: «Чтобы наказывать и исправлять соблазнителей и соблазненных, необходимы средства такие же сильные, как их пороки». Но когда на них налагаются строгие кары, они начинают вопить о жестокостях, и это вызывает волнения. Прежде все стремились к воздержанию; теперь разыгрались вожделения, которых не сдерживает никто. Негодовать недостаточно: должно действовать. Император жалуется: «он терпел незаслуженные обиды за акты твердости. Нынче он по праву настаивает, чтобы не относились с осуждением, без основания и без разума, к его действиям, необхо-

[1] Можно собрать у Тацита немало таких оговорок в пользу Тиберия.

димым, как для главы государства, так и для граждан».[1] В данном случае Тацит оправдывает Тиберия, вообще же он считает не только правом, но даже обязанностью историка бороться против зла, стало быть, и обличать его.[2] Тиберий все сильнее предавался худым страстям, и это было несчастьем для него и для всех. Так думал Тацит. Поэтому он и произносит над ним, в общем выводе, строгий суд, заканчивая свое скорбное и негодующее повествование о его царствовании картиной зловещих последних лет жизни, когда он, вдали от Рима, добровольно запершись на острове Капри около Неаполя, потерял реальное ощущение действительности и всякую власть над собою. Автор кончает такими словами: «Характер и поведение Тиберия менялись с течением времени. Он жил честно, пока был просто гражданином или пока лишь участвовал в управлении государством при жизни Августа. Пока живы были его сын Друз и его племянник Германик, он искусно прикрывался личиною добродетелей. До смерти матери он раздваивался между добром и злом. Ужасный в своих жестокостях, скрытно таинственный в своем разврате, ... он, наконец, бросился в бездну преступлений и злодейства и, забыв всякий стыд и страх, предался всецело гнусным порокам».

Военная история занимает много места в «Анналах», как и в «Историях», причем военные события преимущественно касаются борьбы римлян с германцами на Рейне. Эти страницы дают ценные дополнения к более раннему и специальному этюду о «Германии». Они же рисуют и самое военное устройство у римлян. Тацит описывает походы и их обстановку, сражения и военный быт наглядно, с живыми подробностями. Очевидно, все это было изучено автором основательно, по большому материалу. Главным героем борьбы Рима на севере с варварским миром является у Тацита Германик, племянник Тиберия, сын его брата Друза. Образ Германика играет в композиции «Аннал» двоякую роль: во-первых, он служит

[1] Tac. Ann. III, 53—56.
[2] Op. cit., III, 65.

доказательством сохранения в недрах римского народа вождей, выдающихся талантом и доблестью; во-вторых, в нравственной личности Германика воплощается фигура контраста с Тиберием: это любимый прием построения Тацита. Если характеристика Тиберия может быть названа «отрицательной идеализацией», то изображение Германика знаменует положительный идеал: его благородные качества противополагаются отталкивающим свойствам Тиберия. И здесь, против воли писателя, чувствуются его симпатии и антипатии и несколько нарушается устанавливаемый им же морально-методический принцип.

Впрочем, превознесение Германика — не плод одной личной тенденции автора; оно, повидимому, передает оценку всего римского общественного мнения, не одних друзей или избранных кругов, но и большинства населения Рима и военной массы. Солдаты были преданы Германику и подчинялись его воле не только в походах и в сражениях, когда войско находилось под впечатлением успехов, но и в трудные дни неудач и лишений. Только Германику удавалось успокаивать волнения в армии. Только он мог останавливать разгоравшиеся бунты, не прибегая к силе и репрессиям, одним обаянием своей личности и действием убежденного слова.

Такое отношение к Германику Тацит, вероятно, нашел у своих предшественников, которые писали не по одной «молве», но и по собственным наблюдениям, как живые свидетели прошлого. Видно, историки изображали Германика светлыми красками, и для многочисленных групп населения Германик рисовался желанным преемником опостылевшего всем Тиберия. Но Германик был отозван из прирейнского края: Тиберий боялся, что Германик восстанет против него вместе с армией, а Германик с непоколебимой верностью возвращал к покорности Тиберию войско, готовое провозгласить цезарем его самого.

Тиберий отправил Германика на Восток. Это дает повод Тациту включить в «Анналы» экскурс об египетской культуре: мы уже знаем, что этнографические этюды принадлежали

к числу его любимых тем. Жизнь Германика прослеживается Тацитом вплоть до его таинственной смерти на Востоке, в азиатских провинциях. Подозревали, что он был отравлен по проискам его соперника Пизона, не без ведома императора; но Тацит, по обычной своей добросовестности, предостерегает читателя от легковерного принятия слухов, часто клеветнических, распространявшихся в массах.[1]

Для усиления эффекта от начертанного благородного образа Германика Тацит выдвигает рядом с ним фигуру его жены и верной подруги, Агриппины Старшей (внучки Августа, дочери Агриппы). Она была его неразлучной спутницей и верной сотрудницей во всех его странствиях и делах. После его смерти она явилась в Италию как мстительница погубившим его врагам. Тацит рассказывает о торжественной траурной встрече Агриппины множеством народа при высадке ее с корабля и о присутствии взволнованной массы на погребении праха Германика в Риме. По интриге Сеяна, она была сослана Тиберием на остров Пандатерию и там покончила с собой, отказываясь от принятия пищи.

Агриппина Старшая — любимый женский портрет Тацита. Женские образы выбираются им либо из числа гонимых императорами — по ложным ли доносам, за их ли богатство; или, наоборот, это высокопоставленные женщины, связанные с императорским дворцом, которые либо приобрели печальную славу падения в разврат, либо стяжали себе известность бешеным честолюбием и интригами. Первых история отмечает как исключения, вторых выставляет на позор. Светлых фигур среди тацитовых героинь немного. Тацит, скорее, не любил женщин, не доверял положительным свойствам их природы, считал их склонными к легкомыслию, роскоши и расточительности, тиранству и жесткости. Они быстро подпадают под власть порока и тогда уже не знают предела в разврате, всецело отдаваясь бурным и злым страстям. Они вводят

[1] Автор в заключительной своей характеристике не удерживается от сравнения Германика с Александром Македонским как по судьбе (т. е. ранней смерти), так и по величию духа.

в соблазн тех, у кого нет устоев и кто так или иначе окажется в их руках. Великий дар природы — красоту — они превращают с ядовитую приманку — в источник зла и преступлений.

Женские нравы, видимо, глубоко пали; множились случаи чудовищного распутства. Правительство принимало меры для обуздания ужасных излишеств: сенатом издавались специальные декреты против женщин и нарушения ими общественной нравственности. Даже в высшем обществе жены и дочери высокопоставленных лиц почти открыто предавались проституции. Однажды сенат издал прямое запрещение «женщинам, у которых предком, отцом или мужем был человек, по крайней мере всаднического происхождения, торговать своим телом». При этом за попустительство подлежали ответственности и мужья женщин, обличенных в явном половом пороке.

Мессалина, первая жена императора Клавдия, была, может быть, самым постыдным образцом торжества в римской женщине гнуснейших плотских страстей. И именно она поэтому и является одним из главных объектов обличения Тацита. Не менее отталкивает Тацита от себя и мать Нерона, Агриппина Младшая, честолюбие которой было так велико, что она готова была использовать для удержания в своих руках власти над сыном сохранившуюся свою красоту и отдаться ему телом, вступив с ним в кровосмесительную связь.

Но Тацит, любя контрасты, рядом с порочными женщинами, выдвигает женские образы, привлекавшие к себе строгостью нравов. Агриппина Старшая для него, в ином смысле, самый крупный противовес в защиту женской чести. Но есть у него и другие примеры. Повторялись случаи, когда женщины понапрасну обвинялись в развратном поведении. Это происходило нередко в связи с открытием принадлежности их к иноземным культам, особенно восточным, с которыми иногда соединялись обряды чувственного характера. Благодаря подобным подозрениям, часто фантастическим, чужеземные религии не раз подвергались в Риме преследованиям и запрещениям, и участники их изгонялись и подвергались карам.

Имеется и у Тацита такого рода рассказ.[1] Одна женщина, принадлежавшая к знатной семье (дело было при Нероне, в 56 г.), по имени Помпония Грецина, была обвинена в соучастии именно в таком, вызывавшем подозрение, «иноземном суеверии», и предана, по старым установлениям, семейному суду. Муж ее, Плавтий, заслуженный военный деятель, созвав семейный совет, допрашивал ее, и она была оправдана (в случае признания за ней вины ей был бы вынесен смертный приговор). После этого она долго прожила в полном уединении, отстранившись от общества, с грустью взирая на окружающую ее роскошь и светские развлечения, всегда одетая в темное платье. Можно предположить, что под такою картиной ее быта скрываются нравы христианских общин — удаление от языческой культуры, стремление к аскетической строгости. В окрестностях Рима (по Аппиевой дороге), там, где возникло потом одно из древнейших христианских подземных кладбищ (катакомб), найдены были христианские погребальные надписи лиц, принадлежавших к числу членов ее рода: исследователи склонны отожествлять Помпонию Грецину с ранней христианской подвижницей Луциной, что значит «светлая» (таково могло быть ее христианское переименование), гробница которой найдена была тут же в катакомбе Калликста. Это только догадка, но если она верна, то любопытно, что Помпония вызвала симпатию в Таците, вообще не расположенном к христианам.

Тацит любит также выдвигать в своем повествовании фигуры стойких женщин, готовых в страдании до смерти защищать то, что совесть их признавала делом чести. Таков у него рассказ об Эпихариде, которая участвовала в заговоре против жизни Нерона. Она была выдана, схвачена и подвергнута свирепым пыткам, чтобы заставить ее назвать имена участников, но она вынесла пытки с несокрушимым мужеством. «Ни плети, ни огонь, ни бешенство палачей, раздраженных сопротивлением женщины, не смогли одолеть ее твердости. Она хранила молчание. Когда на следующий

[1] Тас. Ann. XIII, 32.

день ее тащили на носилках на новые муки, так как ее разбитые члены не давали ей возможности передвигаться самостоятельно, ей удалось снять пояс и им задушить себя, «погасив то, что оставалось в ней жизни. Высокий пример, данный вольноотпущенницей, женщиной, которая защитила своим безмолвием чужих ей людей, между тем как высокопоставленные лица, сенаторы, всадники, еще до пыток, от страха, предавали самых дорогих им людей». Историк вспоминает здесь известного поэта Лукана, который назвал в числе сообщников собственную мать.[1]

Содержание «Аннал» богато подробностями из различных сфер жизни государства и общества и его быта, преимущественно в Риме и в Италии: гораздо меньше он говорит о провинциях. Сообщаются и данные об экономических порядках. Автор не выдвигает последних на первый план, но он естественно наталкивается на них, как на симптомы либо улучшения благосостояния, либо наоборот, его расстройства. Тогда он их отмечает и стремится в них разобраться. У него сообщается немало фактов о развитии крупного землевладения, о росте императорской собственности, о борьбе императоров со знатью на этой почве. У него можно почерпнуть обильный материал о земельных конфискациях, как постоянной мере классовой политики императоров, направленной ими к собственному обогащению и к разорению сенаторского класса. Автор указывает также на угрожающее усиление ростовщичества и на попытки Клавдия обуздать хищничества денежных дельцов. Упоминаются Тацитом и экономические кризисы, хозяйственные бедствия, повторяющиеся в Италии голодовки, упадок земледелия и волнения народа от недо-

[1] Tac. Ann. XV, 51, 56. Всем материалом, который дается Тацитом для восстановления женских образов, талантливо воспользовался в свое время известный наш историк, ученик Грановского, П. Н. Кудрявцев, в выразительной своей книге «Римские женщины» (2-е изд., М., 1860). Здесь сконцентрирована целая галлерея художественно обработанных женских портретов. Книга заканчивается очерком — характеристикой Нерона, знаменитого своими жестокостями.

статка продовольствия.[1] Говорится им и о восстаниях рабов: огромные массы их в поместьях магнатов нередко выходили из покорности и нарушали мир в различных местах Италии.[2] Против них боролись власти воинскими силами, подавляя вспышки рабских бунтов, и потом ожесточались репрессии против них. При Нероне издан был специальный закон, постановлявший, что если раб убьет господина, то не один убийца, но все рабы, находившиеся в доме во время преступления, будут предаваться смерти.

Чтение «Аннал» живо переносит нас в переживание участников движущейся под даровитым и сильным пером автора картины. Тацит обладает редким искусством воспроизводить меняющуюся действительность в ее пестрых красках, сталкивающихся звуках, в повседневной обстановке и в чрезвычайных событиях, как в затишье, так и в грозе и буре: в последних чаще, чем в первом. От чтения трудно оторваться, а проникновенное эмоциональное участие писателя в собственном рассказе заражает и чувства читателя.

Обзор уже одной первой сохранившейся части «Аннал», несмотря на его краткость, дает здесь, думается мне, некоторое понятие о содержательности, оригинальной обработке и совершенно особенной, сдержанной, но вырывающейся наружу, красоте замечательного памятника античной историографии. Вторая часть «Аннал», т. е. книги XI—XVI, годы правления Клавдия и Нерона, не менее богата фактами, образами и красками. Можно, впрочем, сказать, что тут в повествовании меньше субъективного элемента; например, в суждении о личности Нерона, который благодаря своему безумному самомнению и откровенной жестокости сам способствовал историку и понять его, и сказать о нем правду.

К характерным особенностям исторической точки зрения

[1] Tac. Ann. XII, 55.

[2] Op. cit., То была постоянно грозившая опасность. Сенека (De clementia I, 24) предостерегает крупных собственников. Пусть де они подумают: вдруг рабы станут подсчитывать, сколько их и сколько нас (помещиков!) Да не выходили из памяти и прежние грозные восстания рабов.

Тацита принадлежала высокая оценка роли личности в истории, — и вторая часть «Аннал» изобилует изображениями индивидуальных фигур правителей, борцов, общественных деятелей, писателей, дельцов, доносчиков, прожигателей жизни — как мужчин, так и женщин.

На первом плане выделяются, конечно, цезари. Главы, посвященные Калигуле, утрачены, но эта потеря среди других наименее существенна, так как время его правления было короткое (37—41 гг.), а фактическое содержание истории этих лет не имеет большого значения; личность этого императора по природе своей очень элементарна. Может быть, у Калигулы и были даже некоторые дарования, но в жизни проявил он себя безумцем, случайно возвеличенным судьбою: он действовал, как развратный деспот-изувер, перед которым вдруг открылся простор произвола.

Преемник Калигулы, его дядя Клавдий (41—54), быть может, и благожелательный и добродушный человек, был бездарный правитель и безвольный глупец, хотя и интересовавшийся литературой и любивший заниматься науками. Однако комбинации различных событий, сопровождавших эти годы, представляли огромный интерес для историка.[1] Действовавшие рядом с Клавдием его жены, развратная Мессалина и умная, но жестоко-властолюбивая и тоже порочная и чувственная Агриппина Младшая, являли собою интересные объекты психологического анализа и конкретно-художественного изображения.

Главное же внимание автора в последних книгах «Аннал» сосредоточено на времени и на особе Нерона.[2] Хотя и талантливый, любивший (по-своему, порою безвкусно) литературу и художества, но зверски извращенный деспот, он с беззастенчивой экспансивностью самодержца, преклоняющегося

---

[1] Почти весь рассказ о правлении Клавдия, кроме самого конца, сохранился.

[2] Нерон был сын Агриппины Младшей (дочери Германика и Агриппины Старшей) от ее первого брака с Домицием Агенобарбом, впоследствии усыновленный Клавдием.

перед самим собою, снабжает историка драгоценными данными для построения образа гения зла.

Окружают Нерона и участвуют в его деяниях главным образом те, кто в годы его власти, в перипетиях его милостей и его гнева, становились его любимцами (всегда не прочно) или его жертвами (почти неизбежно), — знатные и незнатные, честные и низкие существа, мужчины и женщины. События развертываются в Риме и в Италии в связи с передвижениями самого императора, мнившего себя и мудрым правителем, и великим артистом — знаменитым певцом и мастером-всадником на конских ристаниях. Картина у Тацита получается очень насыщенная, иногда, может быть, несколько перегруженная, но жизненная, написанная реалистически. Вместе с лицами вырисовывается и тот фон, на котором происходили их действия, и развертываются общественные настроения. В частности, одним из знаменитых отрывков рассматриваемой части «Аннал» должно признать великолепное описание страшного пожара в Риме в 64 г., когда в огне уничтожена была или сильно пострадала застройка бо́льшей части столицы. Этот эпизод нельзя обойти в настоящем обзоре: по выразительности изображения — это одно из лучших мест не только в «Анналах», но вообще во всем литературном наследии Тацита, одна из превосходнейших, нарисованных его выразительным слогом, исторических картин с трагическим сюжетом.[1] Рим претерпел тогда великое бедствие, «самый ужасный из всех пожаров, какие уже не раз постигали его. Огонь возник у той части Большого цирка, которая соприкасается с холмами Палатином и Целием, среди лавок и харчевен, наполненных легко воспламеняющимися товарами. Пламя быстро разлилось и забушевало со страшной силой, раздуваемое ветром, и охватило здание цирка во всю длину, потому что здесь совсем не было ни домов, отделенных оградами, ни храмов, окруженных стенами, ни какого-нибудь другого препятствия, которое могло бы задержать огонь. Жестокий пожар с бурной силой распространялся сначала

[1] Tac. Ann. XV, 38—44.



Римлянин времени Флавиев.

Ленинград, Эрмитаж.

по равнине, потом с неудержимой быстротой взбирался на высоты, опять опускался вниз и вновь поднимался на возвышенности. Бег огня опережал всякую помощь и находил обильную пищу в узких улицах и кривых переулках, среди нагромождения домов, которым так богаты были старые части Рима. Женщины с воплями ужаса, старики и дети, пораженные страхом, люди, пекущиеся о себе и о других, те, кто уносил больных или ими задерживался, кто останавливался или торопливо проходил, — все это увеличивало смятение. Часто, оглядываясь назад, люди встречали беду либо спереди, либо сбоку; искали спасения в ближайшем соседстве и везде наталкивались на те же ужасы настигавшего их огни даже в местах, казалось, от пожара отдаленных. Наконец, не зная, куда бежать и где искать им приюта, жители переполняли улицы или скучивались толпами за городом. Одни, потеряв все свое имущество, лишенные пропитания, другие, пытаясь избавить от гибели близких и не успев вырвать их из пламени, гибли сами, хотя бегством им и можно было спастись от смерти. Никто не осмеливался бороться с огнем, потому что какие-то темные люди не давали его тушить, угрожая насилием. Некоторые из них сами бросали в дома зажженные факелы, крича, что так велено, чтобы облегчить для себя грабеж, или и в самом деле по чьему-то приказанию».[1]

Далее следуют драматические подробности. Когда разразился пожар, Нерон отдыхал поблизости от Рима в своей приморской вилле, около Антия, и приехал только тогда, когда узнал, что огонь грозит его новому дворцу, построенному в промежутке между домом Августа на Палатине и хоромами Мецената, друга Августа, на Эсквилинском холме, перешедшими по завещанию во владение цезарей. Тацит передает (гл. 39), будто в Нероне возбудил восторг грандиозный ужас картины Рима, объятого морем пламени. Пошла молва, будто, поднявшись на башню в своем монументальном жилище, Нерон любовался страшным зрелищем; стоя

[1] Tac. Ann. XV, 38.

в одежде актера, с лирою в руке, он воспевал будто бы гибель Трои, которую напомнило ему это страшное несчастье Рима. Конечно, то был лишь зловещий слух, пущенный чувством негодования, которое накопилось у всех против разврата и тирании Нерона, или паникою под гневом свершившейся вдруг беды. Но многие уверовали в его истинность: Нерон уже возбудил острую ненависть не только в верхах общества, но и в массах. Хотя император и приказал открыть для бедняков, превращенных в бесприютных нищих, общественные здания, построить временные бараки, чтобы дать кров хоть части пострадавших, распределить продовольствие, понизить цены на хлеб, но это не успокоило умы.

Пожар, было затихший на шестой день, вскоре возобновился, именно — у дворца Тигеллина, ненавистного всем любимца Нерона. Огонь свирепствовал еще несколько дней и разрушил большую часть столицы. Из четырнадцати районов, на которые делился Рим, только четыре остались нетронутыми, три сгорели до тла, от остальных же семи сохранились лишь жалкие развалины. Не одни бедные кварталы, но и роскошные усадьбы богачей, общественные здания и храмы были опустошены: погибли редчайшие художественные памятники. Было много человеческих жертв.

Разорение постигло немало и состоятельных людей, положение же масс было отчаянное. Мучительно и грозно ставился вопрос: кто виноват? Уже разгоралось желание отмстить искомому виновнику. Неронов дворец сгорел, но император немедленно стал отстраивать себе новый, гораздо более обширный и роскошный. В нем бросались в глаза и вызывали гнев не столько золото и драгоценности, которыми была украшена царственная постройка, сколько захваченные под нее очень большие пространства земли, очищенные огнем. Теперь многие из этих пространств были заняты императором под парки с прудами, рощами, полянами, густыми зарослями. Места кругом дворца не отдавались под частные постройки, а были рассчитаны на расширение зданий и насаждений задуманного колоссального «золотого дома», достой-

ного обиталища для цезаря. Восстановление частных домов происходило в назначенных для этого частях города по новому плану в виде больших каменных палат для богачей; они были обставлены противопожарными предосторожностями.

Бедняки во множестве долго оставались бездомными, и среди них бродило и возрастало враждебное волнение. Появились и со дня на день крепли слухи о поджоге; утверждалась вера, что в нем повинна злая воля самого императора, которому будто бы нужно было освободить место для возведения себе новой, еще нигде не виданной по роскоши резиденции. Говорили даже, что он мечтает на месте сожженного Рима основать новую столицу и назвать ее по своему имени — «Неронополисом». Тацит передает эту позорившую цезаря молву, но сам сомневается в ее вероятности: преступление было бы слишком чудовищно даже для Нерона. В массах, однако, этому слуху верили, и он разрастался; предполагали, что те люди, которые, как рассказывали, препятствовали бороться с огнем пожара, были агентами императора.

Народ требовал, чтобы в храмах приносились покаянные и очистительные жертвы богам, но негодующий ропот на императора, как поджигателя, не унимался. Нерон устрашился бунта и постарался отвести от себя грозные подозрения. Подосланные им агитаторы стали рассказывать, что Рим зажгли христиане. Проникшая в то время в Рим и заметно распространявшаяся чужестранная секта из Иудеи, которая держалась от всех особо, отрицала римских богов, чуралась античной культуры и обычаев, совершала тайно обряды своего культа, — вызывала, пока глухую, вражду в массах и презрительное отношение в образованных классах.[1] Приспешникам Нерона нетрудно было разжечь ненависть против неведомых пришельцев в расстроенных и возбужденных множествах: те обрушились на христиан, а Нерон подстрекнул разбуше-

[1] Враждебная отчужденность, в которой жили христиане в Риме, давала повод подозревать христиан в злых замыслах, дурных нравах и необычайных преступлениях.

вавшиеся злые страсти. Разразился погром, и Нерон потворствовал рассвирепевшей стихии. Так или иначе, но ему удалось отклонить от себя опасность народного гнева.

У Тацита находим следующий рассказ. «Зловредное суеверие стало плодиться не только в Иудее, где самое зло возникло, но и в городе Риме, куда именно со всех концов земли притекает и где множится всё постыдное. Сначала схвачены были те из них, которые не скрывались. По их указаниям обнаружено было очень большое число и они были уличены не в злодейском поджигательстве, а в «ненависти к человеческому роду». Над ними произносились смертные приговоры, но, и умирая, они подвергались издевательствам, будто бы для забавы толпы. Их одевали в звериные шкуры и отдавали на растерзание псам. Их вешали на крестах, иногда зажигали как факелы, чтобы, когда день темнел, они освещали ночь. Нерон предоставил для такого зрелища свои сады (на Ватиканском холме), а сам одновременно устроил игры в цирке, лично вмешивался в толпу и в одежде возницы правил конями». Тацит прилагает к этому жуткому описанию такой вывод: «Хотя христиане и были преступны и заслуживали строгого наказания,[1] тем не менее они вызывали сострадание за мучения, которым их предавали, так как они гибли не для общей пользы, а в удовлетворение свирепости одного человека и в угоду ему».[2]

Приведенные эпизоды из «Аннал» дают нам выразительные образцы манеры и стиля Тацита, когда он своим писательским талантом и литературными приемами обрабатывает драматические сюжеты: сжатость и сдержанность, при ясно ощущаемом эмоциональном участии самого автора в том, о чем он повествует, отсутствие напыщенной риторики, выразительная искренность и благородный тон высказываемых замечаний. Такие особенности проявляются у него при изображении событий войны, ее успехов и катастроф, двор-

[1] Тацит не поясняет, каковы были эти преступления, будто бы достойные «высших кар».

[2] Tac. Ann. XV, 44.

цовых переворотов, народных волнений и, как здесь, актов тирании цезарей или насилий толпы.

В последних книгах «Аннал» Тацит всего свободнее отдается своей склонности к вырисовке образов личностей, своему интересу к анализу и столкновению психологии индивидуальностей. Он много работал над познанием натуры и темперамента Тиберия, как отрицательного типа, и Германика, как представителя добрых начал. Это пример любимых Тацитом характеристик-контрастов, однако с сохранением реализма фигур: он орудовал не как беллетрист, романист или ритор, а как историк, дорожил впечатлением достоверности хорошо изученных им образов прошлого.

Злая и коварная фигура тибериева любимца Сеяна у Тацита — также любопытный опыт закрепления в литературной форме типичного для эпохи примера придворного фаворита, интригана и карьериста, готового на всё — от наговора и клеветы до убийства, лишь бы достигнуть богатства, силы и власти. Могущественные вольноотпущенники Клавдия Нарцис и Паласс очерчены более бледно. Но в виде ярких, типично исторических портретов встает перед нами властолюбиво-чувственная Агриппина Младшая, добивающаяся господства над неистовым деспотизмом своего сына Нерона; и рядом с нею, как параллель, мелькает стремившаяся к той же цели, неразборчивая в средствах красавица Поппея Сабина, сумевшая заставить Нерона из конкубины сделать ее законно признанною женою. Наконец, опять для контраста, проходит силуэт тихой и кроткой Октавии... А кругом сталкиваются образы друзей и врагов, редко верных сотрудников и слуг, чаще всего предателей.

При Нероне возобновляется с удвоенной силой обостренная борьба императора со знатью, искание заговоров с помощью шпионства и доносов, опалы, конфискации, казни. Вокруг двора теснятся во множестве искатели счастья, льстецы и «деляторы» (delatores — дословно «доносчики»), действительные заговорщики и невинно-преследуемые, крупные собственники, утонченные расточители в типе Петро-

ния, любимого советника Нерона по делам радостей жизни и изящных развлечений (arbiter elegantiae), не избежавшего, однако, кровавого конца. Вереницы этих пестрых образов мастерски очерчены Тацитом.

В общую ткань рассказа вставлены отдельные трагедии знаменитых современников, прежде всего — Сенеки, знаменитого философа-стоика, воспитателя, а потом и ближнего советника Нерона. Сначала он был возвеличен, потом заподозрен. В душе императора возгорелась острая ненависть к нему, в отместку за его нравственный авторитет, которому Нерон раньше подчинялся, за его славу и его поучения. Ненависть вызвала подозрения, желание извести предполагаемого врага, опостылевшего, сделавшегося невыносимым. Жестокий исход был неизбежен: Сенека был загублен по обвинению в сопричастии к заговору против жизни цезаря.

Тацит говорит о Сенеке в разных местах «Аннал», и если собрать все эти отрывки вместе, то получится почти полная картина жизни Сенеки при Нероне и близкая к истине характеристика сложной, противоречивой натуры, оцененной Тацитом проницательно и, по существу, справедливо. Тацит признавал Сенеку первоклассным философом, высоко образованным человеком и прекрасным стилистом. Он, наверное, долго изучал его и в школе и после школы. Многие из его идей он воспринял с сочувствием, но внимательно знакомился с его жизнью как историк. И он решил зафиксировать индивидуальность Сенеки как один из достойных увековечения образов человечества. Уразумел он также, однако, всматриваясь в его жизнь, и дефекты его натуры.

Сенека принадлежал к разбогатевшей всаднической интеллигентной семье: отец его был видным писателем: сын выступил блестящим оратором во время Калигулы, которым был изгнан из Рима из зависти к его красноречию. Сенеку вызвала из ссылки мать Нерона, Агриппина Младшая, он стал ее любимцем, и она поручила ему воспитание сына. Сенека являлся ее главным советником, когда еще она была всесильна при жизни своего мужа Клавдия, и остался первым

лицом в государстве и после вступления Нерона во власть. Он прошел высокую сенаторскую карьеру, одновременно разрабатывая философские проблемы и пользуясь большим политическим влиянием.

Изучая личность и деятельность Сенеки, Тацит легко раскрыл в ней также и отрицательные стороны: лицемерие придворного, цепляющегося за власть, сначала лавирование между матерью и сыном, а потом предательство по отношению к первой. Правда, Сенека пытался удерживать Нерона от излишеств, но нередко приходилось ему и мирволить его порочным наклонностям, чтобы сохранить близость к нему. Когда Нерон решился освободиться убийством от стеснявшей его матери, Сенека не удержал его от его ужасного преступления, а даже, как упорно о том говорили, составил для Нерона оправдательное послание. Сторонник философского учения, требовавшего строгого воздержания, довольства малым и добродетельной жизни, — сам он обладал огромными богатствами и жадно стремился увеличивать их, случалось даже и нечистыми путями. При дворе образовалась сильная группа его недругов, всякими средствами старавшихся очернить Сенеку перед императором. Влияние Сенеки на Нерона было, в конце концов, поколеблено, и, продолжавший цепляться за власть Сенека, не мог не понять, что ему грозит немилость: Нерону наскучила его опека, а враги непрерывно наушничали императору, что Сенека считает себя выше самого цезаря дарованиями и хочет стоять над ним и во власти. Сенека увидел, что надо ему отойти от двора, и, отказавшись от благ и почестей, искать безопасности в уединении. Тацит приводит характерный по своему содержанию диалог, состоявшийся будто бы между государем и его главным былым советником на испрошенной Сенекою аудиенции: очень показательны влагаемые историком в уста обоих действующих лиц речи, свидетельствующие о его тонком понимании натуры обоих.[1] Начинает Сенека: «Уже четырнадцатый год состою я доверенным твоих надежд человеком. В течение этих лет я был

[1] Tac. Ann. XIV, 53—56.

осыпан от руки твоей столькими почестями, что моему счастью недостает лишь одного — воздержания. Напомню крупные примеры, достойные не моего благополучия, но твоей милости. Прапрадед твой Август дозволил Агриппе уединиться в Митилене, и Меценату, хотя и обитать в Риме, но находиться на покое, будто чужестранцу. Первый, бывший сотрудником его в победах, второй, участвовавший во многих трудах управления, получили, конечно, большие, но заслуженные награды. Я же принес тебе лишь плоды моих умственных занятий, приобретенных мною, можно сказать, в тени. Им я обязан высокой честью, что мог оказать скромное содействие основам образования твоей юности. В одном таком, данном мне, поручении заключалась уже для меня величайшая награда». Охарактеризовав свое положение и самочувствие, Сенека обращается к сущности своего ходатайства. «Такие великие благодеяния, — говорит он Нерону, — вызывают зависть в других. Она не может, как все, что смертно коснуться твоего величия, но мне она грозит, она же и побуждает меня о себе позаботиться. Как воин или путник, усталые, нуждаются в отдыхе, так и я, на пути своей жизни, достигнув старости, не могу дальше нести малейшего напряжения, не могу охранять свои богатства и прошу твоей помощи: прикажи, пусть ими управляют твои уполномоченные, прими их в состав твоих собственных имуществ;[1] от этого я не попаду в бедность, но освобожусь от излишнего. Блеск тяготит меня; но так дух мой использует время, которое я отдавал наблюдению за своими усадьбами, садами и имениями. Тебе нынче достаточно собственного гения и опыта, приобретенного в долгом царствовании, чтобы твои старые друзья[2] могли отдохнуть. Для тебя будет новою славою, что люди, которых ты поставил так высоко, умеют пребывать и в скромном положении».

[1] Сенека желает возвратить Нерону все его пожалования, удовлетворяясь достоянием, как полученным им от отца, так и приобретенным им самим.

[2] Слово «amicus» употреблено здесь Тацитом в принятом официально смысле «ближний слуга».

Если мы вспомним весь контекст рассказа Тацита о Сенеке, то почувствуем, что вся его речь проникнута ощущением грозящей опалы, как бы звучит мольбою — «не погуби!»: Сенека был окружен ненавистниками, которые добивались его падения. Он отказывается от участия во власти, хватается за мечту о покое в тиши, хочет купить себе спасение возвратом алчному цезарю пожалованных им богатств. Горечь от потери величия ищет утоления в надежде сохранить жизнь. Положение Сенеки показано верно, внутреннее его состояние схвачено правильно, и такую речь он мог произнести вполне искренно, добровольно прося об отставке, и, чувствуя себя больше ненужным, даже мешающим, подтвердить свое бескорыстие жертвою львиной долей богатства. Хорошо угадано Тацитом и то, в каком смысле должен был ответить Нерон. Сущность слов императора, должно быть, передана была по читанным источникам, но метко схвачены были историком их тон и мотивировка. «Если я могу ответить тотчас же, неожиданно, на твою тщательно обдуманную речь, то этим я обязан тебе самому: ты научил меня легко говорить, подготовившись предварительно, но также если я и захвачен врасплох. Агриппе и Меценату предок мой Август предоставил досуг после их долгих трудов, но все, что он сделал для них, объясняется его возрастом. Однако, он не взял от них того, что̀ им было пожаловано, что̀ они заслужили на войне и среди опасностей, сопутствовавших Августу в юности. Твоя рука и твой меч послужили бы мне также, если бы я взялся за оружие. Но все, что требовалось обстоятельствами, было предоставлено мне твоим разумом, советом, твоими убеждениями, и твои заслуги запечатлелись в моей памяти навек, пока длится моя жизнь. То, что ты от меня получил, — сады, деньги, имения, — подвержено несчастным случайностям, и хотя эти дары и кажутся значительными, но как много людей, стоящих гораздо ниже тебя по достоинствам, владеют большими богатствами, чем ты! Мне стыдно, что есть вольноотпущенники более богатые, и я краснею оттого, что ты, занимая первое место в моих

привязанностях, не превосходишь их по своему состоянию».

Нерон, как и Сенека, разделил свою речь на две части: первая излагает, как он оценивает положение и затронутый Сенекой вопрос, вторая содержит его резолюцию на поданную ему просьбу, и эта вторая часть короче рассматривания самой просьбы, каким и должно быть авторитетное слово верховного правителя.

«Ты обладаешь, — говорит Нерон, — полными силами зрелого возраста, ты способен нести службу и достоин новых наград, которых я не пожалею... Если же я, по своей молодости, в чем-нибудь ошибусь на скользком пути, то разве ты не направишь меня, не придашь еще большую твердость моему характеру, который ты же и образовал? Никто не будет одобрять тебя за умеренность, если ты откажешься от богатства, и никто не станет тебя обвинять за праздность, если ты меня покинешь, но все в один голос обвинят меня в корысти, если я приму от тебя твои имущества, и припишут твое решение страху перед моей жестокостью. Даже если будут хвалить тебя за воздержание, то достойно ли мудреца искать славы, унижая друга?»

Передав содержание ответа Нерона, Тацит прибавляет: «Эти слова Нерон заключил нежными объятиями и поцелуями, скрывая свою ненависть, по своей природе и по обычаю, под коварными ласками».

Очень психологично построена у Тацита и речь Нерона: в ней явно чувствуется ядовитое лицемерие, прикрытое выученной у Сенеки риторикою. В ней сквозят сдерживаемое злорадство и созревшая в душе готовая месть. Сенека принужден был благодарить императора за отказ на его просьбу. Тацит иронически замечает: «Благодарностью приходится ответствовать на всякое собеседование с правителем, что бы тот ни сказал. Сенека, зная каков его государь, должно быть, понял, что̀ ему предстоит. После этого он отказался от всякой пышности, мало показывался в обществе, оставался больше всего дома, ссылаясь на болезнь или на занятия философией, и ожидал конца».

Очерк жизни Сенеки продолжается и заканчивается у Тацита в такой же форме, урывками, вперемежку с другими сценами развивавшейся страшной драмы последних лет тирании Нерона, проходивших в волнах хаоса безумных оргий и нескончаемых зверств. Роковая развязка не заставила себя ждать и разразилась смертоносным ударом. Сначала Нерон подсылал одного из вольноотпущенников Сенеки (очевидно, подкупленного) отравить патрона, но замысел не удался.[1] Сенека не принимал пищи вместе с другими; он поддерживал свое существование дикорастущими плодами и утолял жажду ключевою водою, взятою прямо из источника.

Преследования и произвол вызывали учащенные заговоры против жизни Нерона. Один, особенно опасный, был раскрыт благодаря признанию кого-то из участников. Враги запутали в него Сенеку, и участь последнего была решена без всякого расследования. Ему дозволено было в виде милости самому прекратить свою жизнь — обычным приемом: вскрыть себе вены.

Тацит, описывая его последние минуты,[2] утешает историка: если Сенека, поддавшись соблазнам богатства и власти, не сумел прожить, как требовало учение, которое он проповедывал в своих сочинениях и письмах, — то, все же, он нашел в себе силу стоически умереть. Он прощает философу его слабость, сострадая его судьбе и, может быть, вспоминая с благодарностью нравственную поддержку, которую много раз давало ему и в юности, и в зрелые годы чтение книг Сенеки.[3]

Последние, дошедшие до нас, главы «Аннал» изображают ужасающие гонения, последовавшие за раскрытием заговора

[1] Тацит сообщает переданное «историками», но не берет на себя ответственности за точность и достоверность известий. Это обычная у него оговорка, из добросовестности.

[2] Tac. Ann. XV, 60—64.

[3] Русский поэт Аполлон Майков в своей драме «Три смерти» останавливается лишь на твердой, стоической смерти Сенеки, не давая ему полной характеристики, не оттеняя слабостей его характера и колебаний его поведения.

Пизона. В казнях потеряло жизнь очень много людей, погибли целые семьи и группы лиц и среди них немало, надо сказать, замечательных, повинно и безвинно. Истреблена была вся фамилия Сенеки, в том числе и его племянник, талантливый поэт Лукан. Тогда же погиб сенатор-стоик Тразея Пет, один из любимых исторических образов Тацита. Повесть о нем проходит через все повествование Тацита о правлении Нерона. Автор преклоняется перед ним за стойкую верность убеждениям и за открытые, твердо-спокойные, протесты против кровавого произвола императора. В то время как сенат держал себя в вечном страхе, Тразея один неизменно высказывал в лицо Нерону правду, хотя бы выразительным молчанием. Такой человек в эпоху Нерона, разумеется, неизбежно должен был умереть. В последней главе «Аннал» читаем о его предсмертных минутах.

«Тразея вышел в портик своего дома. Квестор[1] увидел, что он дочитал почти до конца декрет (с смертным приговором ему) и узнал из его текста, что зять его Гельвидий только изгоняется из Италии. Тразея удалился тогда в свою комнату вместе с Гельвидием и другом своим, Деметрием,[2] и там, вскрыв себе на руках жилы и пролив свою кровь на землю, обратился к квестору, говоря: „Совершим возлияние Юпитеру Освободителю. Смотри, юноша, и пусть боги отвратят от тебя худое предзнаменование.[3] Впрочем, ты родился в такое время, когда душу требуется укреплять примерами твердости". Потом, так как смерть медлила своим приходом, он сказал Деметрию. . . »

Здесь обрываются «Анналы» в сохранившихся рукописных сводах. Мы не знаем последних слов Тразеи перед смертью, как их в своем подлинном тексте передал наш историк. Неизвестно нам также, как завершил Тацит рассказ о правлении

[1] Должностное лицо, принесшее Тразее смертный приговор; квестор обязан был присутствовать при том, как осужденный приведет приговор в исполнение.

[2] Тоже философ строгого учения, принадлежавший к школе циников.

[3] Поток крови самоумертвляющегося человека мог стать символом и угрозою для того, кто видел, как пролилась такая кровь.

Нерона, каким афоризмом и выводом попытался он осмыслить рассказ о гибели Тразеи. Наконец, от нас осталось скрытым, из-за потери конца драгоценного текста лучшего из сочинений Тацита, и изображение катастрофы, какой разрешилась тирания последнего императора из Юлие-Клавдиева дома.[1] Это горестно, потому что для характеристики Тацита было бы чрезвычайно существенно прочитать те заключительные слова, с которыми обратился к потомству великий римский историк, как с прощальным заветом, венчавшим историческое дело всей его жизни.[2]



[1] Биография Нерона, вошедшая в состав сочинения Светония, дает рассказ о конце Нерона. Она написана несколько позже тацитовых «Аннал», но, конечно, не может заменить недостающее у последнего.

[2] Нехватает завершительного суждения историка о Нероне, как и о Домициане, но характер его приговора обоим тиранам не оставляет, понятно, сомнений.



ТАЦИТ КАК ИСТОРИК

Изучение «Историй» и «Аннал» Тацита знакомит нас с системой построения им исторического повествования.

Надо теперь попытаться глубже проникнуть внутрь самой ткани его произведений. Спрашивается: насколько фактическая основа повествований Тацита вносит ценный, твердый и разносторонний вклад в сумму источников для восстановления сущности изображаемых им событий? Правдив ли сам Тацит и авторитетны ли доставляемые им сведения? Насколько помогает он уразумению истории римской империи, как понимает он ее течение, как разбирается в элементах, из которых слагалась описываемая им жизнь эпохи, верно ли изображает он действующих лиц и как объясняет он сцепление фактов, их внутреннее единство? Достоверен ли Тацит, как летописатель? Какова его концепция человеческой истории? Какие элементы выдвигает он в ходе и содержании истории? Наконец, какие же силы, по его мнению, создают ее и ею движут?

Выяснение всего этого приведет нас к синтетическому выводу о личности Тацита как историка и как представителя и истолкователя современной ему культуры.

Каким выявляет себя Тацит-историк в коренных свойствах, необходимо связанных с его специальностью?

Вспомним ту «декларацию», с какой выступил Тацит в двух своих основных исторических трудах: он прямо заявляет, что будет повествовать лишь о том, что узнал как

истину. Конечно, такого самосвидетельства не вполне достаточно, чтобы принять уже за достоверное то, что он утверждает. Однако, когда оно исходит из уст такого принципиального человека, как он, то и это уже имеет значение. В истинности содержания для него заключается суть исторического произведения, и в соблюдении правды он видит и долг, и честь историка. Поэтому следует принять во внимание его исповедание как свидетеля прошлого: он говорит по совести. Но проверить его утверждение реально все же необходимо, вовсе не заподозревая его в неискренности.

Полезным пособием при определении основательности данных, сообщаемых историком, и верности строящейся им картины прошлого является, в числе других соображений, тот факт, как отнеслись к его сочинениям читатели-современники, особенно если они либо сами пережили события, которые он нам описывает, либо имели о них живое и свежее понятие, полученное от очевидцев. Недавнее прошлое было так страшно и оставило после себя так много глубоких следов, что если бы у современников зародилось сомнение в правдивости и осведомленности рассказчика, то последний не мог бы иметь большого успеха.

Что первые сочинения Тацита, «Агрикола», «Германия», «Истории», быстро приобретали одобрение после выхода, можно вывести из слов Плиния Младшего, главного нашего осведомителя о Таците. В первых четырех книгах своих «Писем» Плиний сперва говорит о его ораторских выступлениях, потом принимается восхвалять его именно как историка. Плиний и сам мечтает пойти по его стопам. Лично для него желанный путь — слава, и он хочет перейти к «историческому жанру», потому что история больше всего интересует публику.[1] Успех Тацита это доказывает. Славой оратора он, Плиний, уже обладает, и он склонен был бы испробовать себя как историка, если бы у него была подходящая историческая тема. Плиний глубоко уважает Тацита, которого он высоко

[1] Эти высказывания Плиния относятся к 105—106 гг., когда вышли «Истории» Тацита, ставшие общей любимой новинкой.

ставит и как историка, и как писателя, и в письме к нему говорит, что его «Истории» будут бессмертны и что лица, которых он прославляет, не забудутся никогда.[1]

Это не только дружеская поддержка, но и сообщение об общем одобрении работы Тацита. Сравнивая ораторское искусство с историей, Плиний замечает, что между этими двумя литературными видами есть нечто общее, но что имеется также и разница.[2] Под последнею он, вероятно, и разумеет, что красноречие требует эффекта, красоты, история же — истины, и хочет сказать, что Тацит заслужил общее доверие.

Тацит умеет добывать истину. Он собирает источники различных видов и начинает писать, только изучив их. Сравнительно с прежними историками такое требование исчерпывающего изучения традиции, устной и письменной, составляет серьезное новшество.

Чтобы не исказить истины, необходимы, далее, беспристрастная точность и, затем, верное понимание того, о чем в источниках говорится. А для этого должно хотеть первого и надо научиться, как достигать второго. Нельзя сомневаться, что Тацит всегда хотел быть добросовестным в передаче и верным в суждении. Он подчеркивает, что никого не ненавидит, так как никто ему лично не сделал зла, поэтому ему нет повода на кого-нибудь наговаривать, так же как, наоборот, он ничего не скрывает из пристрастия. Но ведь этого мало: он скорбит и радуется, одобряет и негодует не за себя, а за других, за всех, за правду; и это неизбежно вносит и в изображение, и даже, может быть, в самый процесс изучения, субъективное чувство.

Тацит с самого начала, и в «Агриколе», и в «Историях», говорит, что будет повествовать о том времени, когда римляне впали в рабство. Этим самым он прикладывает уже печать к целому режиму по лично пережитым от него впечатлениям: суждение опережает изучение. Действительно, у Тацита

[1] Plin. Epist. VII, 33. Ср. V, 8; VI, 16.

[2] Op. cit., V, 8.



Домиция (?), жена Домициана.

Ленинград, Эрмитаж.

оказывается немного любимых героев, и если Агриколу он любит и возвеличивает, то Домициана бесспорно он ненавидит, как жестокого деспота, принесшего государству вред. Но негодует он на него и как на тирана, лично его измучившего отнятием свободы мысли, слова и деятельности, заставившего отступать от убеждений.

Даже первое историческое сочинение Тацита было задумано им как контрастная биография и характеристика, с одной стороны, доблестного Агриколы, а с другой — кровожадного злодея Домициана. Отсюда оказались преувеличены как доблесть, так и порок. Вполне беспристрастно изображены, вероятно, только Флавии — Веспасиан и Тит. Фигура же Домициана не могла не бросить тени и на первых цезарей этого дома. Такие помимовольные влияния действовали на писателя, незаметно для него самого давя на его сознание. Намерение его оставалось неизменным — писать по правде и для этого дознаваться правды. Тацит тут твердо держался точных заветов Цицерона, отрицая и то отступление, которое Цицерон готов был допускать,[1] разрешая ораторам, когда они пользуются историческими аргументами, в целях эффективности защищаемого тезиса, иногда уклоняться от педантичного соблюдения истины. Тацит сознательно требовал незыблемой строгости и поэтому собирал все, что мог найти о том, что писал. Тут он был новатором, так как многие античные историки, черпая из того источника, который, попав к ним в руки, казался им самым благородным, часто, не стесняясь, списывали с него целые страницы, не называя его. У Тацита же находим гораздо более ссылок на источники и с поименованием их, и безыменно. Он останавливается на противоречиях в показаниях свидетелей, оговаривается, что нельзя верить всему, что сообщают они о событиях и о людях, выражает свое сомнение, опровергает или оставляет

[1] Тацит поясняет: если, говорит он, различные источники между собою согласны, то он их не называет; если же источники расходятся, то он старается их непременно указывать.

вопрос открытым. Тацит, стало быть, сравнивает известия одного источника с другим, делает между ними выбор, то есть критикует их. Но если историческая критика, критика подлинности источника и достоверности сообщаемых им известий (внешняя критика и внутренняя), теперь образует целое методическое искусство, сложную технику, требующую специальной выучки, школы, знакомства с системой принципов и правил, чутья и уменья их применять, то в те времена вопросы критики источников не ставились еще так серьезно. Историку приходилось ограничиваться личными впечатлениями, которые могли его обмануть, вызвать неверное суждение, незаметно смешать вывод (собственную мысль) с наблюдением (самым фактом), не понять сущности явления. Тацит часто рисковал попасть в беспомощное положение из-за отсутствия у него твердого критерия исторической истины, не зная, что принять и что отвергнуть в традиции.

Тацит стремится разобраться в достоинствах и недостатках отечественной историографии. Он, повидимому, читал и изучал все, что имелось в родной, а также и в греческой, исторической литературе. Из прежних римских историков он отдает предпочтение тем, которые писали во времена республики, потому что, говорит он, они заботились прежде всего о верности рассказа и не уснащали его риторическими украшениями. Со времени же империи крупные дарования между ними исчезли.[1] Впрочем, он делает ограничения: во времена Августа еще действовали замечательные историки. Тацит думает здесь о Тите Ливии. Для него это великий писатель, умевший соединить красноречие и достоверность. Но и Кремуцию Корду, сочинение которого для нас пропало, он воздает честь за смелость и свободу изображения: Кремуций Корд высказал правду о Бруте за его доблесть, а Кассия назвал «последним из римлян».[2] Август не стеснял свободы

---

[1] Tac. Hist. I, 1.
[2] Tac. Hist. I, 1.

слова: Ливия первый император называл «помпеянцем», т. е. приверженцем своего врага — Помпея, но от этого дружба его к Ливию и безопасность последнего не пострадали. Только со времени Тиберия история (наука), как и красноречие (искусство) пришли в упадок по многим причинам: прежде всего в силу утвердившегося невежества в вопросах государственной жизни, от которой граждане были отстранены, потом из-за разгоревшейся страсти к лести в угоду власть имущим, а иногда и вследствие ненависти писателей к своим господам (т. е. цезарям): «Все стали или врагами, или рабами власти и перестали думать о благе потомства». Тут Тацит делает психологическое замечание, типичное для его беспристрастия как историка: «Мы часто не верим писателю-хвалителю, но к хулителю мы прислушиваемся, потому что в лести живет гнусное преступление сервилизма, а в хуле — часто фальшивый вид независимости».[1] Вот почему Тацит не любил историков, писавших во времена принципата, и часто колебался при изучении, кому из них нужно верить, кому нельзя, в ком из них действует страх, а в ком ненависть, так как оба эти чувства одинаково гонят правду. Тацит относится с недоверием к голым утверждениям, особенно если они высказываются в резкой форме. Между тем, его самого обвиняли в наветах на цезарей, преемников Августа. За это же в новое время на Тацита нападал не кто-нибудь, а сам Вольтер, говоря: «Стоило только одному из римских императоров погибнуть под ударами преторианской гвардии, как тучи литературных воронов налетали на труп его доброго имени». Под «литературными воронами» у Вольтера разумелся и Тацит. У Тацита, говорит Вольтер, нагромождается столько ужасов, когда он описывает действия цезарей, что именно невероятность получаемой картины делает ее подозрительной: «что противоречит природе вещей, тому не следует верить», а такие фигуры, какие нарисовал Тацит, «постыдны для природы человека». Любопытно, что и Наполеон I, выступая в защиту античных цезарей, называл Тацита «поносителем

[1] В прологе к «Историям», Тас. Hist. I, 1.

человечества» (un détracteur de l'humanité), сходясь таким образом, в этом отрицательном отзыве о великом римском историке, с Вольтером. Оба они, и Наполеон, и Вольтер, обличая Тацита в несправедливой хуле на римских императоров, защищают последних ссылкой на человеческую природу, которая будто бы сама по себе не допускает вероятности злодеяний, описываемых Тацитом. Полагаем, однако, что Вольтер ошибается, когда утверждает, что кажущееся невероятным не может быть достоверным. За Наполеоном следуют и сторонники Второй империи во Франции, историки-бонапартисты. Они не опровергают теоретической точки зрения Тацита, придающей решающее значение в ходе истории инициативе и поведению руководящей личности, а уличают его в нарушении заявленного им же принципа писать беспристрастно; по их мнению, ненависть затуманила его глаза и исказила историческую правду.[1]

Обвинение Тацита в несправедливости к цезарям I в. прилагалось его противниками главным образом применительно к его характеристике личности и деятельности Тиберия.[2] Критическое отношение к Тациту и позже было поддержано целым направлением западноевропейской историографии второй половины XIX в. Углубленное изучение памятников времени Римской империи, особенно — огромного материала собиравшихся во всем римском мире надписей, — привело историков к мысли о необходимости пересмотреть сложившееся воззрение на характер императорского переворота и значение его для судеб римского мира. Со времени известного сочинения Монтескье об упадке Рима эпоха империи всегда оценивалась как эпоха разложения. Теория Монтескье была построена преимущественно на изложении Тацита, и авторитет знаменитого французского философа

[1] В свое время Сенека действительно написал пасквиль на Клавдия, Петроний же на Нерона. Противники Тацита теперь захотели присоединить и его к тем же писателям.

[2] Изображение им Калигулы и Домициана до нас не дошло, а за Нерона они не заступались.

права укрепил надолго в науке положительное отношение к оценке римским историком того, что совершалось в описанные им времена. Но по мере роста документального, эпиграфического материала и более углубленного его исследования, причины падения Римской республики были усмотрены в деспотизме правящей олигархии, эксплоатировавшей завоеванный мир и доведший его до разорения, а затем ослабившей и собственные силы в междоусобной борьбе партий честолюбцев за власть. Рядом с этим вскрыта была, обратно, в политике основателей принципата, Юлия Цезаря и Августа, попытка опереться на поддержку широких масс населения и стать на сторону передовых движений, намечавшихся повсеместно в экономическом и социальном развитии огромного государства. Так, новая власть стремилась объединить и возглавить большинство состоятельных и деятельных элементов общества в Италии и в провинциях и таким путем обновить общественный строй. Такое понимание эволюции отношений должно было объяснить крушение олигархической Римской республики и утверждение мировой империи и попытаться истолковать, на каких же положительных началах базировалось ее торжество. Первый опыт такого нового построения был раньше других представлен французским историком Амедеем Тьери,[1] а потом англичанином Меривэлем.[2] Общий синтез теории дан был Фюстель де Куланжем в его основном труде.[3] Отдельные стороны совершавшихся прогрессивных процессов разработаны были в Германии Моммзеном и его школою. Империя предстала как упрочившееся на несколько веков, базировавшееся на новом основании целое на месте разложившейся и уже нежизнеспособной республики.

Вполне естественно, что изменившийся общий взгляд на смену узко аристократической республики более прогрессивным принципатом должен был, вместе с его принятием,

---

[1] Amédée Thierry. Tableau de l'Empire Romain.

[2] Ch. Merivale. History of the Romans under the Empire (8 томов)

[3] Фюстель де Куланж. История общественного строя древней Франции (русск. пер. под ред. И. М. Гревса, тт. I и II).

несколько поколебать в ученых доверие к тому пессимистическому освещению хода истории I века н. э. в римском мире, какое дается Тацитом. В частности, должна была быть заподозрена правильность начертанных им портретов преемников Августа. Возникал вопрос: как могло совершаться в странах римского мира прогрессивное развитие, заметное в экономической, социальной и духовной областях, которое констатируется многочисленными памятниками, документальными и вещественными, если судьбы империи держались в руках таких ужасающих лиц, как Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, Домициан, и соответствующих их природе сотрудников.

Когда впервые разрабатывается новая точка зрения для истолкования важного исторического момента, то защитники ее часто увлекаются выше меры новою постановкой вопроса и приходят к преувеличенным, иногда даже к уродливым выводам. Это же произошло и здесь. Оспаривая беспристрастие Тацита в характеристике и оценке личности Тиберия, стали не столько подчеркивать положительные стороны в известных направлениях политики последнего, сколько превозносить его как выдающуюся умом и благородством личность. В разгаре полемики против отрицательного взгляда Тацита на империю появились почитатели римских императоров, в частности же именно Тиберия.[1]

Но преобразить Тиберия из мрачного человеконенавистника[2] и жестокого тирана в государя, полного нравственной доблести и сердечной доброты, как хотели этого неумеренные его панегиристы, было чрезвычайно трудно. Приходилось обращаться к искусственным изворотам. Так, если невоз-

---

[1] Такова, например, книга Stahr «Tiberius Leben, Regierungs Charakter» (Berlin, 1862). Под сильным влиянием этой работы написана и книга М. П. Драгомирова. «Император Тиберий» (Киев, 1864), неправильно увлекшегося кажущимся демократизмом политики первых императоров и потому возражавшего Тациту.

[2] Тацит сдержанно, но выразительно называет его «печальнейшим из людей»(tristissimus hominum).

можно было отрицать, что Тиберием было пролито много крови за годы его правления, то приходилось сваливать вину с больной головы на здоровую: у самого Тиберия-де была безукоризненная натура, честная и милосердная, но она испортилась под зловредными, настойчивыми влияниями окружающих. Он доверчиво слушался дурных советников, продажных жестоких доносчиков, в интересах которых было озлобить его и потом пользоваться его карающей властью для своей выгоды. Льстецы и злодеи, окружавшие его, подобные гнусным его любимцам Сеяну или Макрону, насиловали его великодушие и толкали его к репрессиям, которые были ему противны. Но если даже и было так, то это еще не оправдание: плох правитель, который становится игрушкой в руках дурных людей. Оправдатели шли еще дальше. В жестокостях Тиберия виновны были, по их мнению, те, кто стал его жертвами, потому что они раздражали его, выводили из себя своим постоянным сопротивлением его благим намерениям и вечными кознями возмущали против него общественное мнение. Он вынужден бывал наносить удары для пользы государства и для собственной безопасности. Историк Веллей Патеркул, самый отъявленный льстец Тиберия, лживо сострадает Тиберию: Тиберий принужден был умертвить всех своих родственников (кроме самого худшего, Калигулы), потому что от них ему всегда грозили злоумышления. Тиберий возненавидел род человеческий потому, что первоначально его чересчур любил, — именно за дела, которые совершали во вред ему те, кто был ему обязан. За мрачную меланхолию, в которую он впал, ответственны эти его дурные советники или те, кого Тацит называет его жертвами.

Все подобного рода утверждения, без сомнения, очень натянуты. Конечно, Тацит начертал зловещие фигуры римских цезарей I в., но доказать его пристрастие, будто бы им в этих отталкивающих портретах проявленное, все же, никак нельзя: он не измыслил их собственной фантазией, но нашел их уже фиксированными пером старших историков, которые

дали ему материал, тщательно им изученный. Историки провинциальные могли отзываться о делах Тиберия одобрительно, как хвалили его и его преемников официальные надписи, высекавшиеся на памятниках вне италийских муниципальных городов, с благодарностью за его полезные для провинциалов мероприятия. Так, один видный писатель, еврей по происхождению, Филон Александрийский, отзывается о нем благоприятно; но Филон в правление Тиберия не бывал в Риме и имел понятие о Тиберии только издали. Другой же греческий автор, тоже еврей, Иосиф Флавий, хорошо знакомый с тем, что происходило в Риме, высказывается о Тиберии столь же отрицательно, как говорят о нем и другие. Впрочем, как мы видели, и сам Тацит оговаривается о положительном характере провинциальной политики цезарей.

То же самое можно повторить об аналогичных суждениях Тацита о Калигуле и Нероне: Тацит проверил данные, сообщаемые его предшественниками, и нашел их единодушно изображавшими цезарей тиранами; он не мог и не хотел скрыть выяснившейся перед ним тяжелой картины, которая жутким гнетом легла на его сознание историка, а в событиях правления Домициана он и сам наблюдал нечто близкое тому, о чем читал в книгах историков, писавших до него. Когда у него возникали сомнения по поводу сообщаемых ими особо жестоких актов императоров, он делал должные оговорки. Назвать Тацита пристрастным судьей мы не можем. Он писал правду, как она ему представлялась.

Одно только можно сказать, что правда эта раскрывалась перед познающим взором историка не во всей своей полноте. Ему ясны были личные, эгоистические мотивы, которые руководили тиранией цезарей, но в кровавых столкновениях, происходивших между императорами и римской аристократией, которая еще не слагала оружия, он не сумел подметить оппозиции против цезаризма, прибегавшей к пассивному сопротивлению и тайным заговорам. Императоры не стеснялись в способах защиты, видя, что оппозиция знати не встречает поддержки в других слоях населения Рима, Италии

и областных миров. Находясь в самом пекле жестоких столкновений, Тацит неизбежно должен был потерять перспективу, нужную для охвата всей совокупности событий и их сочетаний. Взоры и сердце поражались лишь картиной зверской самозащиты императоров, их репрессивными действиями, лившейся кровью жертв и страданиями их близких. Это и заслонило перед взором Тацита положительные процессы, совершавшиеся в жизни мира и дававшие императорской политике опорную силу при сокрушении сословных врагов. Им оказалось возможно сокрушать препятствия, не стесняясь выбираемыми способами.

Впрочем, политическая подоснова разыгравшейся распри затемнялась во взоре историка-наблюдателя тем, что и Тиберий, и все другие, следовавшие за ним, цезари преследовали казнями не одну только знать, но и людей всяких иных чинов, с нею так или иначе связанных; удары палачей поражали без разбора и средних людей, и простолюдинов, и это усугубляло суровость произвола и жестокость власти.

В пользу правдивости Тацита следует обратить внимание еще и на то, что он не обнаружил в своих писаниях заинтересованного предпочтения при изображении аристократического класса, к которому, он, правда, не вполне принадлежал по родовому своему происхождению, но в который он вошел по своему служебному поприщу: он дал много красок, чтобы нарисовать политический и нравственный упадок знати. От него не могло ускользнуть, что и сами ведь императоры являлись, в большинстве случаев, отпрысками ее корня. Далее, Тацит печалится ростом рабства, как тяжелого общественного явления, но вместе с тем не страшится нарисовать вредную социальную роль, какую играли в римском обществе вольноотпущенники.

Приведенные соображения успокаивают современного историка при изучении Тацита в порядке критики сообщаемых им известий и суждений о них. Авторы, которые писали после него, продолжали ту же традицию в оценке личностей и деятельности императоров от Тиберия до Нерона. Интересно, что

современник Тацита и приятель его, Плиний Младший, человек совсем другого склада, мягкий и веселый, с самого начала примирившийся с империей, склонный закрывать глаза на мрачные события, которые потрясали и возмущали строгого, серьезного Тацита, почитавшего принципы старой республики, разделял взгляды Тацита на предшественников Нервы и Траяна.

Тацит, конечно, был римский патриот. Он мечтал о росте славы своего отечества, но в нем нет узкого национализма, как у некоторых других видных римских писателей. Плиний Старший, например, высказывает мысль, что если бы варварские племена хорошо понимали свое благо, они сразу отдались бы во власть Рима.[1] Тацит же хорошо понимает, какие бедствия терпели завоеванные племена и страны от римского господства: речь, вложенная автором в уста британского вождя Калгака, подчеркивает в глазах римского читателя, как несправедливы и тяжелы притеснения, чинимые римлянами по отношению к покоренным народам.

Тацита можно назвать идейным «народолюбцем». Он прошел через греческое гуманитарное образование, и теории философского универсализма и увлечения образом общего мира и единства человечества ему не чужды. Они ему даже близки и дороги: они проходят оздоровляющей струей через всю его историческую работу. Он хвалит полководца Цериалиса за гуманный образ действий в Галлии после подавления восстания Цивилиса. Он гораздо справедливее оценивает врага римлян, вождя германцев, Арминия, чем, например, Тит Ливий Аннибала. Эти идеи наполняют его воодушевлением, и, в частности, его сознательная мысль всегда учит его соблюдать правду в деле историка.

Противники и критики Тацита любят выставлять на вид обнаруживающиеся в его сочинениях дефекты его личности: он не победил в себе всех предрассудков, связанных с наследственными инстинктами, противоречившими духовным основам

---

[1] Plin. Hist. nat. XVI, 1.

его мышления и нравственным убеждениям. У него проскальзывает иногда презрительное отношение к таким несчастным категориям людей, как гладиаторы, погибавшие жертвой жестокого своего ремесла. Порою он недостаточно сострадателен к рабам, когда они, по его мнению, заслуживают суровых репрессивных мер. Это были рецидивы старых понятий и чувствований, которые временами прорывались у него, но с которыми он постоянно боролся.[1] Иногда может также показаться, что у Тацита проявляется высокомерное отношение к народным массам, но последнее имеет место у него только тогда, когда охваченные дикой страстью массы эти превращаются в озверелую толпу, способную на кровавые насилия. Тацит по натуре был против жестоких стихийных движений, кто бы ни являлся в них действующим лицом, — единоличный-ли тиран, своекорыстная-ли аристократия, или проникнутая ненавистью к знати народная масса.

В сознании Тацита жил один, несомненно, тяжелый предрассудок — антипатия к еврейскому народу, сказывавшаяся в резких о нем отзывах. Но это не вызывалось слепым расовым антагонизмом (тем, что впоследствии образует антисемитизм), а было только рефлексом временного сочетания отношений, следствием только что прошедшей борьбы в Иудее, в связи с упорным восстанием евреев против Рима.[2] Это обостряло взаимные враждебные чувства иудеев и римлян, чему поддавался и Тацит. В то время как писал Тацит, самый Рим был уже заселен значительными группами евреев. По большей части то были бедняки, занимавшиеся самыми грубыми ремеслами, часто нищенствовавшие. В их среде господствовали беспокойные настроения, бродили волнения,

[1] Ann. I, 76; II, 85; XIV, 44.

[2] Не сгладились еще впечатления и воспоминания войны, окончившейся разгромом восстания и взятием Иерусалима (в 70 г. н. э.) Титом, сыном Веспасиана. Победителю дан был триумф, и в честь его возведена была на Велии, около форума, арка. На ней была изображена триумфальная процессия; в числе трофеев в шествии фигурирует семисвечник, захваченный из храма Соломонова. Такие изображения, разумеется, сильно мешали утверждению мирных отношений.

которые тревожили администрацию и вызывали в населении подозрительные слухи. Евреи, кроме того, отличались религиозной исключительностью: они сторонились культов и обычаев римлян, решительно их отрицая, что естественно возбуждало в римлянах недовольство и раздражение. Впрочем, когда Тацит рассказывает о жизни и нравах евреев (в главах со 2-й по 5-ю пятой книги «Историй»), то он говорит, напротив, совершенно спокойно и объективно, а религия евреев, их единобожие, даже близко соответствовало его собственным религиозно-философским симпатиям.

Грубые чувства воинствующего национализма были преодолены Тацитом в его сознательной душе образованием и твердой работой воли. У него, как и у других людей, даже выдающихся, вопреки мысли и разуму, вдруг иногда всколыхнутся стихийные отзвуки чувств и понятий, какие живут подсознательно в привычной обыденщине большинства, и неожиданно на мгновение прорвутся, обманув светлый ум. Тациту такие понятия, эмоции и инстинкты, как правило, были чужды, и указанные редкие уклонения не подрывают признания его правдивым, беспристрастным и справедливым историком.





ОБЩЕЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ТАЦИТА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Тацит был приведен к изучению прошлого впечатлениями от настоящего и желанием уяснить себе, как пришел народ римский, которого он привык считать великим и славным, в состояние того нравственного упадка, социального унижения и рабства, в каком он находился, когда Тациту привелось жить, и когда Тацит стал способен сознательно наблюдать окружающее, судить о нем и его описывать.

Историк основательно познал прошлое, полно и обстоятельно изучив оставленные им источники и внимательно обдумав и проверив собранный материал. Что же такое история, по понятию Тацита? Сам Тацит не высказывается об этом в общем виде, но можно выяснить его взгляды, всматриваясь в состав и строение его трудов и пользуясь отдельными замечаниями, какие бросаются им «вскользь» и «по поводу» того, что он изображает. Это — беглые сентенции и размышления, высказанные как нечто им пережитое, но они интересны и ценны, так как помогают понять нам, какими представлялись ему природа и задача (функция) истории в познании и в жизни.

Он не хотел ограничиться простым, внешним летописанием. Пройденная им школа уже поставила перед ним философские и политические идеи, и, став историком, он задался определенной принципиальной целью: он не желает быть только рассказчиком, а считает себя обязанным стать и истолковате-

лем того, что было, для объяснения того, что есть, и предуказателем отчасти того, что должно произойти в грядущем.

Первым вдохновителем Тацита, как историка, был общий учитель всех образованных римлян, Цицерон, доказывавший, что истории нет в римской литературе, но что она необходима для осмысленной жизни, прежде всего для исполнения гражданской обязанности. Цицерон требовал от историка не только достоверной правды о прошлом, но и понимания того, почему совершилось то или иное. Уже для Цицерона римское государственное устройство было не созданием, сразу выросшим из теоретической концепции индивидуального законодателя (вроде Ликурга или Солона), а плодом работы многих людей и поколений. Оно сложилось медленно, в силу борьбы равнодействующих общественных сил, которые не могли разрушить друг друга, а должны были, так или иначе, сочетаться вместе. Поэтому историку надлежит выяснить, когда и как составные элементы общественного строя соединились, какое место они занимают в нем и какую роль неизбежно играют, каждое в целом. Это уже было начало учения об исторической причинности, о правильности хода истории, которую требовалось познать.

Тацит читал и греков. У Полибия он видел попытку объяснить, как образовалось всемирное могущество Рима. Ему нравился и Саллюстий, разрабатывавший монографические темы и ставивший перед собой и более широкие исторические задачи, опять-таки с целью уразуметь внутреннюю связь между событиями. Так выросла у Тацита схема его трудов, как звеньев единой цепи.

Занимаясь «Жизнью Агриколы», он столкнулся с деспотизмом Домициана, причины которого коренились в событиях после смерти Нерона: усилия Веспасиана и Тита не могли прочно умиротворить государство. Борьба вновь возгорелась и вылилась в жестокую тиранию: отсюда замысел «Историй». Но события этих страшных лет, в свою очередь, последствие того, что совершалось в правление Тиберия и Нерона. Надо было, значит, изучить, понять и истолковать также и эти годы: так написаны были «Анналы».

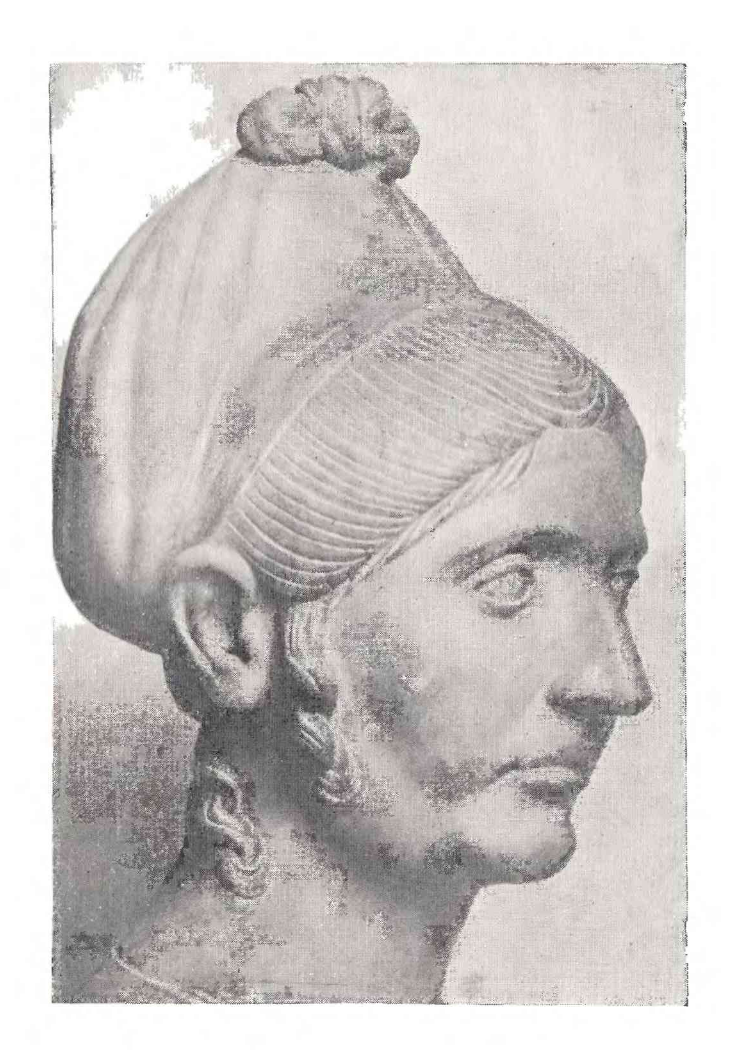
Очень вероятно, что Тациту почувствовалась тесная связь деятельности цезарей первой половины I в. с положением, в какое было поставлено государство переворотом Августа.

Не удивительно поэтому, если автор замыслил присоединить к плану своего труда и время основателя принципата. Там крылись корни всех отношений, развернувшихся при его преемниках. Наконец, вступление во власть Нервы и Траяна и обусловленный ими поворот к свету в течении событий давал историку примиряющую поправку к мрачным выводам из описанной эпохи с возможностью обосновать надежду на преодоление зла и на лучшее будущее. Тацит не дописал того, что задумал, и это лишило его возможности дать прозвучать завершительному аккорду, который окончательно определил бы полную сущность его исторического миросозерцания.

Вся серия исторических трудов Тацита образует единство, причем внутренней силой, скрепляющей в одно целое отдельные моменты и комплексы, является понятая им по-своему причинно-следственная связь. Не подлежит сомнению своеобразие тацитовой причинности. Когда мы читаем Тацита, нас притягивает к себе колоритность, «оцвеченность» его рассказа, живая подвижность рисуемой им картины. Это происходит не только от свойств его языка, но и от богатства ярко очерченных индивидуальностей, всегда являющихся участниками изображаемых сцен, изменение которых вытекает не из разнообразия мест действия: ареною развертывающегося рассказа чаще всего остается Рим; другие центры и края, в Италии и вне ее, служат только ее арьерпланом. Оживление, динамичность, многообразие дается сменою лиц, действующих около главного героя, который ставится посредине. Эти лица оттеняют его, создают движение около него. Изложение Тацита неизменно конкретно, и эта конкретность придает всей картине особый драматизм, вытекающий именно из богатства личных образов, в жизни и деятельности которых у него воплощается ход истории.

Активной пружиной, подвигающей вперед историю, Тацит выставляет человеческую личность в единичной инициативе и в сочетаниях. Причинность ищется и находится у Тацита в психологии, индивидуальной и групповой. Выводя на сцену лицо, главное или второстепенное, автор рисует всегда его психику. При появлении группы лиц он ищет психологических фактов, обусловливающих их сближение. От психологии личности он поднимается к психологии коллективной, к психологии семьи, класса, нации. Он строит попытки определить основные черты психологии человека вообще и психологию эпохи, как и психологию ее деятелей. Психологические размышления, анализ душевных свойств и их взаимодействий суть любимые задачи Тацита-историографа, его теоретические посылки.

Тацит — типичный историк-психолог, и строящаяся им причинность есть сцепление фактов преимущественно психологической связью. При этом им признается и понимается причинность индивидуальная, т. е. воздействие фактов одной психики на другую или другие в такой-то единичной (конкретной) и неповторимой комбинации. Процесс истории кует нарастающую цепь таких, однажды образующихся и образующих другие, колец, причинно связанных между собою. Так «индивидуализировано» понимание Тацитом хода развития римской истории в ближайшие к нему века. Республика погибла потому, что лучшие граждане, правящий нобилитет, потеряли свою доблесть (virtus). Они погрузились в алчность, эгоизм и разврат, и в таком состоянии морального, а потому и социального, падения оказались не в силах стойко руководить государством. Стало быть, Тацит, сам принадлежавший к «лучшим римлянам» и остававшийся верным их традиционным качествам, — ставит судьбы народов в зависимость от работы высшего класса населения, от квалифицированных групп гражданства, если они стоят на высоте своей миссии. Могущественнее всего здесь влияет мысль и воля вождей, крупных, выдающихся личностей. Они «ведут» общество (т. е., вернее, должны бы его вести) к благосостоянию, по-



Римлянка времени Траяна.

Ленинград, Эрмитаж

рядку, справедливости, и (во времена Тацита) еще и к просвещению. В самих же «ведущих» личностях и в их группах мотивами деятельности являются факты и акты сознания, и во главе их высшие категории, то есть творческий гений, открывающая новую истину идея, самоотверженная воля и благородный энтузиазм. Остальные люди, большинство, массы, следуют за ними и повинуются их руководству, признавая его необходимость. В качестве силы, управляющей ходом истории, Тациту представляется, таким образом, этико-психологический момент; построение автора объединяется моралистическим прагматизмом. Источник исторических перемен он видит в почине и руководстве господствующих правящих слоев, которые направляют государство к добру или злу, смотря по уровню умственных дарований и общественной нравственности своих главарей. Пожалуй, можно сказать: ведут общество, по мнению Тацита, господствующая потребность и культурные интересы господствующего класса.

Иными словами, Тацит, сам по роду чуждый нобилитету, был, однако, защитником цицероновского идеала республики, руководимой «лучшими» людьми в гражданстве, сгруппировавшимися в правящий класс и долженствующими действовать на пользу общую, для блага народа. Но необходимым условием для этого он признавал свободные формы учреждений (res publica libera). Свободу, как право гражданства, он объявлял основным элементом благоустроенного общежития. Такая оценка свободы ярко выдвигается, как было указано, еще в первом, молодом сочинении Тацита — «Диалоге об ораторах». Она сохранилась неизменной у него и в зрелые годы, когда он избрал призвание историка делом своей жизни. Он поставил себе задачей изобразить время, когда в рабство ринулись все, сенат и народ, потеряв всякую силу, всякое чувство достоинства, всякую активность и какую бы то ни было сопротивляемость. Для него это рабство свободного прежде народа, есть величайшее зло. Такие принципиальные симпатии и антипатии, конечно, должны были

вести к известному субъективизму в построении и освещении фактов.

Сам Тацит понимает, что при таком положении вещей было неизбежно утверждение в Риме единовластия, раз некому было отстаивать свободу и самостоятельность. Автор признает, что переворот Августа был встречен как благо и в центре гражданства и на периферии провинциалами: весь мир был утомлен междоусобиями и измучен эксплоатацией со стороны алчных и своекорыстных правителей. Историк не может этого отрицать. Но суровая совесть писателя не хочет примириться с падением республики, и взгляд опытного наблюдателя предугадывает и дальнейшие бедствия. Правители с высокой душой редко рождаются в развращенном обществе, а римское государство попало в руки жестоких и распутных деспотов. Последние подкупают подачками невежественную чернь, не встречая отпора в знатных, ищущих, во-первых, безопасности, а затем наживы и карьеры. Сенат, исконный оплот свободы и чести римского народа, теперь способен лишь раболепствовать перед властью, подавившей его авторитет.

В силу староримских точек зрения, Тацит не мог не почувствовать отчасти прогрессивных течений в мире, которые были поддержаны империей, что и укрепляло новый строй, готовый улучшить положение способных к производительной жизни обеспеченных слоев жителей завоеванных стран. Ориентируясь на их пользу, принципат мог рассчитывать на сочувствие деятельных групп населения периферии и при борьбе его со старой аристократией в центре. Но оценить положительное значение происшедших перемен Тацит в достаточной мере, все-таки, не мог. Новый режим окрашивался в его глазах только кровью его жертв и оргиями во дворце цезарей. Его кругозор мало заходит за пределы этого центра. Отзвуки новой прогрессивной работы в провинциях заглушаются в его ушах криками страданий преследуемых вблизи от него старых граждан, потерявших энергию к борьбе.

Тацит думает: «Первый долг летописателя — не оставлять в забвении акты доблести в прошлом и не скрывать порочных деяний, устрашая виновных позором, грозящим и их потомству. Но наши времена так были заражены и загрязнены низостью и лестью, что не только высокие особы искали охраны для своей знаменитости в трусливом низкопоклонстве, но вообще все консуляры, или бывшие преторы, и толпы простых сенаторов торопились, соревнуя друг другу, подавать голос за низости, превышающие всякую меру».[1] Прежде было иначе: Тацит вспоминает блестящие страницы Тита Ливия о подвигах героев старины. Это ободряющие примеры для подражания и утешения среди несчастий.[2]

Автор держится убеждения, что история — учительница жизни, и что велика сила добрых образцов, какие дают нам ее славные скрижали. Высокая задача летописания вызывает в нем почти религиозное воодушевление. Но избранная им эпоха бедна материалом для успокоения и назидания; ограничиться же обличением опасно: одно оно запугивает и угнетает, но не возрождает активной бодрости и не дает радости, поднимающей дух. Где же и в чем искать обновления? Тацит недоумевает, как же осуществить избранное им призвание. Он уже не верит, как Геродот, что народ его — избранник богов. Пути божества для него загадка: можно ли ждать от богов помощи или только кары? Идея провиденциализма (божественного провидения) не освещает ему течения истории. С другой стороны, он не разделяет и доверия Фукидида к спасительной силе общественных условий. Нормальный порядок разрушился, пал, а деспотизм не выведет мир из хаоса.

История рисуется потрясенной душе Тацита мрачной, страшной трагедией. Существуют ли средства спасти государство и общество?

Изучение истории привело Тацита к пессимизму. Это был плохой результат для мыслителя, желавшего быть «учителем

[1] Tac. Ann. III, 65.

[2] Tac. Hist. III, 51.

жизни» при посредстве аргументов, бравшихся им от истории. Она как будто отказывала историку в помощи. В самом деле: происходит ли кризис, или совершается катаклизм? Если первое, надо найти исход. Если второе, исчезает значение истории.

Тацита так и принято считать «пессимистом». У римлян в характере была склонность к такому настроению. Их отличает от жизнерадостных греков тенденция быть серьезными до строгости и суровыми до грусти. Они не умели улыбаться жизни, не привыкли ждать блага от будущего, в них не чувствовалось доверчивого отношения к людям. И в Таците были заложены основы такого же темперамента. Зрелища, какими наградила его ранняя юность, жутко питали в нем господство подобного настроения. Ему было около 12 лет, когда погиб Нерон. Он видел, как за четырнадцать месяцев насильственно сменилось четыре императора. Он видел, как сожжен был Капитолий, как Рим был взят римской же армией, возводившей на престол пятого императора, Веспасиана. На границах восставали варвары. Империя, могло показаться, действительно погибает.

Уже в первом своем сочинении «Об ораторах» общество римское Тацит изображал испорченным.

Последние годы правления Домициана показали Тациту, до каких чудовищных излишеств может дойти изверг, когда он обладает неограниченной властью и, отдаваясь хмелю жестокости, одержим страхом за себя. Такие впечатления не могут быть забыты. Нужно думать, что и у Тацита рана, причиненная всем пережитым в эти ужасные годы, не закрывалась никогда. Тяжелый взгляд на родную историю врос в его сознание; не изгладился он и тогда, когда настали при Нерве и Траяне лучшие времена. Тем, кто слишком легко предавался успокоению, он, должно быть, охотно повторял слова одного благоразумного сенатора, которые вложил сам ему в уста в своих «Историях»: «Кто вас уверил, что тираны не появятся опять? Что они исчезли, так думали после смерти Тиберия и Калигулы те, кто их пережил. Но поднялись

новые, еще более ужасающие и отвратительные».[1] Самый предмет его повествования «не мог примирить его с человечеством».[2] Древние мыслители не отказывались от издавна распространенной теории о невозвратно прошедшем в жизни человечества «золотом веке», и ныне перед Тацитом развертывался такой «железный век», что он мог только подтвердить историку правильность опасения действительно обратного шествия культуры или кругового движения времен. Нельзя не признать, что мало есть во всемирной истории более зловещих полос, чем время цезарей, преемников Августа, Юлиев и Клавдиев, хотя новыми историками и делались попытки реабилитировать их память. Конечно, не все сводилось тогда в истории римского мира к кровавой драме, разыгрывавшейся в столице и заслонявшей от глаз Тацита перспективу вдаль. Но то, что он описал как оргию разврата и свирепости доходивших до безумия деспотов, изображено им близко к действительности, и написанная им мрачная картина только углубила в нем горестные предчувствия.

Тацит взял на себя тяжелый труд, стремясь увековечить печальную страницу из жизни римского народа, но он не скрывает отвращения, которое она в нем возбуждает. Чувствуется, что минутами у него иссякает мужество, когда приходится ему живописать нескончаемую серию ужасающих сцен, повторяющихся одна за другою: «постоянные преследования, друзья, предающие друзей, судьи, недоумевающие, за что обязаны они произносить тяжкие приговоры». Автор клеймит палачей, но осуждение его обращается и на жертвы: слишком покорно они умирают. Он, пожалуй, радовался бы иногда, если бы встречал геройское сопротивление. Печально сравнивает он себя с историками, которые повествовали о великой старине. Перед ними лежали широкие темы, широкий расстилался перед ними простор. «Я же теперь, жалуется Тацит, заперт в тесных рамках, и труд мой не

---

[1] Tac. Hist. IV, 42.
[2] Tac. Ann. IV, 33.

доставит мне славы».[1] Ливий писал с радостью и гордостью. Этими чувствами горит его повесть «от основания города» вплоть до вершины величия римского народа. Ливий заявляет, что достиг уже славы и мог бы остановиться, почить на лаврах, но не в силах этого сделать, так как дух его не ищет покоя и труд питает и воодушевляет его.[2] С Тацитом было иначе: работа не питала его, как Тита Ливия, а истощала его силы. Он пишет не с радостью, а с состраданием, и одно только чувство долга будит его энергию.

Тацит подходил к изучению и описанию событий «после смерти Августа», будучи охвачен глубокой ненавистью к деспотизму. Последний представлялся ему центральной силой, действовавшей тогда и управлявшей в то время судьбами стран и народов римского мира. От такого подхода ужасы событий и злодеяний, творимых теми, кто был их совершителем, возможно, принимали у него преувеличенные размеры. Личное чувство вступало в столкновение с объективной точностью наблюдения, подавляющий гнет восстанавливаемой картины вводил суждение в ошибку. Установившееся в сознании Тацита пессимистическое настроение невольно заставляло его сгущать краски, и, пользуясь Тацитом как источником, современный историк должен, конечно, принимать это во внимание. Другие данные, документальные и исходящие от провинциальных авторов, проверят и дополнят его свидетельства, опровергнут его пристрастия, расширят суженную им сферу наблюдения, иногда (по субъективности мотивов) предвзятость освещения, и дадут понять, что Тацит говорит не всю правду о своем времени. Но такое сопоставление данных Тацита с другими источниками, ему противоречащими, покажет, что в последних есть, в свою очередь, своя неправда, которая может быть опровергнута при помощи Тацита, так как пессимистический взгляд на современность вызывал в нем скептическое отношение ко многому, что тогда выставлялось

[1] Tac. Ann. IV, 32.

[2] Цитировано у Плиния Старшего (Hist. nat. praef.) из недошедшей до нас книги Ливия.

за правду, и развивал в нем проницательность в изобличении лжи. Моммзен, который сумел вскрыть во внутренней истории принципата ряд положительных явлений, однако, сам же определенно подчеркивает, что нельзя верить официальным версиям и апологиям, идущим из правительственных документов или от панегиристов. Моммзен указывает, что то было время, когда слова и названия, применявшиеся к обозначению вещей, не соответствовали сущности последних, и сами вещи искажались придаваемыми им именами. Тацит хорошо видел и хорошо показал подобное лицемерие, лживую видимость, например, тогдашней правовой терминологии, практиковавшейся в языке правительственных актов цезарей, которые желали убедить общественное мнение в неприкосновенности республиканской свободы. Его же замечания не раз изобличают официальные фикции о наступлении всеобщего довольства, счастья и благосостояния и сознательно подрывают веру в искренность идущего будто бы от народов обожествления и культа императоров. Из данных, сообщаемых Тацитом, выясняется, что в рассказах о процветании Италии в годы правления цезарей имеется много угодливых преувеличений. Богатые города, например, торговый Тарент или близкий к Риму Антий, обезлюдели. Страну посещали неурожаи и хлебные кризисы. Хвалители шумели о победах легионов, на деле же повторялись поражения, и частые восстания в армиях свидетельствуют о распространявшемся среди войск недовольстве.[1] То был важный симптом ослабления твердой охраны на границах с варварами. Историка тревожит угроза германской опасности.[2] Рядом с этим ему бросается в глаза вырождение не одной знати, но и свободного населения вообще, и беспокоит непомерный рост рабства и неподобающее значение, приобретаемое вольноотпущенниками. Тацит не ограничивается изображением тирании императоров, но реалистически вскрывает и те социальные бедствия, какие нарушают цельность и убедительность оптимистической картины

[1] Tac. Ann. III, 40.
[2] Tac. Germania. 33.

прогрессирующего благосостояния империи, рисуемой ее сторонниками.

Обвинительный акт, произносимый Тацитом, направляется, таким образом, не на одних лишь государей-тиранов, но громит и поведение знатных, апатию общества, приниженность народа: все это ведет к расстройству государства. В высших классах быстро потухает оппозиция, бывшая, впрочем, и с самого начала подпольной. Все большее число из ее главарей сближается с императорами. Они становятся послушными органами развивающегося монархического строя, и цезаризм идет навстречу знати, превращая последнюю в свое служилое сословие. Сенаторский класс, сам подчинившийся единоличной власти, потом ее же подчиняет интересам аристократии, снова занимающей господствующее положение. Знати удалось «повернуть» принципат к себе и «отвернуть» его от союза с более широкими классами во всем мире, от поддержки муниципального самоуправления в провинциях и новых хозяйственных форм. Относительно демократический (в первое время) принципат шел фатально к аристократической монархии. Такая перспектива полного забвения чувства свободы и гражданского мужества в настроении ответственных групп общества не могли излечить Тацита от пессимизма, открыть его сознанию социальный, но также и идейный и моральный выход для государства из крушения. Между тем, только открытие спасающего пути могло дать Тациту смысл и оправдание его исторической работе в последнюю четверть века его жизни. Ему необходимо было вывести из всего своего личного, и гражданского, и исторического опыта урок, чтобы начертать план, как итти к лучшему будущему. Нельзя было умереть, оставив потомство без ободряющего, светлого завещания.

Тацит оформлял свои последние произведения, пользуясь в годы успокоения государства при Траяне благом «частного досуга».[1] Именно в это же время мог он посвятить свои силы,

[1] То есть возможностью углубляться в лично избранную им серьезную работу, которая становилась для него основной задачей жизни.

кроме специального труда историка, также работе мысли и над общими вопросами бытия, мира и жизни. И он должен был этим занятиям отдать все усилия своего природного гения и все напряжение своей редкой энергии, чтобы свести результаты всего, что было им пережито, к общему синтезу. Итоги его должны были показать и ему самому, и людям конечную истину, благо и смысл будущего после потрясения ближайшего прошлого. Каковы же были в таком завершающем деле жизни достижения Тацита?

Когда мы читаем заключительную главу обширной статьи о Таците в новейшем издании «Истории римской литературы» Шанца-Гозиуса,[1] то выносим впечатление, будто полученные Тацитом принципиальные выводы, при всем его крупном писательском таланте, все же, богаты дефектами и пробелами: в них отсутствует единство и нет законченности. Критик тонко и выразительно отмечает высокие и своеобразные литературные качества автора, но в отношении общих идей и историографических взглядов главной чертою он выдвигает в Таците нескончаемые внутренние противоречия при суждении о событиях, людях и высказываемых понятиях. Строгое суждение Шанца о Таците могло бы отлиться в следующего рода приговор: блестящий, оживленный, но колеблющийся в многомысленных утверждениях автор.

Нельзя не возразить против такой оценки, не убедительной и недостаточно обоснованной. Не то, чтобы можно было отвергать наличие противоречий или некоторой иногда непоследовательности в суждениях у Тацита и доказывать, что у него нет пробелов во взглядах, неясности в ответах на иные из коренных вопросов мировоззрения, но все такие дефекты, не допустимые в философской системе, постоянно встречаются у историков в большом и сложном повествовании.

Тацит стремился постичь тайны человеческого существования, какие ему, как писателю, желавшему быть «учителем

---

[1] Schanz-Hosius. Geschichte der römischen Litteratur, т. I. München 1935.

жизни», представлялись подлежащими разъяснению: именно такова была обязанность историка-моралиста, античного историка вообще. Додуматься до положительных ответов на все «роковые» задачи, ему не удалось, но можно восстановить основы миросозерцания Тацита по главным проблемам познания и опыта. Его мучил общий вопрос, предопределяющий условия существования людей: находится ли жизнь человеческого рода под управлением вечных законов, или судьбы его текут по воле случая? Автор склонен стать на первую точку зрения; но как узнать сущность этих законов? От религиозной веры отцов во власть богов над людьми и в способы достигать благосклонности небожителей молитвой и жертвами, умилостивлять их гнев дарами и открывать их волю гаданиями, улавливая ее по приметам или особым знамениям, он отошел, как человек, вкусивший от философии. Бытие богов он признавал, разделяя в этом отношении взгляд стоиков, к которым из философов стоял он ближе всего: это было религиозное учение по сравнению со скептицизмом, не говоря уже об атеизме эпикурейцев. Бесконечное множество богов и богинь, почитавшихся в древнем культе латинян,[1] он склонен был, как и стоики, толковать в смысле символов для различных божественных начал или свойств божества. Его самого клонило к допущению единого верховного существа, правящего миром.[2] В этом можно убедиться из намеков, рассеянных в разных местах его сочинений, хотя ясных высказываний на этот счет он и не дает.

[1] Современный Тациту сатирик (Петроний) говорит, что в народной фантазии больше богов, чем людей. Они обслуживали всевозможные нужды людей, если те поклонялись им.

[2] Он сочувствует вере евреев в единого, духовного, вечного, всемогущего, неизменяемого, всесовершенного бога. Его антипатия к христианам происходит, возможно, от незнания сущности их религий. Он легко поверил темным слухам, которые о них распространялись. Римлян образованных классов его времени отталкивало главным образом отчуждение христиан от всей культуры древности, как и исключительность евреев. Однако друг Тацита, Плиний, уже убеждал Траяна в безвредности христианской религии.

Тацит не сообщает своих взглядов на природу божества. Здесь мысль его приближается к агностицизму: «не знаем». Точно так же ему неясно отношение божества к миру и людям: правит ли человечеством справедливое, но и милостивое божество, которое печется о благе людей? Когда он всматривается в течение истории, ему, при общем пессимистическом взгляде на человеческие судьбы, кажется более вероятным образ силы мстительной и карающей, чем милующей и благодатной. Самое лучшее, если он остается далеким и равнодушным. Опираться человеку, по его понятиям, следует больше на собственный разум и добрую волю, чем на помощь божества. Однако зависимость человечества от божества представлялась ему существующей, и участь отдельной личности рисовалась ему предопределенною. Но как человеку открыть или отгадать свою судьбу? Тацит допускает гадание по звездам и ясновидение, но не очень верит проницательности и добросовестности лиц, выставляющих себя вещунами. Ему кажется, что предначертание рока, жребий (fatum), а не слепая случайность владеет жизнью людей и руководит ходом истории. Когда мы говорим о случае, это происходит вследствие нашего невежества или слабости нашего мышления. Мы не можем многого предвидеть, потому что на земле происходит немало чудесных явлений. Надо быть готовым и к счастью, и к ударам судьбы: все это стоические призывы.

Тацит, вместе со стоиками, верил в бессмертие личности. Об этом идет речь у него в «Жизни Агриколы» (гл. 46). Обращаясь к умершему, Тацит говорит: «Если уделено за гробом для душ благостных людей достойное им место; если, как думают мудрецы, высокие души не исчезают вместе с телом, то покойся в мире и призови нас, которые составляем дом твой, отвлекая от беспомощных жалоб и малодушных рыданий, к созерцанию твоих великих качеств, которые не позволительно сокрушенно оплакивать. Почти себя лучше удивлением и неувядаемыми хвалами. Будем стараться следовать по стопам твоим, если мы окажемся в силах. Так мы

поистине воздадим тебе честь, исполним долг любви близких тебе. Я хотел бы внушить дочери твоей и твоей супруге, что так должно принести дань памяти твоей, их отца и мужа. Пусть вспоминают почитанием все твои действия и все твои слова, пусть запечатлеют в себе образ твоего духа более, чем тела, потому что черты лица человека бренны и смертны, красота же духа пребудет во век». Автор утешает своих близких верою в бессмертие духа почившего в мире ином, причем прибегает к условной форме речи лишь в виде ораторского приема, чтобы подтвердить словом мудрецов то, в чем сам убежден вслед за ними. Далее он переходит к прославлению умершего памятью и благодарностью, длящейся на земле в умах сограждан, и радуется тому, что написанною им биографиею Агриколы он закрепил его имя и честь также и в земном мире. Когда Тацит говорит специально о судьбе душ лучших людей, то это не потому, что он верит в бессмертие только таких душ, но чтобы подчеркнуть, что потусторонняя жинь зависит от того, как прожито земное поприще. Заслугою для получения блага за гробом является жизнь в добродетели. Поэтому в работе Тацита над построением миросозерцания вслед за проблемой религии ставятся вопросы этики. Здесь Тацит отступает от стоицизма, сохраняя для себя право на свободные решения по основным проблемам морали.

Стоицизм был философией достижения индивидуального блага и счастья, строившей путь для благополучия личности. Этот путь, как мы сейчас указали, есть жизнь в добродетели. Для Тацита предпочтительны добродетели всеобщественные: это — любовь к отечеству (Hist. I, 15), предпочтение общего блага частному (Ann. VI, 16), активная деятельность (Agric. 42), противополагаемая праздности, любовь к правде, твердость и стойкость (Hist. IV, 5), наконец, умеренность, воздержание (Agric. 44). Выходит, что гражданский долг (officium publicum), — высшая добродетель в старом римском этическом кодексе — пребывает в центре общественного идеала Тацита. Он остался на почве цицероновой правовой

концепции. С нею тесно связана была идея народа и его пользы. И юристы-философы провозглашали, что «благо народа — высший закон» (salus populi suprema lex). Служение государству требовалось как обязанность, и, при установке ее плана, необходимо было разобраться в вопросе, какая же форма государства осуществляет правду и благо. Тут-то и зарождался идейный и моральный конфликт.

Писавшие о Таците историки и литераторы часто обнаруживали склонность изображать общественные взгляды Тацита как построение эклектика, даже оппортуниста, искавшего лишь достижимого практического выхода из принципиально трудного для совести момента, чтобы можно было приспособиться к неумолимо утвердившемуся в римском мире государственному порядку.

В старых работах о Таците его обычно считали римским «старореспубликанцем», сурово замкнувшимся в установленной идеологии и ныне разочарованным в возможности вернуться от зла к добру. Но в более новых работах о нем выставляются уже несколько иные взгляды. Так, Гастон Буасье утверждает, что Тацит не только понимал, что возвратить республику невозможно, но будто бы никогда и не был республиканцем,[1] что он всегда был противником крайних учений, придерживаясь умеренных выводов, и что хотя он и обличал тиранию, но в полном смысле принял империю.[2] То же подчеркивается и в руководстве Шанца-Гозиуса, выставляющего на вид, что «все утопическое» было для Тацита чуждо и неприемлемо. Одним словом, критики теперь стремятся изобразить историка покладистым примирителем, призывающим только к спокойствию. Полагаем, что и такая ориентировка характеристики ведет опять-таки к искажению духовного образа и темперамента Тацита. Вопрос нуждается в пересмотре.

Тацит сообщает о приемлемой для него классификации

[1] G. Boissier. Tacite, p. 156.

[2] Автор заключает это из слов Тацита в 3-й главе «Агриколы», где Тацит заявляет, что Нерва согласовал вещи до тех пор непримиримые — принципат и свободу (principatum ac libertatem).

форм государственного устройства в последний период своего писательства, что нам особенно интересно.

Все национальности и города управляются либо народом, либо знатью, либо одним лицом.[1] Автор прибавляет, что называют еще один тип государственного строя, в котором элементы только что названных видов сочетаются вместе, и некоторые больше всего одобряют этот последний тип. Имеется, очевидно, в виду мнение Полибия, греческого историка времен Пунических войн,[2] поддержанное Цицероном.[3] Но автор замечает, что этот порядок легче хвалить, чем установить, а если он и установился, то обычно держится непрочно.[4] Это тот самый порядок, который царил в Риме до империи и который сам Тацит именует «республикою» в переносном смысле — «народное правление», которое он хотел бы видеть навсегда утвердившимся.[5] Значит, существуют три формы государства: демократия, олигархия (или аристократия) и монархия. Так группировал эти формы еще Аристотель; Полибий прибавил четвертую форму, смешанную, которая осуществлена была римлянами.[6]

Хотя Тацит и не говорит, какое устройство самое, по его мнению, лучшее, но он все же высказывает по этому поводу размышления, которые подводят нас к его политическим вкусам. Вот что читаем мы у него: «Встарину, когда народ (наш) был силен и сенат могуществен, необходимо было знать природу большинства и понимать, какими путями надо руководить им с разумом. И тогда те, кто основательно изучил особенности и настроения сената и лучших людей, признавались понимающими дух времени и мудрыми. Теперь, когда обстоятельства переменились, и в Риме власть находится не иначе, как в руках одного лица, надобно хорошо ознакомиться

---

[1] Tac. Ann. IV, 33.
[2] Polyb. VI, 3.
[3] Cic. De re publ. I, 45, 54, 69; II, 41.
[4] Tac Ann. IV, 33.
[5] Это ясно видно, например, из «Аннал» I, 3.
[6] Тацит иллюстрирует: консульская власть — монархический момент, сенат — аристократический, народное собрание — демократический.

с положением вещей и оповестить о них, ибо мало есть людей, которые различают собственным разумом, что честно, а что постыдно, что полезно и что вредно. Большинство научается примером того, что происходит с другими».[1]

Разве нельзя вывести из этих замечаний, чему автор больше сочувствует: республике или империи? Думается, первая рисуется ему предпочтительнее. Что говорит Тацит дальше? Изучив, что происходит в современности, полезно рассказать об этом читателям, но тяжело об этом писать. «Описания стран и народов, превратности бытия, смерть знаменитых вождей — это привлекает и поддерживает внимание читающих, но мне приходится говорить лишь о зловещих деяниях, вечных преследованиях, предательских дружбах, неправых приговорах, о процессах, которые все кончаются одинаково, и те, кто меня читает, находят лишь однообразные и утомительные рассказы». Высказывается и еще одно соображение о трудности ситуации историков времени принципата перед их читателями. «Многие из тех, кто потерпел казнь либо злодеяние от Тиберия, оставили потомство; даже если семьи их пресеклись, остаются другие, похожие на них по нравам, которые вообразят, что преступления других, умерших, — это упрек, брошенный им в лицо. Слава, даже добродетель, обижает их; они осуждают то, что не похоже на них». Очень содержательна эта 33-я глава IV книги «Аннал»: в ней очень ярко чувствуется, что симпатия историка направляется к прошлому, а не к настоящему, к республике, а не к империи. Различные другие высказывания Тацита уточняют и углубляют такое впечатление, превращая его в твердый вывод.

Тацит говорит, что Нерва стремится восстановить свободу, не отказываясь от принципата. Мы уже знаем, что свобода для Тацита — высшее общественное благо, и он жалуется на положение писателя во время империи. В республике историк имел более широкое поприще, теперь же: «мой труд стеснен

[1] Tac. Ann. IV, 33.

(in arto) и бесславен».[1] Свобода лучше всего достигается при «народоправстве».[2] Такое признание, безусловно, показывает, что Тацит стоял за республиканскую форму правления, как приближающуюся больше других к правде и справедливости. Ту же полосу в истории римского народа, которую судьба обрекла его изображать, он называет годами рабства, а принципат он отожествляет с монархией: «теперь в Риме правит один». И картина событий «от смерти Августа» нарисована им как разлив беспросветной тирании. Стало быть, перед ним ставится вопрос: как возвратиться от рабства к свободе, т. е. к республике, ибо рассчитывать на непрерывную смену добрых государей, которые будут радеть о праве и благе народа, можно только в мечтах.

Из печального опыта изучения протекшей истории принципата историку ясно, что только республика может осуществить народовластие. Но как должна она быть организована? Сам Тацит, родившийся при Нероне, республики в Риме не видел, не мог слышать и личных рассказов от старожилов. Ему оставалось судить по письменной традиции, по устным преданиям и по трактатам, подобным политическим сочинениям Цицерона. Из различных экскурсов самого автора видим, что его мысль мучительно направлялась от страшной действительности ближайшего прошлого к наболевшему вопросу: как избавиться от зла.

В республику широко демократическую Тацит не верит. Из красок, которыми он описывает народные массы, можно заключить, что он не полагается на их способность устраивать свои судьбы. Это сила невежественная и темная; как будет она руководить собою, если она подчиняется только слепым инстинктам? Наблюдать психологию масс в действии Тацит мог только на примере движений римской городской толпы. А эта (по его суждению) толпа легко превращается в «чернь» (буйное множество), силу разрушения, а не созидания.

---

[1] Tac. Ann. IV, 32.
[2] Op. cit., 42

Он изображает ее выступления в мрачных красках.[1] Народ сам не знает, чего он хочет. Иногда он будто стремится к переворотам, но вместе с тем и боится их.[2] А впрочем, простой народ, в силу скромности своего положения, бывает часто бесстрашнее знати.[3]

Впечатления, воспринимавшиеся Тацитом от современной ему римской толпы, влияют и на его ретроспективные суждения о гражданском уровне былой республиканской народной массы. По его мнению, эта масса только слепо служила вожделению честолюбцев, начиная от Мария, за подкуп и, в конце концов, продала республику цезарям, т. е. явилась предательницей свободы, доблести, национальной чести. Она была лишь послушным орудием эгоизма политических вождей.[4] Тацит не мог очень жалеть, что Тиберий лишил народные собрания остатков законодательных избирательных прав. Он не верил в самостоятельность народа и в способность его самостоятельно строить свое благо свободными усилиями.

Как кажется, Тацит ближе всего стоит в своих симпатиях к аристократической республике. Он полагает, что лучшее, сознательное меньшинство наиболее способно твердо и правильно направлять руль государственного корабля. Ему и мерещится, когда он олицетворяет в воображении строй цветущей Римской республики, что тогда правили «оптиматы» — «лучшие» в подлинном смысле слова.[5]

Однако, ему, видимо, ясно представлялось также, что порядок, который был разрушен цезаризмом, являлся жестокой, тесной и своекорыстной «олигархией» и что государство может сохранить равновесие своих сил только под единоличною властью. Поэтому обязанность императора заключается, между прочим, и в том, чтобы найти достойного

[1] Некоторые критики считают Тацита замечательным психологом толпы, но картины этого рода у него всегда отрицательны. Это именно выступления черни (vulgus).

[2] Tac. Ann. XV, 46.

[3] Op. cit., XIV, 60.

[4] Op. cit., III, 27.

[5] Optimus значит «лучший».

преемника своей старости. Думается, такова была мысль Тацита. При колоссальности римского мира, бесконечном разнообразии состава его населения, массе противоречивых интересов, которые требовалось согласовать, какая же политическая организация и на каком социальном фундаменте могла бы объединить все целое прочным, разумным и справедливым коллегиальным устройством? Надлежало покориться необходимости: Риму требовалось руководство, исходившее от единой воли. Но, судя по тому, как Тацит изобразил принципат, он ненавидел этот общественный строй и приписывал ему, как системе, причину бедствий, которым подверглось общество, римский народ, под властью своих вождей. Тацит вынужден признать, что интересы мира и общего успокоения требовали принятия переворота; при этом естественно желать хороших императоров, но приходится претерпевать всяких, утешаясь тем, что честные, даже великие люди могут появляться и существовать и при плохих государях. Однако, покорность не есть достойный, тем более — активный, выход. Моммзен говорил, что «Тацит был монархистом поневоле, можно даже сказать, с отчаяния».

Монархистом Тацит не был никогда: именно потому он и остановился в трагическом недоумении перед необходимостью признать неизбежность единовластия для своего времени. Но как определить линию своего поведения и собственной деятельности в рамках монархического государства? Положение принципиального римлянина, чувствовавшего себя противником утвердившегося государственного строя, оказывающегося единственно возможным, было чрезвычайно трудно. Оно могло представляться безысходным для такого человека, как Тацит, подчинявшегося нравственному императиву. Путей для возрождения государства сейчас не найти: остается искать перспективы достойной жизни лишь для отдельной личности. Но и это было далеко нелегко в той культурной среде, в которой воспитывался Тацит. Как же было выработать людям, подобным Тациту, программу поведения, согласную с твердыми общественными и этическими понятиями? Дорога

тайных заговоров казалась низкою и недопустимою моральному ригоризму таких людей, а тяготевшая над ними античная нравственная идея «верности государству» мешала им стать открыто под революционное знамя. Солидаризироваться с готовыми к восстаниям элементами из рабских масс или воспользоваться ими они не могли по социальным мотивам, да эти массы и не пошли бы с ними вместе, силы их были разрознены и поднялись бы ужасные, кровавые междоусобия. Жизнь лиц с подобными убеждениями, с такими нравственными понятиями и с таким темпераментом, каким обладал Тацит, была проникнута тяжелою личною драмою: совесть упрекала их в содействии деспотизму непротивлением его жестокостям. Читая написанную Тацитом биографию Агриколы, мы хорошо чувствуем, что эта мысль жестоко волнует автора. Он пытается «покориться судьбе» и видит, что приходится переносить пороки и злые дела дурных государей, подобно тому, как приходится покоряться неустранимым бедствиям, причиняемым грозными явлениями природы.

Тацит восхищается героизмом людей, твердо держащихся своих убеждений. Он горячо сочувствует, при описании преследований тиранами членов оппозиции, наиболее стойким и смелым, не одобряет робко подчиняющихся актам произвола и насилия или находящих исход из тяжелого конфликта в самоубийстве. Особенною любовью дышат его отзывы о тех лицах сурового и высокого мужества, которые являют себя решительными противниками цезаризма. Непоколебимые в борьбе они шли на смерть, как на завершение подвига жизни.[1]

Историк преклоняется перед несокрушимостью таких исключительных натур, но не решается призывать других к подражанию им. Подвиг их не приводит к желанной цели — превосходные люди погибают напрасно. Тацит чужд фанатизма, он стремится уберечь лучших от бесполезных страданий, удержать их от бесплодного самопожертвования.

[1] В этом смысле интересно похвальное слово, посвященное Тацитом Гельвидию Приску, см. Hist. IV, 5.

Он хотел бы помочь людям найти средний путь между упорным, но бесплодным сопротивлением, которое само себя губит, и раболепною угодливостью, которая себя унижает, — путь, одинаково далекий и от низости и от опасности. Это бесконечно трудно осуществить. Тацит обращается к староримской добродетели, рекомендуемой предками — сдержанности или умеренности. Образцом такого поведения он выставляет своего тестя Агриколу. Идейный республиканец, Агрикола силится честно сотрудничать с империей в тех формах работы, которые кажутся ему допустимыми с точки зрения честности. Отыскивает Тацит еще и другие примеры и приводит их в дальнейших своих трудах рядом с самоотверженными актами тех, кто, считая режим цезаризма фатально осужденным историей, всё же, предпочитал стесненной деятельности гордую смерть.

Может быть, в связи с такими советами Тацита избегать прямолинейно резкой борьбы с властью, изучавшие его историки находили в нем признаки капитуляции перед принципатом. В действительности, то были лишь проявления болезненного искания нравственно допустимого выхода из невыносимого столкновения честного человека с произволом и преступлением, грозившими ему каждый день. Сам автор, однако, не выдерживает предлагаемой им линии поведения. В тоне его изложения постоянно звучит разлад между благородными стремлениями безукоризненно нравственного и искреннего человека с рассудочными доводами благоразумного политика. Вот почему в произведениях Тацита разлита грусть. Только это не безразличная меланхолия усталой старости, а горячее волнение оскорбленного и любящего сердца и волевого характера, полного жизненной энергии. Образованный и верящий в силу знания, Тацит искал в философии не одного только утешения, но и света, открытия истины, — хотя римский ум обычно и относился к философским теориям с некоторым предубеждением.

Больше всего подходила к идейному направлению и моральной склонности Тацита стоическая доктрина, предла-

гавшая своему последователю выработку твердой воли в жизни и бесстрашия в смерти. В том трагическом кризисе, в который попал Тацит в результате опыта своей жизни, это учение наиболее соответствовало непреклонной основе его духа. Рисовать его оппортунистом, готовым приспособляться к обстоятельствам, требующим компромиссов, заставляющим кривить душой, значит искажать его образ. Встречающиеся у него разногласия с самим собой не признак неустойчивости его мнений и решений, а горький симптом кипевших внутри него и разрывавших его на части, казавшихся непримиримыми, жизненных противоречий. Стоицизм, который учил человека, как обрести счастье, или, по крайней мере, равновесие личности достижением идеала добродетели путем самоотстранения от постоянной связи с порочным миром, мог привести к безнадежным выводам, безусловно отрывавшим философа от общества остальных людей. Стоический мудрец мог превратиться в сухого гордеца, самодовлеющего в своем кажущемся совершенстве и спасающегося под бронею равнодушия и неуязвимости в окружающем зле. Но он мог дать человеку и закал, который помог бы ему устоять от соблазнов и огорчений, не теряя живого источника деятельных связей с жизнью и людьми. Таким образом, стоическое учение не иссушило Тацита, не замкнуло его в себе, не превратило в камень. Он не принял характерного для стоиков презрения к миру. Стоицизм подействовал на него струею гуманности, которая также была присуща этому философскому учению как некий путь к добру. Стоики проповедывали гуманность не как любовь, а только как сострадание, но в чуткой душе оно будило любовь и берегло ее от узкого догматизма доктрины в крайностях ее выводов. Из трактатов стоиков Тацит только живо почувствовал предвкушение «общечеловечности» среди античных национальных и сословных предрассудков и застарелых религиозных суеверий, от которых и сам он был не вполне свободен и которые в отдельных случаях, может быть, бессознательно, проявляются в его писаниях, как диссонанс общим вдохновениям, какими они полны.

Разочарованный пережитыми впечатлениями от действительности, но в надежде на близкое лучшее будущее для родного государства, Тацит через философию открыл для себя источник, возрождавший равновесие его духа. К нему вернулась или, может быть правильнее — вновь родилась в нем, вера в человека, именно в форме преклонения перед великою силою духа, которую может развить в себе человеческая личность, выросшая близко к произволу императорской власти.

Но вся сенаторская знать в том освещении, какое дается ей Тацитом в годы цезарей, — может ли она показаться ему способною и достойною стать высшим правительственным сословием? Когда познакомишься с тою характеристикою, какую ей дал Тацит, то хочешь с уверенностью ответить на этот вопрос отрицательно. Стало быть, Тацит, как идейный человек и честный гражданин, отступал от солидарности с тем классом, к которому он ближе всего стоял по своему социальному положению и интересам. Совокупность обстоятельств, в каких находилось государство, и его личные искренние убеждения, оставляли его в одиночестве. Демократия, как активная форма государственного устройства, рисовалась ему недостижимым идеалом в силу особенностей современного ему римского общества. Аристократическая республика не отстояла себя как политический порядок, который большинству гражданства полезно было бы поддерживать, да и сама знать «отдалась в рабство». Что же оставалось? — Единовластие. Тацит прямо сказал в прологах к основным сочинениям, что принципат утвердился, потому что республика не могла дальше существовать за полным упадком гражданственности во всех классах. Провозглашенный императором после убийства Нерона, старый сенатор Гальба в своей речи к усыновляемому и избираемому им себе в преемники Пизону, высказывает ту мысль,[1] что самым справедливым было бы восстановить республику, но что при огромных размерах государства это невозможно. Тацит — пессимист, но его

[1] Эта мысль вложена Тацитом в уста Гальбе. Hist. I, 15 и сл.

глубокая вера в возможность торжества могущественной инициативы человеческой личности, проникнутой решимостью служить добру, открывает ему цель изучения истории, а отсюда и смысл самой жизни. Эта вера борется в душе Тацита (тому свидетельство сменяющиеся волны настроений в его трудах) с безнадежностью отчаяния и, вселяя в него энергию, дает ему возможность увидеть в деле писателя гражданский долг в такой момент истории, когда в существование таковопо перестает верить даже философ и когда мудрец говорит: ищи мир и смысл в глубине своего духа. Тациту ясно, что историку эпохи империи трудно воздвигнуть своему времени такой блестящий памятник, какой мог создать летописатель славных деяний республиканского прошлого:[1] автор, несомненно, имеет в виду Тита Ливия, творения которого приводят его в восторг. Но, так думает он, можно выполнить много важного и здесь. Пусть повествователь мрачных событий века цезарей прославляет доблестных мужей, образы которых светятся и в эти ужасные годы. Пусть выставляет к позорному столбу порочных и злых, чтобы воспитывать новые поколения мужественных и честных деятелей.[2]

Наблюдая тиранию, которая стремится поработить сенат и народ, привести к молчанию просвещенных и возвышенно настроенных людей, писатель видит, как успешно зло овладевает учреждениями и группами людей, долго служивших оплотом доброй традиции и справедливых начал. Но теперь он замечает и якорь спасения, на который как бы указывали уже стоики, но на котором они не смогли устоять. Рассказав о страшных преследованиях, которым подвергались при Домициане (он сам пережил это личным страданием) люди свободной мысли и честного дела, историк гордо бросает деспотизму смелый вызов: деспотизм напрасно надеется заглушить голос народа римского, поработить свободу сената и — самое важное — задавить сознание человеческого рода,

[1] Tac. Ann. IV, 32.

[2] Op. cit., III, 65

уничтожить людскую совесть (conscientiam),[1] силу независимой мыслящей личности: сила эта воскреснет, сознание это вновь оживет.[2] Приведенные мысли выдвинуты еще в первом историческом труде Тацита. Они затериваются как лирический, по внешности, возглас в наименее замечательном из сочинений Тацита, в «Агриколе», а между тем они освещают нам внутренний смысл всей его исторической работы. Этот девиз — твердая опора духа и защита от пессимизма, освобождение от него. Интересно, что эти мысли, высказанные в «Агриколе» Тацитом, не были должным образцом выдвинуты ни одним из исследователей дела великого римского историка.

Указанную здесь черту, т. е. веру в творческую силу сознательной личности как носительницы истории и ее движения, можно назвать главным признаком ярко и оригинально выраженной «индивидуальности» Тацита в его «римском» мировоззрении, и для того, чтобы понять Тацита, необходимо в эту его черту вникнуть.

Тацит согласен со стоиками, что источник спасения — в совершенствовании личности, но идеал такого совершенства он видит не в уединенном самодовлении, «атараксии», невозмутимости духа и победы над страстями и страданиями, и даже вообще не в счастии, к чему стремились привести личность через добродетель стоики, а в полноте развития умственной и нравственной природы человека. Высшую же, можно сказать, «человечность» он строил не из одних интеллектуальных и индивидуально-этических моментов, но признавал строгую необходимость также и общественной (альтруистической) деятельности. Любовь к людям вместе с ненавистью ко всему злому, разрушающему процветание общежития, представлялась ему путем к возрождению доблести. Чем больше будет в народе таких высоких сознанием единиц, тем прочнее установятся основы благосостояния общества.

[1] Tac. Agric., 2.
[2] Op. cit., 3.

Не знаю, убедительным ли покажется тем, кто хорошо знает Тацита и культуру эпохи, начертанный мною его образ как историографа и этико-политического мыслителя, но мне думается, что, собирая рассеянные у него по страницам его писаний намеки, беглые мысли и философские отступления, можно вывести доподлинно, что именно такова была у него концепция истории и что именно так слагалось его общественное миросозерцание.

Даже если все это выражалось у Тацита в виде отдельных «домыслов», то из полупродуманных порывов воображения мог в совокупности их образоваться фундамент того, что будет потом именоваться «теорией прогресса», а последняя займет большое место в том, что позже, в новое время, назовется «философией истории». Фундамент же, то есть та материальная база или социальная сила, на почве которой растет это «сознание человеческого рода» и крепнет воля совершенствующейся личности, строится подсознательными коллективными процессами истории, значение которых будет понято и выдвинуто только впоследствии. Они чувствовались Тацитом, но ясное их понимание заслонялось от него наблюдением вершин человеческого сознания, которые больше всего поражали его тонкое психологическое чутье и окрыляли его философскую мысль, а вместе с тем и вдохновляли его гражданское чувство и любовь его к родине.

После убийства Домициана, когда вместе с Нервою во власть, как тогда выражались, вступила честность, особенно же с избранием Траяна главою государства, жизнь Тацита вошла в другое русло и потекла более спокойной волной. Сравнительно с событиями, какие переживались им, начиная с детства, и впечатлениями, которые нарастали в нем из года в год, образуя клад его памяти и давая материал для работы мысли, наступили новые, более «счастливые» времена. Тираны губили людей чести, изгоняли философов, жгли их сочинения, чтобы в жизни не оставалось ничего доброго. Но этого достигнуть им не удалось. Этого не будет... Тацит надеется, что «наступает начало благостного века»: Нерва

соединил то, что казалось несовместимым, — «свободу и единоличную власть».[1] А при Траяне общественное благо, по ощущению Тацита, оставалось не только надеждою, но стало и силою вещей. Траян, в самом деле, прекратил применение закона о величестве, возвратил сенату его права, провозгласил принцип правды в судах, проявил заботу о неимущих, улучшил положение литературы. Тацит по поводу этого приветствует императора. Такие же пути и сходные девизы, осыпая императора восторженными похвалами, указует Траяну в своем знаменитом «Панегирике» и Плиний Младший. Тацит верит Траяну, вглядываясь в первые акты его политики. Он надеется на укрепление системы «правового государства» при помощи установленной Нервою, но испробованной еще Гальбою, формы наследования власти, сохраненной и Траяном. Император при жизни намечает себе преемником того, кого считает достойным своим продолжателем, и санкционирует свой выбор усыновлением: так может укрепиться единая традиция доброго управления.[2] Перед историком открывается перспектива просвета. Получается возможность строить план возрождения государства. Всем «честным гражданам» надо сплотиться около власти благомыслящего государя и положить начало образованию ядра прогрессивных сил в руководящих кругах. Таковой была, видимо, намечавшаяся Тацитом программа. Вместе с тем росло и крепло в нем убеждение, что, избрав себе призвание историка, он, писатель, верящий в будущее, при наступлении лучших условий для жизни общества, должен быть наставником новых поколений, правдиво освещать им зло в прошедшем и готовить из них в настоящем полезных, сильных и благородных деятелей для родной земли. Надежда ободряла его как летописателя. Возродившаяся энергия вырабатывала в нем выдержку, обуздывала ненависть и пристрастие по отношению к прошлому,

[1] principatum ac libertatem. Agric. 3.

[2] Эта система «адоптивного принципата» дала империи ряд выдающихся императоров, правивших около столетия (96—180 гг.): Нерву, Траяна, Адриана, Антонина и Марка Аврелия.

побуждала искать правду и только ее оповещать людям в своих произведениях. Такое внутреннее чувство вселяет в его труд равновесие. Он не пылает страстью мстителя, но полон энтузиазма в работе для нравственного очищения общества. Пессимизм его смягчается верою в человека. Но он помнит сам и напоминает тем, кто будет его читать, что «немощность» природы человека опасна и что излечение от зла гораздо труднее, чем заражение им. Как тело растет медленно, а погибает в одно мгновение, так и задушить дух и силу гораздо легче, чем их восстановить. В бездеятельности тоже есть соблазнительные приманки, и праздность, которая сначала тяготит, впоследствии, наоборот, притягивает. Тацит призывает к твердой работе над собой для общего дела. Он предостерегает, указывая, как мало остается сил. «За последнее пятнадцатилетие (правление Домициана) множество граждан погибло: одни от горестных случайностей, другие жертвами жестокости государя. Все мы наперечет — те, кто пережил не только других, но, так сказать, и самих себя, потеряв в средине жизни столько лет в бездействии и безмолвии».[1]

К сожалению, у нас почти нет никаких данных для последней серии лет жизни Тацита. Только ясно, что то были для него годы успокоения и нормальной, убежденной работы историка, уверившегося, что теперь он может не только изучить правду о прошлом, но и открыто оповестить ее. Дело историка приобрело смысл и стало осуществимо в предоставленной слову свободе. А в действенной силе свободного слова Тацит не сомневается.

В царствование Траяна Тацит вернулся и к общественной деятельности. Он принял назначение проконсулом в провинцию Азию и управлял ею, вероятно, между 113 и 116 гг.[2] Можно с уверенностью думать, что он прожил все время правления Траяна (98—117 гг.), пользуясь почетной репутацией в обществе. Умер Тацит уже в годы правления Траянова

[1] Tac. Agric. 3.

[2] Сохранилась греческая надпись из М. Азии с упоминанием о Таците, как о проконсуле.

преемника, Адриана, шестидесяти с лишком лет отроду, около 120 г. Можно горячо пожалеть, что он не успел завершить своего дела историка характеристикою любимого для него времени Траяна: мы бы получили от него, без сомнения, драгоценные данные о важном моменте в истории принципата и, вероятно, узнали бы очень интересные заключения и важные выводы его, столь замечательного историка, о деле всей его жизни.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

M. Schanz (в переработке Hosius). Geschichte der römischen Litteratur (т. II München, 1935), с огромной, но неудобно расположенной литературой.

Teuffel. Geschichte der römischen Litteratur. Обработали W. Kroll и Fr. Skutsch (т. III, изд. 1913 г.).

В. И. Модестов. Лекции по истории римской литературы (СПб., 1888).

Его же. Тацит (Пб. 1864) (Представляет и теперь интерес).

H. Peter. Die geschichtliche Litteratur über die römische Kaiserzeit, (Leipzig, 1897). Мировоззрение Тацита.

Ed. Norden. Die antike Kunstprosa (Leipzig.) Литературная оценка.

U. Asbach. Römisches Kaisertum u. Verfassung bis auf Traian. Einleitung zu den Schriften d. Tacitus (Köln, 1896).

Ep. Dubois-Guchan. Tacite et son siècle. Paris, 1861 (2 тома). (Устарелая и пристрастная точка зрения).

Ant.. Hekler. Die Bildniskunst der Griechen und Römer (Stuttgart, 1913).

Alr. Domaszewski. Geschichte der römische Kaiser. I—II. Leipzig, 1909.

P. Fabia. Les sources de Tacite dans les Annales et les Histoires (P. 1893).

P. Ramorino. Cornelio Tacito nella storia della coltura (Milano, 1898).

G. Boissier. Tacite (P. 1903). Прекрасная книга, содержательная, живая и художественная. Для справок по вопросам эпохи очень ценное пособие — книга С. А. Жебелева. Древний Рим, ч. II: императорская эпоха (изд. «Наука и школа», 1923). С богатой библиографией.

G. Carcopino. La vie quotidienne à Rome à l' apogée de l' Empire (P. 1939.)

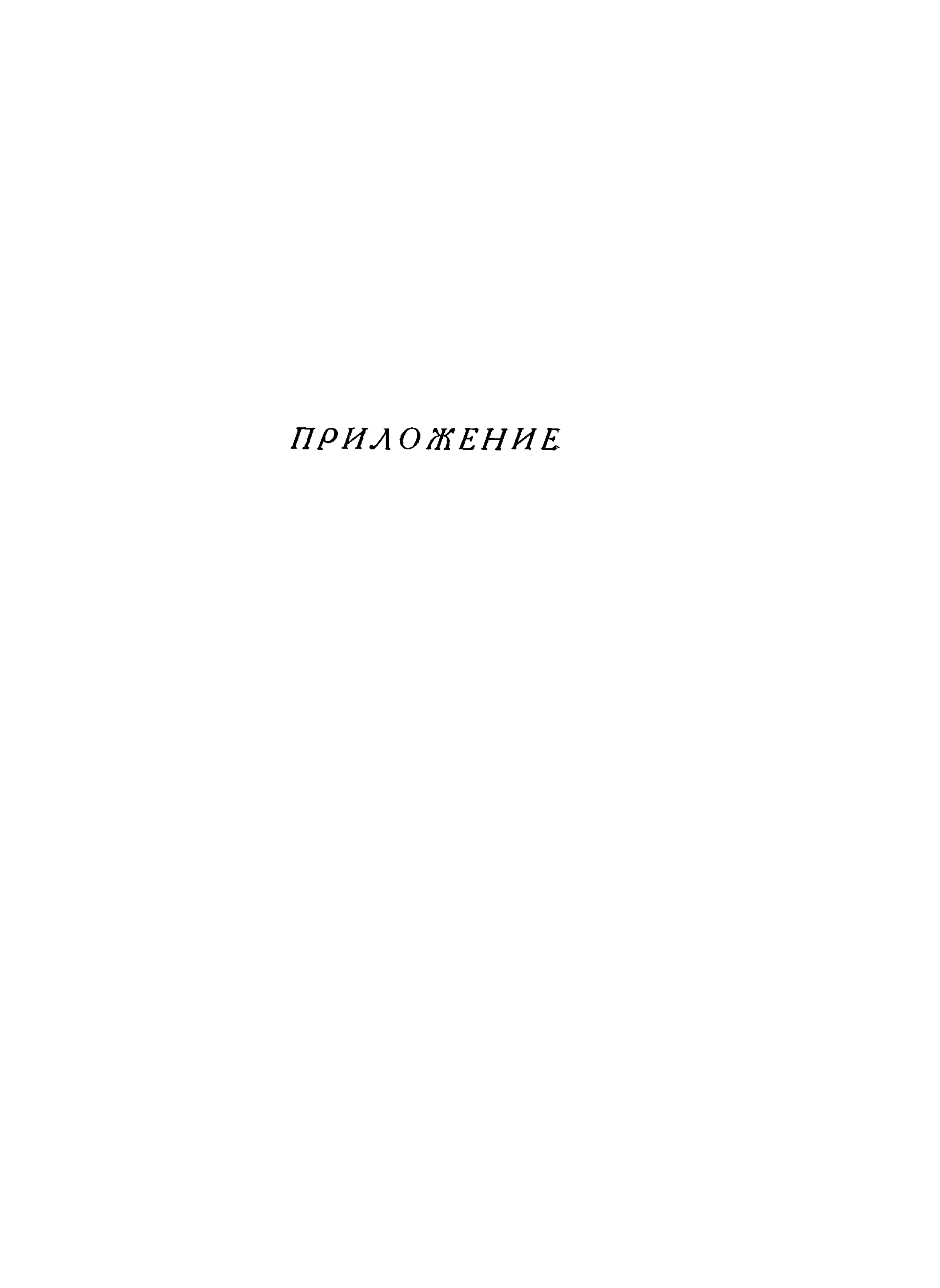
Критическое издание всех сочинений Тацита в Тейбнеровской библиотеке). (Bibliotheca Teubneriana, Leipzig): Taciti Libri qui supersunt ed. Halm.

Превосходное комментированное издание «Анналов» Nipperdey.

Tacite, oeuvres complètes, traduites en français par J. L. Burnouf (Paris).

В. И. Модестов. Русский перевод всех сочинений Тацита (СПб., 1885). Имеется и старый перевод Кронеберга.





ПРИЛОЖЕНИЕ



ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ГРЕВС

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Настоящий очерк жизни Ивана Михайловича Гревса, как ученого и как профессора, подлинного «учителя науки» и опытного руководителя студентов и молодых научных работников, составлен на основе данных, исходящих непосредственно от самого Ивана Михайловича.

После того как в Ленинградском Государственном университете был отпразднован день 80-летия (17 мая 1940 г.) и отмечена более чем полувековая работа Ивана Михайловича, возникла мысль о том, чтобы собрать материалы о долгом поучительном жизненном пути маститого профессора. В связи с этим я и обратилась к юбиляру с просьбой поделиться сведениями из его биографии, главным образом теми, которые относились к его студенческим годам, к его научной работе и к его профессорской и общественной деятельности в университете. Иван Михайлович охотно согласился, приветствуя желание собрать биографические данные при жизни описываемого лица и при его собственном участии. В оживленных беседах, в рассказах, порой переходивших в яркие наброски из прошлого, и создалась печатаемая ниже биография. За полгода до смерти Ивана Михайловича она была представлена в виде доклада на очередном заседании студенческого кружка при кафедре истории средних веков в Ленинградском университете.

В дополнение к тому, что он передал устно, Иван Михайлович предложил мне воспользоваться 1) записями на отдельных листках, составлявшими разрозненные части его незаконченных воспоминаний, и 2) обстоятельным введением, приготовленным им для нового двухтомного издания его «Очерков из истории римского землевладения». Отрывки из этих записей и из введения к «Очеркам» использованы мною как цитаты из первоисточника со ссылками: «Записи» и «Введение».

Иван Михайлович Гревс родился 4 мая (ст. ст.) 1860 г. в имении своего отца близ села Лутовинова, Бирючинского уезда, Воронежской губернии. Родители его были оба родом из-под Харькова. Отец, Михаил

Михайлович Гревс (считавшийся потомком английского выходца, еще при Петре I поступившего на русскую службу) был в молодости военным; он проделал всю Крымскую кампанию 1854—1855 гг., был героем Севастопольской обороны и, раненый на одном из бастионов во время знаменитой осады, вышел по окончании войны в отставку в чине поручика. Всю остальную жизнь он провел в своем небольшом имении. Человек просвещенный и любитель книг, он следил за прогрессивной литературой и выписывал журналы «Современник» и «Отечественные записки». В его библиотеке И. М. еще мальчиком, в годы, когда дети набрасываются на чтение, нашел анонимно изданное «Раздумье» Герцена и отдельные номера «Колокола».

Мать, Анна Ивановна Гревс (урожд. Бикорюкова) — серьезная, спокойная женщина — отдала все силы на воспитание троих детей — Ивана, Димитрия и Елизаветы. Материнская серьезность, сосредоточенность и тихий нрав передались любимому старшему сыну, который с детства, как он сам рассказывал, не обладал, в противоположность другому брату, никакой «воинственностью» и даже обычной мальчишеской активностью. Спустя много десятилетий, когда студенты, часто посещавшие И. М. украдкой, с заметным любопытством поглядывали на стены профессорского кабинета, увешанные картинами и портретами, он, подняв глаза на фотографию красивой женщины в старинной прическе, с задумчивой нежностью произносил странные в устах седовласого старца слова: «Это моя мать».

Типичной либеральной помещичьей семье Гревсов не было чуждо чувство признания и уважения к крестьянскому труду. В детстве И. М. не слышал грубых окриков на слуг или бранных слов; детей приучали не только отвечать на поклоны крестьян, но и кланяться им, не дожидаясь их приветствия. Основной же чертой быта дворянской среды была неизменная праздность. Двенадцать первых лет жизни И. М. провел безвыездно в родительском доме в окружении семьи. Ученье началось с азбуки и «Родного слова» Ушинского; вскоре наступила пора запойного чтения, когда вместе со случайными книгами были жадно поглощены многие произведения Пушкина, Лермонтова, Тургенева. Особенно нравились И. М. путешествия: он увлекался «Фрегатом Палладой» Гончарова и с интересом перечитывал рассказы о поездках в «Детских годах Багрова-внука» Аксакова и в «Детстве и отрочестве» Л. Толстого. Учителя-студенты не были талантливы и не повлияли на ученика, за исключением одного революционно настроенного юноши, который научил его ценить серьезные книги, познакомил с журналами, советовал вчитываться в биографии замечательных людей и красочно рассказал о Салтычихе.

В 1872 г. мать И. М., после семейного решения учить детей в столичной гимназии, повезла их в Петербург. Проехав 160 верст до Харькова на лошадях, И. М. впервые попал на станцию железной

дороги и увидал поезд, который представился ему цепью передвигающихся домов и вызвал большое восхищение; однако мальчик не проявил никакого любопытства к техническому устройству паровоза, будучи с отроческих лет склонным исключительно к гуманитарным знаниям.

Петербург произвел огромное впечатление на подростка, приехавшего из тихой обстановки помещичьего дома и едва знавшего город по упомянутой поездке в Харьков. Конечно, мальчик не мог еще оценить прекрасных ансамблей Петербурга и схватывал преимущественно показной, бросавшийся в глаза облик города, признаваемого одним из красивейших в мире. Поражала ширина Невы и театральность костюмов часовых у Зимнего дворца; восхищала прямизна Невского, завершенного Адмиралтейской иглой; забавляла пушка, стрелявшая в полдень с Петропавловской крепости; в Летнем саду довелось увидеть прогуливавшегося там Александра II, на Марсовом поле — военные парады и масленичные гулянья. В первую же зиму жизни в Петербурге И. М. повели в балет и, по особому его желанию, в Эрмитаж, а летом всех детей возили в парки пригородных дворцов. Эти петербургские впечатления, сразу ворвавшиеся в сознание серьезного мальчика, еще по-детски «изучавшего» новый для него прекрасный город, быть может, пробудили в нем начатки исследовательско-экскурсионных вкусов, которые так развились впоследствии и влекли его к странствиям по историческим городам и к занятиям так называемым урбанизмом.

Приехав в Петербург уже к зиме, И. М. до следующей осени готовился к экзаменам и в сентябре 1873 г. поступил в III класс классической гимназии (это была Ларинская мужская гимназия на 6-й линии Васильевского острова). В те годы средняя школа меньше всего была местом, где детей могло встретить внимательное и бережное к ним отношение. Она, наоборот, сковывала их цепями мертвого формализма, угнетала их духом подозрительности и недоверия, воздействовала на них педантическим принуждением и нередко культивировала пустую и сухую «гимнастику ума». Попав в стены гимназии из дружной семьи и с деревенского раздолья, И. М., по его словам, почувствовал «мрачную и холодную атмосферу тяжелой учебной действительности, окружавшей обыкновенно детей в рассадниках классического просвещения того времени». Со стороны учителей гимназисты встречали либо равнодушие, либо презрение и даже грубость. Один из таких менторов применял к ученикам особую форму обращения: до IV класса он на них кричал, а начиная с IV класса читал им длинные изводящие нотации, причем гимназисты предпочитали первое, до того донимал он их своими нудными поучениями. Другой после плохого ответа произносил: «Вы рассуждаете, как осел». Это вызывало в учениках резкое и непочтительное отношение к педагогам. На безотрадном фоне гимназии 70-х годов прошлого столетия особенно выделялась привлекательная фигура учителя русского языка и словесности,

Виктора Петровича Острогорского. Его памяти И. М. посвятил «Набросок воспоминаний ученика» (1902), в котором он с большой теплотой очертил образ учителя, действительно воспитывавшего учеников и умевшего научить их любить и понимать великие произведения родной и мировой литературы. В одинаково увлекательной форме строились уроки и по анализу русских былин, и по разбору сатиры XVIII в., и по характеристике различных поэтов-романтиков, вдохновлявших Жуковского. Отдел о Пушкине был венцом курса Острогорского: учитель достигал того, что ученики уходили с его уроков взволнованные и дома бросались читать ставшие близкими им бессмертные произведения. Но не только художественная ценность замечательных творений русской литературы подчеркивалась Острогорским; он умел заставить гимназистов отдавать себе отчет в том, какие идеи несли они в общество, какие социальные пороки бичевали. То было время, когда выходили в свет повести и романы Тургенева, когда появлялись необычайные по силе своей сатиры и остроты сочинения Салтыкова-Щедрина, когда только что была закончена «Анна Каренина»... По словам И. М., новые произведения Тургенева, Толстого, Достоевского, Некрасова ожидались «как праздник». Острогорский своим уменьем проникать в молодые души, своим педагогическим талантом и даром великолепного рассказчика окончательно привил Гревсу-гимназисту широкий интерес к гуманитарным наукам вообще. «Просвещение XVIII в., период «бури и натиска», романтика, особенно байронизм проходили перед нами в быстрых, но ярких этюдах», вспоминает И. М., допуская, что мастерские характеристики общественно-политического сознания людей и их поэтических идеалов заронили в него зерно увлечения чисто исторического порядка периодом французской революции, а отсюда — Парижем, хранившим места ее событий. Во всяком случае, не учитель-историк, а учитель-словесник двинул вперед развитие будущего ученого-историка в пору его школьных лет.

Немалое воздействие имела на И. М. и товарищеская среда. Его одноклассником был сын находившегося тогда в ссылке Н. Г. Чернышевского, Михаил. Отец присылал ему длинные письма, о которых знали и товарищи молодого Чернышевского. В тесной группе гимназистов, к которой принадлежал и И. М., интересовались нелегальной литературой, спорили о современных событиях, чувствуя, что революция зреет, что самодержавие непрочно и не возбуждает ни в ком доверия. Интерес к подобным вопросам был очень велик, и письма Чернышевского питали и направляли его.

Окончание гимназии весной 1879 г. соединилось в воспоминаниях И. М. с одним потрясшим его впечатлением. В апреле произведено было неудавшееся покушение на Александра II революционером А. К. Соловьевым, которого казнили 28 мая на окраине Васильевского

острова. И. М. проходил по улице (угол Большого пр. и 1-й линии Васильевского о-ва) как раз тогда, когда Соловьева везли на казнь. Это было днем, при ярком солнце. Окруженная солдатами, медленно подвигалась телега с высящимся на ней столбом. К столбу, обращенный лицом назад, был привязан бледный, измученный человек. Над его головой висела доска с надписью: «Государственный преступник». Ужасное выражение остановившегося взгляда широко открытых, как бы выступивших из орбит глаз запечатлелось в памяти И. М. на всю жизнь и навсегда перекинуло его в лагерь протестующих.

В обстановке все усиливавшихся репрессий со стороны власти и учащавшихся революционных актов И. М. вступил (осенью 1879 г.) в число студентов С.-Петербургского университета. Несмотря на уже определившуюся склонность к истории, И. М. не сразу сумел выбрать область непосредственного исторического изучения и долго не мог остановиться на ком-нибудь из профессоров, как на ближайшем руководителе. Весь первый курс прошел в колебаниях и сомнениях. Но со второго позиция молодого студента определилась, и И. М. стал неизменным учеником Василия Григорьевича Васильевского. В этот ранний период и был, собственно, заложен фундамент дальнейшей специализации И. М. Сам он рассказывал об этом так:

«Как часто случайности определяют в судьбах человека очень важные факты и явления, целые основные линии в его жизни... Я про себя могу сказать, что я стал средневековым историком только потому, что В. Г. Васильевский, единственный из профессоров, сумел оказать на меня — не преднамеренно, а в силу своего выдающегося таланта — глубокое научное влияние. По господствующему направлению своих интересов я всего более склонен был в студенчестве к новой истории (благодаря революционности общего направления своих симпатий), но он победил своей ученой фигурой. Помню, что первые лекции его не понравились мне, когда я был на 1-м курсе и слушал его добровольно (а читал он тяжело); разочарованный в преподавании на нашем историко-филологическом факультете, я стремился перебраться в Москву, но тогда В. И. Семевский посоветовал мне воспользоваться руководством Васильевского. Когда я пригляделся (да и ум стал мало-помалу развертываться в сторону науки), я скоро оказался притянутым, увлеченным средневековьем, стал учеником Васильевского (может быть, не из самых худших) и выработался в медиэвиста» («Записи»).

Так же, как и лучшему своему гимназическому учителю, посвятил И. М. своему ученому университетскому наставнику специальный очерк, в заголовке которого стоит придуманный учеником почетный и почтительный титул — «учитель науки».[1]

---

[1] «Василий Григорьевич Васильевский как учитель науки». Набросок воспоминаний и материалы для характеристики, СПб., 1899.

В. Г. Васильевский (1838—1899) был одним из крупнейших русских историков и одним из лучших университетских педагогов. Будучи по специальности византинистом — он признан по праву основателем русского византиноведения — он соединял с глубокими познаниями в этой малоисследованной тогда области широкую образованность и в других областях всеобщей истории. В годы студенчества Ивана Михайловича Васильевский вел в Петербургском университете общие курсы и семинарии по истории западноевропейского средневековья. Огромный материал многовековой сложной эпохи он обычно делил на четыре годичных курса, регулярно сопровождая свои чтения подробным историографическим введением и разбором наиболее свежих и выдающихся исторических работ. Особенно был памятен И. М. первый курс этого четырехчленного цикла, обнимавший переходный период от античности к средним векам. Молодому студенту-второкурснику было предложено заняться записью лекций; он отнесся к этой задаче, как к научной работе. На ней он впервые почувствовал всю ценность руководства Васильевского и общения с ним, а также полюбил труд, ставший содержанием его долгой дальнейшей жизни. Научная работа становилась ближе и понятнее на материале специальных курсов Васильевского, которые посвящались не только истории Византии, но и вопросам из истории западноевропейских стран. И. М. отмечал, что его учитель умел придавать изложению «удивительную содержательность и свежесть, ученость и жизненность» благодаря тому, что никогда не повторял из года в год одних и тех же курсов, но каждый раз сообщал им особый отпечаток путем привлечения новейшей литературы, а потому — нового освещения темы. Лекции были очень богаты фактическим материалом и изобиловали ссылками на тексты остроумно и ярко подобранных источников. Таким образом в стенах высшей школы студенты, слушая Васильевского, «учились науке». При замечательных качествах своих лекций Васильевский не был блестящим лектором; к его тяжелой, иногда даже неуклюжей фразе, надо было привыкнуть; ни живостью, ни выпуклостью, ни воодушевлением речь его не отличалась. Но, несмотря на отсутствие стилистической отделки устных выступлений, в его лекциях была своеобразная красота. Замечательно охарактеризовал И. М. состояние аудитории, — значит, и свое собственное, — после лекций Васильевского. Эти слова звучат высокой и благородной похвалой лектору и профессору. «Слушателя, — пишет И. М., — всегда охватывала бодрая и величественная, серьезная и свободная научная атмосфера, возвышающая дух, вызывающая пытливость; после каждой лекции он выходил из аудитории изменившимся — обогащенным сведениями, лучше понявшим задачу исследования, больше заинтересованным в открытии истины». (Из очерка о Васильевском.)

Интенсивно работая под руководством Васильевского и уже намечая цели научных занятий (созрело намерение взяться за медальное сочинение), И. М. принимал участие и в общественной жизни студенчества. С

III курса он стал посещать народовольческие кружки, собиравшиеся на конспиративных квартирах. Партия «Народной воли» потеряла к этому времени многих из наиболее деятельных членов, которые были схвачены полицией в связи с событиями 1881 г.; оставшимся на свободе часто приходилось скрываться. Семья Гревсов давно уже переехала обратно в деревню; И. М. жил один и потому мог свободно предоставлять свою комнату как для собраний кружка, так и для хранения запрещенной литературы или для приюта преследуемых полицией товарищей.

В те годы окончание университета давало либо рядовое звание «действительного студента», либо было сопряжено с отличием в виде звания «кандидата». Последнее давалось тем студентам, которые написали диссертацию на указанную профессором тему, получили одобрение руководителя и утверждение факультета и совета университета. Наиболее выдающиеся по способностям участвовали в ежегодном конкурсе на соискание золотой медали, что влекло за собой и получение звания кандидата. И. М. окончил университет по этой последней «высшей категории», т. е., выражаясь современным языком, он был «отличником» и удостоился золотой медали вместе со званием кандидата.

За год или за два до представления медальных сочинений факультет объявлял темы. Число медалей не было ограничено. Подавать сочинение полагалось в запечатанном пакете, без имени автора на обложке, но с написанием на ней того или иного девиза. И. М. взял для медального сочинения тему о «Римско-византийском государстве по законодательным сборникам V—VI вв.», а девизом изречение «Кто не дерзает — ничего не достигает», относительно которого, усмехаясь, говорил, что оно было избрано им вовсе «не по характеру» — мягкому и не всегда решительному.

Обыкновенно акт происходил в университетском актовом зале, в день годовщины основания университета (8 февраля). Таким образом, И. М., окончив курс в 1883 г., представил сочинение к акту, состоявшемуся 8 февраля 1884 г. В тот год к этому сроку в актовом зале произошел, по неизвестным причинам, пожар, чему, как говорили, весьма радовался инспектор — лицо, облеченное местной полицейской властью и подчинявшееся не ректору, а в обход последнего, попечителю учебного округа; этот университетский блюститель порядка боялся, что на акте могут произойти какие-либо неблаговидные студенческие выступления (каковые случаи неоднократно и бывали, например, когда чуть не побили министра народного просвещения Сабурова и т. п.) и ему было на-руку «сорвать» собрание. Тем не менее акт состоялся в одном из помещений Академии Наук. Профессор, который провозглашал девизы увенчанных наградой сочинений и объявлял фамилии авторов, назвал под аплодисменты большого числа присутствовавших и имя Ивана Михайловича Гревса. Этим присуждением медали с надписью «Преуспевшему» закончились годы ученья; за ними наступили годы научно-исследовательской

работы в связи с оставлением при университете «для подготовки, как тогда определялось, к профессорскому званию».

К этому периоду жизни И. М. относится начало его педагогической деятельности в средней школе. Студентом он давал частные уроки, теперь же приступил к преподаванию в старших классах гимназий, кадетских корпусов, женских институтов. Педагогическая работа не только не тяготила, но, наоборот, сильно увлекла И. М., и ставшее на всю жизнь любимым дело преподавания отчасти заслонило собой работу магистранта, — во всяком случае, оно отдалило сдачу магистерских экзаменов. Характерно, что будущий популярный профессор и активный работник высшей школы полюбил сначала преподавание в средней школе, уроки гимназистам и гимназисткам; в школьных классах он с подлинным горением обучал подростков истории, закладывая и в пределах среднего образования серьезное и глубокое отношение к важнейшему из предметов человеческого познания, — то отношение, которое он впоследствии внушал в университетских аудиториях массам взрослой молодежи.

Однако педагогическая деятельность отнюдь не исключила научно-исследовательской работы, развившейся теперь шире и глубже, чем это рисовалось вначале. В центре внимания стояли вопросы, связанные с темой первой самостоятельной работы — кандидатской диссертации, завершившей собой университетский курс. Тогда И. М. занимался позднейшим Римом и ранней Византией, теперь он углубился в историю Рима времен принципата и, исходя из борьбы между императором и знатью, естественно перешел к изысканиям в области хозяйственной, преимущественно аграрной жизни римского общества. Так наметился весьма своеобразный путь ученого: западного медиэвиста, строившего свою специальность на солидной базе изучения древнего Рима. Вплоть до последних лет жизни И. М. сохранил и пропагандировал убеждение, что хороший медиэвист обязан основательно знать историю Рима.

Помощь и консультации молодому ученому со стороны В. Г. Васильевского приняли теперь глубоко дружественный и серьезный характер. Вспоминая своего профессора, И. М. писал, что «особенно отчетливо и полно познавались многочисленные достоинства ученой и индивидуальной природы Василия Григорьевича теми, кто становился его специалистом. Это было хорошо известно между нами, и стать хоть ненадолго в ряду последних стремились не только те, кто избирал занятия средневековою или византийскою историею своим призванием, но и другие вообще историки». Тем более углубилось научное общение с Васильевским в годы начинавшейся самостоятельной работы над диссертацией. Часы бесед с ним приносили огромную пользу ученикам и они возвращались домой, как говорили многие из них, в «замечательном состоянии научного энтузиазма и деятельной энергии», которое «устанавливалось прочно, всегда возрождалось и служило важным орудием ученой работы». С теплым чувством рассказывал И.М. об оригинальной école des

hautes études», которая создавалась сама собой во время этих научных собеседований, когда в разговоре как бы «проходился целый курс теории и практики научного исследования в виде непринужденных экскурсов в различные области исторического знания». Картина этого прекрасного общения опытного старшего представителя науки с тянувшимися к нему с жадной любознательностью младшими ее питомцами рисуется из следующих слов некролога, написанного И. М. с чувством глубокой скорби по учителе: «Особенно дорого вспоминаются мне уже отодвигающиеся вдаль годы моей молодости, когда Василий Григорьевич жил еще на Петербургской стороне или потом в отдаленной линии Васильевского острова у Малого проспекта; я проводил тогда один или с несколькими товарищами немало часов зимою, сидя рядом с ним у камина, около которого он согревал свои давно страдавшие от ревматизма ноги, или весною, прогуливаясь по саду, прилегавшему к дому, в котором он обитал» (из очерка о Васильевском).

Таким образом, за время работы при университете по его окончании И. М. расширил и углубил свое историческое образование, вполне постиг нелегкое и тонкое искусство исследовательской работы, понимания и применения источников, охвата и критики литературы предмета. Но все же за этот период он не закончил своей, слишком широко задуманной, диссертации, которая развертывалась в большой ученый труд. Впрочем и у ряда других молодых научных работников годы работы при университете, как правило, уходили на подготовку к так называемым магистерским экзаменам, состоявшим по существу в весьма серьезных занятиях крупными отделами истории. Этим путем приобретались солидные знания и создавался образованный историк, готовый к углубленной специализации. К концу таких штудий молодому оставленному при университете историку полагалось выдержать в течение шести месяцев следующие пять испытаний: 1) по русской истории, 2) по истории древнего мира, 3) по истории средних веков, 4) по новой истории, 5) по политической экономии. Сдавались они на заседании факультета тому из профессоров, вместе с которым магистрант наметил основные вопросы для изучения.

Не лишено интереса показать на конкретном примере И. М., какое историческое образование вообще (помимо диссертационной темы) должен был проявить «аспирант» 80-х годов прошлого века. Об этом можно заключить по тем отделам, которые предлагались ему для углубленной подготовки. По истории средних веков, которую как главный предмет И. М. сдавал проф. В. Г. Васильевскому, были выбраны следующие темы: 1) Падение Римской империи; 2) Варварские государства, главным образом королевство бургундов; 3) Феодализм и сословная монархия, главным образом вопрос о генеральных штатах. По новой истории проф. Н. И. Кареев предложил проработать: 1) Итальянский гуманизм; 2) Реформацию в Германии; 3) Английскую революцию; 4) Французскую

революцию. От экзамена по древней истории И. М. был освобожден по решению классика проф. Ф. Ф. Соколова, так как уже в медальном сочинении обнаружил хорошее знакомство с античностью. По русской истории он сдал проф. Замысловскому два крупных отдела: 1) Земские соборы; 2) Отношения между Россией и Францией при Александре I. Экзамен по политической экономии пришлось сдавать мало симпатичному ему проф. Георгиевскому — «истинно буржуазному (по определению И. М.) экономисту», который, когда давал указания относительно занятий, спросил, что́ И. М. уже читал. На ответ И. М., что он внимательно прочел «Очерки политической экономии» Джона Стюарта Милля, профессор с раздражением добавил: «Вероятно, с примечаниями!?» Он имел в виду примечания Чернышевского, изобличавшие буржуазные взгляды Милля.

Магистерские экзамены завершались так называемой «клаузурой», или «клаузурной работой», т. е. работой, производившейся «взаперти», чтобы испытать, способен ли магистрант, пользуясь накопленными им знаниями, без нарочитой подготовки, написать небольшой научный очерк на заданную тему. Запертый в пустом зале Совета И. М. написал статью: «Исторические идеи Огюстена Тьерри и постановка его работ».

После клаузурной работы оставалось проверить способность магистранта гладко и ясно излагать мысли в устной речи. Это демонстрировалось в так называемых пробных лекциях перед членами факультета. Лекций бывало две: по выбору экзаменующегося (И. М. избрал тему о сенаторском классе в Риме) и по назначению факультета (И. М. получил тему о первых Капетингах).

Закончив сдачей магистерских экзаменов (в 1888—1889 гг.) период университетского усовершенствования и имея в перспективе приват-доцентуру, И. М. летом 1889 г. совершил первую поездку за границу. Целью его путешествия был Париж, где в тот год открылась всемирная выставка. Среди ее отделов особенно интересовал И. М. исторический павильон, посвященный столетию французской революции. Путешествие (по Германии, Франции, Швейцарии и Австрии) произвело на И. М., никогда не бывавшего в Западной Европе, очень сильное впечатление. Центральное место в нем занял Париж, полный исторических памятников и воспоминаний, притягательный высокой культурой и внешней красотой. В противоположность Парижу оттолкнул Берлин — серый, тяжелый и грубый, хотя и благоустроенный, проникнутый милитаризмом. Еще задолго до знакомства с западноевропейскими городами И. М. побывал в Москве и был восхищен замечательным ансамблем Кремля и другими выдающимися памятниками древней русской столицы, но в последующие годы знакомство с произведениями искусства и с прославленными историческими памятниками замерло: И. М. предался распространенному тогда своеобразному «аскетизму» — не пользоваться привилегиями, недоступными рабочим и бедноте, следовательно — не

наслаждаться искусством, не посещать концертов, театров, музеев. В Дрездене все же И. М. пошел посмотреть знаменитую картинную галлерею, а в Париже — Лувр, нарушив свое нигилистическое воздержание. Далекий до сих пор от искусства, он впервые живо и глубоко воспринял волнующее впечатление от ряда шедевров мирового художественного значения. Тогда только открылась ему непоколебимая красота античной скульптуры, выразительное своеобразие готики, обаяние и глубина воздействия мастеров Ренессанса.

В академических кругах, в которых, несмотря на недостаточное еще тогда знакомство с французскими учеными, И. М. все же бывал, он ощутил исключительную силу влияния только что умершего Фюстель де Куланжа, имя которого звучало во всех беседах в стенах Сорбонны. О работах и теориях французского ученого И. М. знал еще из лекций Васильевского, а позднее (в 1886 г.) и сам писал по поводу книги Фюстель де Куланжа о римском колонате, связывая разбор этого сочинения со всей историографией вопроса. Пребывание в Париже окончательно склонило интересы И. М. в сторону романского средневековья, и в этом направлении стала складываться его историческая ориентация. В позднейших его заметках записано: «Среди всеобщих историков в России я — один из немногих — являюсь последователем французской, а не немецкой школы. И это связано с французскими симпатиями, выросшими у меня из самого детства (отзвуки франко-прусской войны), а потом из увлечения мною книгами Фюстель де Куланжа по истории древней Франции, которые стали появляться во время моего студенчества, и из впечатлений моего первого путешествия в Париж» («Записи»).

Уже в старости, суммируя результаты своего научного поприща, И. М. так ответил на вопрос (неоднократно задававшийся ему студентами) о том, кто были его учителями. «Конечно, первым и основным учителем для меня был в университете и после университета В. Г. Васильевский. Должен сказать, что в университете больше никто не произвел на меня внушительного действия (но очень помог мне в первой диссертации — медальной — и дальше П. Г. Виноградов)»... «Могу также назвать несомненным своим учителем Фюстель де Куланжа. Лично его никогда не видел, но сочинения его оказали решительное влияние на мое методическое и идейное научное развитие. Такое же (хотя, может быть, и не столь сильное) влияние оказал на меня — тоже заочно — Моммзен своей «Римской историей», «Staatsrecht'ом, специальными статьями и исследованием надписей. Передатчиком его влияния был Вячеслав Иванов (ученик Моммзена), которого я также должен признать товарищем-учителем» («Записи»). Французская школа историков продолжала быть наиболее близкой и симпатичной для И. М. в течение всей его жизни. Он хорошо знал ее представителей из «стариков» (Гизо, Тьерри, Мишле) и лично был знаком со многими учениками Фюстель-де-Куланжа (напр. Гиро, Камилем Жюллианом) и некоторыми другими

французскими учеными (напр. Габриэлем Моно, Гастоном Буасье, Канья, Люшером). «Из общения с Италией во мне оставил наиболее глубокий след Дж. Б. де Росси и его школа, а затем П. Виллари. Вообще же настоящей, хорошей школы, последовательно пройденной, у меня не было». Помимо влияния старших по поколению и современных ему историков, И. М. признавал воздействие на себя лучших своих учеников, которых у него было немало, а кроме того — писателей: «Среди писателей, которых я особенно изучал, учителями своими могу назвать Данте, Тургенева, Ромен Роллана...» («Записи»).

По возвращении на родину И. М. приступил к окончательной обработке своего первого приват-доцентского курса: «История государства и общества в период падения Римской империи». Вступительная лекция состоялась в конце января 1890 г. в одной из аудиторий университета, при большом стечении студентов, в присутствии попечителя учебного округа и многих профессоров факультета. Лектор имел целью, во вводной главе курса, показать, как развивались научные взгляды на императорский Рим и правильно ли говорить о падении Римской империи. Первая часть лекции была посвящена характеристике воззрений Тацита и согласных с ним современных историков, которые отрицали прогрессивную роль империи и видели в ней лишь деспотизм, окончательно погубивший республиканскую свободу. Вторая часть заключала в себе изложение взгляда Фюстель де Куланжа, который считал Римскую империю настолько живым организмом, что всячески отрицал ее падение, называя его лишь «иллюзией». Обоим взаимно противоположным взглядам И. М. противопоставил свое твердо сложившееся мнение: политика империи была прогрессивна по сравнению с предыдущим периодом, но она не выдержала своей программы и скатилась в деспотизм; желая опереться на средние классы общества и создать свободное крестьянство — мелких арендаторов, — эта политика привела население к суровому крепостному праву; дав свободу городам, она кончила самым жестким закрепощением своих муниципиев. Таково было новое объяснение противоречия между явным, с точки зрения лектора, прогрессом в существе принципата и совершенно очевидным регрессом в природе поздне-римской монархии. Лекция молодого приват-доцента получила всеобщее одобрение; только попечитель — старый генерал, мнивший себя знатоком античной литературы и потому возмутившийся непризнанием точки зрения Тацита, встал на защиту последнего и недовольно проворчал: «Если его послушать, то всех классических писателей надо на чердак забросить!».

Через два года (в 1892 г.) состоялась вступительная лекция И. М. на Высших Женских (Бестужевских) курсах.

Вскоре, вследствие болезни Васильевского, И. М. было поручено чтение общих курсов по средним векам в Петербургском университете. В связи с этим он, давно уже работавший в области медиэвистики, по

подходивший к ней медленно и издалека, из глубин поздне-римской истории, принужден был взяться за средневековье во всем его объеме.

Это, однако, не помешало самой интенсивной работе над магистерской диссертацией, в ходе которой стали вырисовываться очертания и дальнейших исследований для диссертации докторской. Таким образом, И. М. вел общую подготовку к единому большому труду из двух солидных томов. Первый из них [«Очерки из истории римского землевладения (преимущественно во время империи»), т. I. СПб., 1899] и был представлен на соискание ученой степени магистра. Дважды — в 1890—1891 и в 1894—1895 гг. И. М. ездил в заграничные командировки. Свободный в эти годы от университетского преподавания, он весь уходил в научную работу. К этому времени он был уже женат (на Марии Сергеевне Зарудной) и имел двух — тогда еще малолетних — дочерей (Екатерину и Александру). В кругу семьи, обычно сопровождавшей его за границу, и в упорном труде над будущей книгой провел И. М. больше трех лет во Франции и в Италии. Особенно отмечает он плодотворность занятий в Париже: «Я работал с неутомимым рвением. Радостно вспомнить об этом высоком годичном напряжении труда. Это один из лучших годов моего прошлого вообще. До 4 или до 6 часов я занимался в Bibliothèque Nationale, а вечером до 10 часов — в Bibliothèque Ste Geneviève, читал римских авторов и надписи (прочел всего Цицерона и многих других), собирая аграрный материал. Возвращался с чувством удовлетворения от насыщенного трудового дня. За этот год работы я собрал материал (огромный!) для большого сочинения по истории императорской земельной собственности: 1) судьба ager publicus во время империи, 2) пути развития собственности императоров, 3) состояния (личные) отдельных императоров, 4) история патримония, 5) императоры и сельские трудовые классы, 6) право императорского землевладения» («Записи»). С неменьшим удовлетворением работал И. М. и в Риме, занимаясь до вечернего звона с колокольни собора св. Петра в пышном зале дворца Фарнезе, где помещалась École francaise de Rome. Как историк Западной Европы — одинаково и античной и средневековой — И. М., на месте воспринимая живое прошлое Рима, не мог не чувствовать, что находится «в ограде одного из высших святилищ истории». В итоге, как это видно из сделанного им самим перечня, он собрал исключительно обширный материал для большого научного труда.

Как же сочетался в этом ученом исследователе медиэвист и историк Римской империи? Задача его работы была поставлена очень широко и базировалась на генетическом принципе: социально-экономическая история римского мира, в особенности ее поздняя фаза «рассматривается, как почва, на которой вырос средневековый строй... Построение, таким образом, ориентируется на б у д у щ е е (к с р е д н е в е к о в ь ю), хотя начинается издалека, — а не на прошлое (к античности)». («Введение».)

Магистерская диссертация, представлявшая собой книгу в 650 страниц, исходила в основе из первой серьезной научной работы И. М. — его медальной студенческой диссертации, написанной еще в 1883 г.; только из социально-политической сферы (вопроса о борьбе римской знати с императорами) он передвинул тему в сферу социально-экономическую и стал заниматься историей римского землевладения, вопросами, связанными с крупной земельной собственностью, частной и императорской. Сюжет по тем временам (80-е, 90-е годы) был свеж и неразработан, материал приходилось черпать из массы неиспользованных в этом смысле источников — литературных, правовых, эпиграфических, археологических — и по ним прослеживать сложные явления аграрной жизни из века в век. Естественно, поэтому, созрел план: раньше, чем написать полную историю римского землевладения, заняться частичными изысканиями, из которых возникла бы серия законченных, хотя и предварительных, исследований. Так получились у И. М. его «Очерки», в состав которых вошли эти отдельные, как он называл их, «индивидуальные этюды»; каждый из них строился в форме «экономической биографии» или истории отдельного крупного состояния; этот способ давал возможность исчерпать весь материал и дать целостную реалистическую картину. Живыми центральными фигурами двух крупных экономических биографий в «Очерках» были: поэт Гораций, отразивший в своих сочинениях черты землевладения во времена Августа, и Т. Помпоний Аттик, друг Цицерона, земельный магнат переходной эпохи от республики к империи. В дальнейшем автору рисовались — в подобной же обработке индивидуальных этюдов — образы М. Порция Катона Старшего, связанного с началом крупной собственности в римской Италии; философа Сенеки, пережившего кризис магнатства в первом веке империи; Тримальхиона, магната-выскочки из вольноотпущенников (по роману Петрония «Сатирикон»); Плиния Младшего, богача-землевладельца. Одним словом, работа обещала быть захватывающей и плодотворной, «дорога открывалась дальняя, но она одна могла привести к цели, — и задача манила к себе познающее внимание своей значительностью и новизной» («Введение»).

Оба этюда (Гораций и Аттик) подкрепляли вывод, выраженный в обобщающей заключительной части книги. Коренным отличием хозяйственного строя в римском мире, специфической, так сказать, природой его хозяйства была замкнутость отдельных ячеек; хозяйство было, по преимуществу, замкнутым, домовым, следовательно, — самодовлеющим, автономным. Общим тезисом диссертации было утверждение, что, несмотря на так называемое «мировое хозяйство» Римской империи, на широко раскинувшийся обмен, сохранялась, от начала и до конца, жизнь и крепость автономного, самодовлеющего «дома» — «ойкоса». Таким образом, отвергалось понятие капитализма в истолковании хозяйственного развития древнего Рима.

К массе огромного подлинного исторического материала, которым оперировал И. М., он приложил элементы теории экономиста Карла Бюхера, который в своем труде «Происхождение народного хозяйства» (1-е изд. 1893 г.) устанавливал генетическую классификацию фаз хозяйственного развития (замкнутое домовое хозяйство, городское хозяйство, народное хозяйство). Тем не менее, И. М. как талантливый, чуткий и широкообразованный историк, избег схематизации, мертвящей живую ткань истории. Он вовсе не подчинился бюхеровской системе; он взял из нее только вехи для своего вывода о господстве ойкосных форм хозяйства в древнем Риме, с острой критикой «дав очную ставку» теоретическим положениям с неоспоримыми историческим фактами. Схема Бюхера служила И. М. лишь вспомогательным орудием. «Мне думается, — писал он уже незадолго до смерти, — что таково и должно быть критическое пользование схемою экономиста в руках историка-реалиста»... «Лично я не выставлял себя и тем более теперь не являюсь прямым сторонником системы Бюхера в ее цельном виде; я только нахожу и находил ее удобным и полезным вспомогательным пособием при историческом анализе хозяйственных порядков у различных народов в различные эпохи» («Введение»). Ясно видел И. М. и крупный недостаток системы Бюхера в том отношении, что в ней не было поставлено в центр «понятие из сферы производства и определяющей производство собственности на его орудия», т. е. сущностью и основой классификации форм хозяйства не были объявлены производственные признаки, как это дано в гораздо более глубоком построении марксизма.

Защита магистерской диссертации состоялась в 1900 г. Оппонентами выступили проф. Н. И. Кареев и проф. Ф. Ф. Соколов. Они «показали к книге моей ценное для меня доброжелательство» («Введение»), отмечает И. М.; такое же сочувственное отношение проявили и критики в печати (Малеин, Зелинский, Ростовцев, Хвостов, итальянский ученый Сальвиоли и др.). Они подчеркивали, что выводы И. М. отошли от Бюхера, что они независимы от него и что автор только «стеснял себя, привязавшись к его гипотезе» («Введение»).

Прямым продолжением магистерской диссертации должна была быть следующая, уже почти тогда готовая работа по вопросу развития императорской земельной собственности от начала империи до ее падения; в итоге она должна была разрешить общеисторическую проблему — о причинах падения Римской империи. Но случилось так, что как раз к тому времени, когда И. М. принялся за писание вполне сложившейся в его сознании книги, немецкий историк Отто Гиршфельд опубликовал в журнале «Klio» за 1901 г. статью на ту же тему. «Гиршфельд напечатал свою «статистику» императорского землевладения, перехватив у меня (разумеется, случайно — он не знал о моей работе, даже, может быть, и о моем существовании) богатейший, свеже собранный и до него никем не использованный материал. У меня была «статистика» более

богатая, чем у него, но, так сказать, «сливки были сняты», и я махнул рукой на неоконченный труд. Сделал я это напрасно; у меня работа ставилась иначе и гораздо шире... Теперь уже ничего не поделаешь. Поздно пополнять и перестраивать. Перебираю иногда написанное, но вижу, что уже должным образом не справлюсь с переделкой при моем нынешнем состоянии (запись относится к периоду, когда И. М. не имел регулярного заработка и очень беспокоился о тяжело больной дочери). Мир праху моей работы! Остается благодарное чувство за годы, проведенные в таком большом труде. Это ценно для меня само по себе...» («Записи»).

Так замер блестяще начатый, оригинально задуманный и в значительной части завершенный труд. Только много позднее понял И. М., что не следовало смущаться выступлением другого ученого, но твердо итти к намеченной цели до конца, тем более что благодаря широте охвата материала и глубоко обоснованным выводам, работа не могла явиться дублирующей чужую. Однако в то время удар ощущался как очень сильный: «потерялась свежесть новизны, ослабела энергия для дальнейшей обработки, будто по стопам другого» («Введение»).

Чрезвычайно остро проявившая себя реакция на неудачу в осуществлении научных замыслов вызвала решительный перелом в интересах и деятельности И. М. «Может быть, отчасти, в силу указанного только что обстоятельства произошла перемена в ориентировке моих исследовательских работ, но также расширение и осложнение моих профессорских занятий, и это надолго прервало мои аграрно-исторические изыскания в области истории римского мира» («Введение»). И. М. обратился в сторону раннего, затем классического средневековья, стал заниматься изучением феодальной Франции, итальянских городских коммун, духовной культуры «преренессанса», творчеством Данте. К этому же периоду относится и расцвет его общественной и профессорской деятельности.

После смерти академика В. Г. Васильевского (в 1899 г.), И. М. давно уже заменявший его, занял его место в университете. Но как раз в этом году в Петербурге произошли крупные студенческие волнения: 8 февраля 1899 г., в день университетского акта, студенты освистали ректора, реакционера Сергеевича. На набережной Невы, против здания Академии Наук и университета, казаки разгоняли студенческую толпу нагайками. Затем полиция начала аресты и ссылки учащейся молодежи, а сочувствовавшие ей профессора, из «неблагонадежных», подверглись изгнанию из университета. Среди последних, вместе с Кареевым, Туган-Барановским и Свешниковым, был и И. М. Гревс. Он рассказывал, что перед этим его вызвал к себе министр народного просвещения Боголепов и заявил ему, что он, министр, «отвечает перед государством и народом, что профессора не подготовляют из студентов революционеров и конституционалистов», и потому он принужден исключить тех, которые действуют обратно. «Сразу видно, что Вы неблагонадежный», — закончил он свое краткое объяснение с И. М. «Началась страда, — записал

лишенный своей любимой работы ученый, — по обеспечению хлеба насущного» («Записи»), которая длилась, впрочем, недолго. В 1902 г. И. М. был восстановлен в университете, в 1903 г. — на Высших Женских курсах. В том же году он был избран профессором и получил кафедру своего учителя. Следуя заветам В. Г. Васильевского, он теперь стал — и на долгие годы — убежденным и неутомимым «учителем науки».

Возвращение И. М. в Петербургский университет совпало со знаменательными переменами в жизни русской высшей школы. Закипела работа по подготовке автономии, которой так долго ждали русские университеты, увеличилась близость профессоров к студентам, шагнуло вперед дело женского образования. Бурной общественной деятельности 1904—1905 и последующих годов И. М. отдал много сил и внимания; во всех событиях университетской жизни тех лет он всегда был заметной передовой и активной фигурой. Он неизменно участвовал в съездах всероссийского союза профессоров, на которых подготовлялся проект автономии университетов, установленной окончательно указом от 27 августа 1905 г. И. М. был единогласно выдвинут, как деятельный и популярный представитель профессуры, в комиссию, созданную по инициативе министра народного просвещения И. И. Толстого для выработки нового университетского устава взамен старого бюрократического «деляновского» устава 1884 г., по которому университет управлялся (причем только в части учебной и научной) назначенным свыше ректором, кафедры возглавлялись и пополнялись назначенными профессорами, а внутренняя жизнь регулировалась бдительным контролем местной полицейской власти в лице инспектора, подчиненного непосредственно попечителю учебного округа. Все эти отжившие формы, сковывавшие свободу преподавания, должны были быть, наконец, отброшены; И. М. стоял в первых рядах поборников нового демократического устава. Под председательством министра народного просвещения Толстого собирались совещания делегатов от всех российских университетов; каждый университет был представлен ректором (от Петербургского университета присутствовал уже выбранный, а не назначенный, ректор Боргман) и профессорами — по одному от каждого факультета (И. М. был делегатом от историко-филологического факультета). Двое наиболее прогрессивных профессоров — Гревс и Пергамент — выдвигали предложение о включении в состав Совета и факультетов, наряду с профессорами, и младших преподавателей, по поводу чего со стороны реакционеров раздались насмешливые голоса: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Председательствующий едва успокоил собрание, в большинстве членов требовавшее удаления правых.

И. М. всегда сохранял прямоту и твердость во время студенческих волнений; он никогда не шел на соглашательство с правительством, не склонялся перед жесткими требованиями министра. Он многократно выступал с речами на студенческих сходках (чего иногда опасались другие профессора), причем, будучи неизменно на стороне молодежи, не переста-

вал внушать ей мысль о том, что необходимо не прерывать, а всемерно поддерживать традицию культуры и, при распространении ее вширь, не допускать снижения ее вершин. Хотя сходки бывали очень шумными и оратору не всегда удавалось привлечь внимание присутствовавших к своим словам, студенты слушали популярного профессора; их доверие к нему выразилось и в том, что он был избран в так называемую «советскую комиссию»; она образовалась из членов Совета университета для установления связи между Советом и студентами. На этом поприще И. М. проделал громадную общественную работу и стал настоящим другом и защитником студенческой молодежи.

В возрожденной высшей школе главную заботу И. М. составляла организация так называемой предметной системы, которой с нетерпением ждала лучшая, наиболее сознательная часть студенчества. С этим связывалось введение в программу ряда специальных курсов и самых разнообразных семинариев. Отсюда вытекала необходимость устройства особых кабинетов, со специально подобранными библиотеками. «Как руководитель медиэвистских студий в университете, — говорилось в предисловии-обращении учеников в сборнике, составленном в честь 25-летнего юбилея ученой и педагогической деятльности И. М. — и как декан историко-филологического факультета на Высших женских курсах. Вы были одним из создателей и вдохновителей серьезной научной школы, которая опиралась на глубоко развитую систему общих и специальных курсов, многочисленных практических занятий и снабжена была необходимыми орудиями научного труда». Предметная система, инициатором и ревностным пропагандистом которой был И. М., явилась заменой системы курсовой и, таким образом, устраняла нередко стеснительную регламентацию учения. И. М. всегда отстаивал свободный выбор объектов изучения и, главное, их индивидуальное сочетание. Несомненно, нельзя было признать, что подобная система была благотворной для слабого, а иногда и для рядового студента, но для человека сознательного, способного и действительно жаждавшего образования, она оказалась истинным благом и громадным стимулом развития. Через нее он получил возможность, не выходя из рамок известных обязательных и рекомендованных факультетских требований (которые обеспечивали ему общее направление его занятий), проявить и развернуть собственные склонности и инициативу. В среде лучших студентов, под влиянием предметной системы, стали немедленно определяться будущие специалисты. Они рано могли сосредоточить силы на интересующих их предметах и отделах, так как пресекалась вредная многопредметность и вместе с этим излишнее разбрасывание. Чтобы дать возможность углубить и специализировать занятия, особенное внимание обращалось на семинарии и подготовительные к ним просеминарии. И. М. был истинным насадителем семинарских занятий на историко-филологических факультетах университета и Бестужевских курсов. Он неутомимо заботился о создании специальных библиотек, хло-

потал об отведении для них отдельных кабинетов; он стремился добиться для молодого научного работника соответствующей обстановки для его труда. Любимым детищем И. М. был «исторический семинарий» в университете, устроенный буквально его руками, начиная от выпрошенного в правлении университета помещения и выписанных из-за границы книг до лично им купленных и привезенных на извозчике стенных часов Мозера. Такой же «исторический семинарий» появился вскоре и в стенах Высших Женских курсов. Лишь только студент осваивался с атмосферой высшей школы, лишь только он начинал определять свой учебно-научный путь, он становился постоянным посетителем «семинария». Там, в семинарской библиотеке, он получал рекомендованные на практических занятиях редкие научные пособия, там в тишине семинарской читальни он сидел за переводом текста источника, а в семинарскую аудиторию приходил на еженедельные собрания семинариев в собственном смысле слова, под руководством профессора. Таких отдельных ячеек-семинариев появилось на историко-филологическом факультете пять: исторический, философский, русской филологии, романо-германской филологии и классический вместе с музеем искусств. (Позднее к ним был присоединен кабинет вспомогательных исторических дисциплин в связи с соответственными курсами крупного специалиста в этой области — проф. О. А. Добиаш-Рождественской.)

Будучи в течение многих лет деканом историко-филологического факультета Высших Женских курсов, И. М. был ревностным работником на поприще женского образования. В благоприятных условиях жизни университетов в 1905 г. он стремился поднять и поддержать его на высоком уровне, не представляя себе Бестужевских курсов иначе, как естественной параллелью университету. Выступая перед женской аудиторией, он никогда не снижал серьезности ни своих лекций, ни семинариев, хотя были такие профессора, которые либо вовсе не шли читать «курсисткам», либо читали им элементарнее, чем студентам. И. М. был неизменным патриотом курсов и одним из любимейших там профессоров. Редко у кого бывало столько талантливых и по-настоящему работавших в науке учениц; блестящая среди них — О. А. Добиаш-Рождественская (1874—1939), достойная соратница своего учителя по Бестужевским курсам и университету, также последовательница французской школы, специалист главным образом по средневековой Франции, известный палеограф и дипломатист, первая женщина-историк, получившая докторскую степень (в 1918 г.) и первая женщина-историк, избранная членом-корреспондентом Академии Наук СССР (в 1929 г.).

В итоге длительной профессорской деятельности И. М. пришел к твердому выводу, что «профессор — это прекрасная общественная роль»; работу на кафедре и с кафедрой он ценил очень высоко, считая ее неотрывной от процесса движения науки вперед. Он полагал, что профессор обязан владеть аудиторией на основе и в результате своей уче-

ности и непрерывной исследовательской активности. Пагубным для профессора в глазах И. М. был застой в его знаниях. И. М. сам был неустанным исследователем в области тех тем, которые он выносил в аудиторию. Его качества профессора-ученого отражались как в лекциях, так, особенно, в семинариях. Их он вел мастерски: умел научить по-настоящему заниматься наукой, быть свободным и независимым в ее сфере, т. е. знать, каким путем, через какие источники, книги, справочники, подойти к разработке вопроса и как с ним справиться. Если ученик затруднялся в языках — особенно в латыни, а то и в современных, менее известных, как итальянский (а знание языков являлось, конечно, необходимым условием для занятий по западноевропейской истории), И. М. сам шел навстречу в деле их одоления, помогая читать тексты слово за словом, облегчая всевозможные лингвистические препятствия. Кроме всего этого, самым существенным было то, что И. М. умел научить любить науку, постичь ее красоту и притягательные свойства и навсегда убедиться в ее необходимости для человеческой культуры. Он всегда указывал, что дело изучения истории требует от историка большого напряжения сил не только в начале работы, но что и вообще оно, как всякое серьезное дело, должно непрерывно сопровождаться трудом и исканиями. Поклонник, хотя и не безусловный последователь, Фюстель де Куланжа, И. М. любил повторять его строгие, опытом рожденные, слова, звучавшие как завет знаменитого ученого: «История — не легкая наука. Предмет ее изучения бесконечно сложен. Человеческое общество представляет собой тело, гармонию и единство которого можно охватить лишь при условии последовательного рассмотрения, — причем с очень близкого расстояния, — каждого из органов, его слагающих и сообщающих ему жизнь. Долгое и тщательное наблюдение деталей есть, таким образом, единственный путь, который может привести к созерцанию целого. Для одного дня синтеза потребны годы анализа —„Pour un jour de synthèse il faut des années d'analyse".

Темы семинариев И. М., участием в которых студенты очень гордились, были, при всей их углубленности, весьма разнообразными — «Варварская Европа в изображении римских писателей, в ее собственной историографии, поэзии и законодательстве, зарождение и расцвет феодализма, движение городов от их римских прецедентов до расцвета немецких республик, французских и итальянских коммун, великие проявления духовной культуры Средних веков от блаженного Августина и Боэция до Франциска Ассизского и Данте, — давали темы для этой богатой семинарской работы». (Из предисловия к 1-му юбилейному сборнику. СПб., 1911.)

Таким образом, научное воздействие И. М. было велико, и оно рождалось не только в силу его природного таланта к науке и крупного педагогического дарования в соединении с большой тягой к людям, особенно молодым, начинающим свой трудовой путь; оно, как это ни странно, явилось отчасти результатом тяжелого для него, как ученого,

отхода от основных научных занятий проблемами хозяйственной жизни древнего Рима. Отстранившись от углубленной специальности историка развития аграрного строя поздней империи, И. М. нашел для себя новую научную работу в научной подготовке тем, которые он нес своим ученикам. То, что они слышали от него в аудитории или в семинарских кабинетах, было неизменно плодом большого, упорного и творческого исследования. В этом, собственно, и заключался простой секрет поразительного успеха И. М. в деле серьезного обучения истории, которая в его преподавании была всегда интереснейшим, глубоко захватывающим предметом, в деле помощи начинающим молодым ученым — оставленным при университете, наконец, в деле создания целой школы многочисленных выдающихся медиэвистов и даже ученых в других областях истории (среди них есть специалисты по средневековому Востоку, по Византии, по искусству и т. д.). И. М., обладая памятью, — по выражению одного из его аспирантов — «почти скульптурной» — не помнил всех своих учеников, и многих, называвших себя таковыми, не мог узнать. Они рассеялись по всей нашей родине, и во время частых поездок в первые годы революции, то по Волге, то по северным русским городам, или по «тургеневским местам», И. М. совершенно для себя неожиданно встречал радостно приветствовавших его учеников и слушателей. В знак своей признательности и почтения ученики дважды подносили в дар учителю сборники статей, написанных к юбилейным датам 25-летия и 40-летия его ученой деятельности (Сборник «И. М. Гревсу—ученики» — 25 лет учено-педагогической деятельности 1884—1909. Спб. 1911; Сборник «Средневековый быт» — в 40-летие научно-педагогической деятельности. Лгр. 1925).

Из всего этого следует, что огромная научная работа И. М. не только не прекратилась (судя по незначительному числу его печатных трудов), но расцвела в его профессорстве и дала свежие оригинальные ростки в учениках, которые и отметили это в своем обращении к учителю в первом юбилейном сборнике: «При всей талантливости и содержательности Ваших печатных трудов, неверно судил бы о нем (о научном воздействии) тот, кто ценил бы его только по ним. Не сюда шла главная волна творческого Вашего напряжения. Лишь тот, кто из года в год следил за Вашей профессорской работой, за непрестанно обновляющимися и всегда широко поставленными, глубоко разработанными темами Ваших семинариев — знает, что не в печатных книгах должен он искать ответа на вопрос о содержании Вашей научной деятельности, но в конспектах неопубликованных Ваших курсов, в заметках и тетрадях Ваших учеников, в их научных работах». Ту же мысль высказал и сам И. М. на листках своих записей, в той их части, которая озаглавлена им «К истории моих научных работ». — «В предисловии к посвященному мне сборнику (за 25 лет) ученики мои правильно указывают, что нельзя в вышедших моих (немногих) трудах видеть главную сущность моей научной деятельности. Все самые главные мои силы уходили на

профессорство, но в работе над курсом и над семинарием я всегда действовал, как при исследовании, и, если бы был у меня хоть малейший досуг, я бы мог выстроить из материалов, на них собранных, ряд общих сочинений, научных монографий и эрудитных изданий памятников. Только этого-то и не было, как нехватало и решимости — веры в значительность своей научной мысли... В своем преподавании и в своих учениках я был счастлив, но несчастно слагалась исследовательская работа». (Далее идет рассказ о том, как «подорвался» тот труд, который должен был стать докторской диссертацией) («Записи»).

Не менее поучительны, чем семинарии, где на детально рассмотренных узких участках истории строилась научная индивидуальность молодежи, были лекции И. М., на которых расширялся ее научный кругозор и вырастало знакомство с историей в масштабах крупных красочных полотен. Всем слушавшим И. М. надолго запоминалась простая, но приятная и не утомительная манера его чтения с кафедры, при большой нагруженности, часто даже перегруженности, содержания. В обычно многолюдную аудиторию университета или Высших Женских курсов неспешно входил высокий ростом профессор, во внешности которого бросались в глаза прямая осанка фигуры и мягкое, приветливое выражение лица. Лекцию он проводил обыкновенно стоя и несколько жестикулируя одной или обеими руками, будто желая этими движениями усилить, сделать слово более рельефным и впечатляющим. Речь его лилась ровно, без внешних ораторских прикрас и модуляций голоса, спокойным и временами проникновенным тоном, настойчиво призывающим вдуматься и понять. Воодушевление, подчас охватывавшее лектора, не выражалось ярко и резко; оно не волновало, но скорее согревало и притягивало. Если И. М. подыскивал нужное слово или подходящее выражение и, не сразу находя их, приостанавливался, перестраивал или просто бросал фразу незаконченной, то этим он — всегда целиком ушедший в тему лекции — не нарушал своего изложения, а даже как бы больше приковывал к нему внимание, подчеркивая своим затруднением важность ускользавшего существенного определения. Иначе говоря, его заминки действовали как своеобразный ораторский прием.

Студенты признавали и любили Гревса-лектора и не оценивали его ниже профессоров, славившихся эффектностью стиля и красотами слога. Читал И. М. неизменно по маленьким мелкоисписанным листкам-конспектам. Однако это нисколько не отяжеляло его речи, и листки, которые, казалось бы, могли лишать читающего свободы устной речи, не мешали в данном случае ни профессору, ни студентам. Заглядывая в свои записки, И. М., тем не менее, всегда только «говорил»; более того — временами его речь приобретала характер вольной, интимной беседы. В отношении самого И. М. к лекторскому труду вскрывается высокая требовательность к себе и большая скромность. «Я волновался, идя на лекцию, — записал И. М.; — это выражалось в начале лекции, когда

я входил в аудиторию, в нервном покашливании, длившемся иногда с минуту. Мне всегда казалось, что я плохо знаю предмет чтения и непременно забуду фактический материал и порядок его, и потом — не сумею найти надлежащую форму. Поэтому я всегда писал свои лекции в виде очень подробных конспектов... Когда материал принимал такую форму, я шел спокойнее. Меня всегда изумляла способность других читать устно, и я болел душою, что не могу обойтись без «листочков». Существует общераспространенное мнение, что профессор должен читать устно, и студенчество обыкновенно относится несколько свысока к тем, кто пользуется записками. Конечно, писанный текст часто стесняет живое слово, и, как говорят, давит мысль и творчество во время лекции. У меня наоборот, — свои записки не мешали мне думать во время чтения, а многое в смысле образов и синтезов возникало именно на лекции; курсы, читанные по тем же запискам, часто сильно отличались один от другого. Мне даже кажется, что самый тон моих лекций был тоном говорящего, а не читающего: выходило живо и одушевленно (последнее потому—что я в самом деле любил и предмет, и самый процесс преподавания). Думаю, что плохим лектором я себя могу не считать» («Записи»).

Был еще один замечательный способ, которым И. М. имел возможность пользоваться, чтобы приблизить учеников к истории, так сказать, непосредственно. Он был мастером по историческим экскурсиям. Путешествию по местам, где развертывались изучаемые события, И. М. придавал огромное значение. В своих записях он подчеркнул: «Всего сильнее на меня влияло и действовало не столько правильное учение у кого-нибудь, сколько переживаемые впечатления от западной монументальной старины и от больших книгохранилищ (Национальной библиотеки в Париже, главных римских библиотек, а также флорентийской библиотеки). Важным учителем для меня было, стало быть, путешествие — ему я благодарен; жалею, что воспользовался им меньше, чем можно было (не был в Греции и в Испании)» («Записи»). Призыв, четко сформулированный И. М. «От книг к памятникам, из кабинета на реальную сцену истории, и с вольного исторического воздуха опять в библиотеку и архив» волновал и вдохновлял молодежь; большие группы серьезно занимавшихся в семинариях устремились за любимым учителем на «реальную сцену истории» в Италию в 1907 и в 1911 гг. Маршруты обеих коллективных поездок были почти одинаковы. Они начинались с Венеции, Падуи, Равенны, переходили затем в Тоскану, где надолго задерживались во Флоренции и окружающих городах (Прато, Пистойя, Сиена, Лукка, Пиза), перекидывались в Умбрию (Перуджа, Ассизи) и заканчивались в Риме. И. М. очень серьезно ставил задачу путешествия, основную часть которого он торжественно именовал «тоскано-умбрийским пелеринажем». Ни в коей мере не отдых и наслаждение красивой страной, а работу должно было оно осуществить. Ему предшествовала тща

тельная специальная подготовка: профессор предварительно ездил в Италию с целью изучения ближайшим образом всего, что он собирался показать ученикам; студенты проходили соответствующие семинарии (по средневековым итальянским городам, по Флоренции особенно, по Данте). В результате приезжали на место хорошо подготовленными и работали, не теряя времени, знакомые заочно с тем, что обозревали, сознательно и полностью вдыхая тот «вольный исторический воздух», который сообщал новые силы для дальнейших занятий источниками и литературой. Гвоздем и вершиной экскурсий была Флоренция, город, к которому неизменно обращалась любовь Гревса-историка. Он продумывал каждый шаг знакомства с замечательным центром человеческой культуры, начиная осмотр с общей панорамы с высоты джоттовской башни-колокольни, откуда открывался план постепенно выраставшего города — римского, да-дантовского, дантовского. Он интереснейшим образом строил показ трудовой ремесленной Флоренции, противопоставляя ей блестящий город Возрождения, переполненный памятниками мировой известности. В лекциях на арене самой истории сказывалось все преклонение И. М. перед светом человеческого гения и культуры, к приобщению к которой он не уставал призывать своих учеников. Недаром прилагали к нему слова из биографии одного из наиболее гуманных поэтов средневековья (Франциска Ассизского) «Никогда не хотел он гасить огня, ни лампады, ни свечи — таким движим он был благоговением к нему»... (Из предисловия к 1-му юбилейному сборнику, СПб., 1911).

И. М. написал очень красивый очерк о первой экскурсии в Италию, в 1907 г. («К теории и практике экскурсий, как орудия научного изучения истории в университетах». СПб., 1910), который заключил словами: «Экскурсии должны сделаться постоянным интегральным элементом изучения и преподавания истории в общеобразовательной и научной школе. В университете — это необходимый вид исторического семинария».

После Октябрьской революции И. М. продолжал занятия в университете. В беседах со студентами он убеждал их принять великий переворот, осудивший нежизнеспособное прошлое, принять революцию, так как в ней залог будущего, в ней — возможность приложения всех молодых и свежих сил. Незыблемой и необходимой, как воздух, он считал только культуру — ее наследие, ее будущий расцвет. Даже в трудные годы гражданской войны вокруг него скоплялась молодежь, и он, кроме университетских занятий, руководил кружком по изучению Ромена Роллана, писателя, которого высоко ценил и прекрасно знал. Когда преподавание и исследование истории окрасились методами ложно-научной школы Покровского и в схематическом подходе к живым событиям прошлого исчезали, казалось, глубокий смысл, характер и значение многообразных и своеобразных исторических фактов, И. М. очень скорбел, но надеялся, что преподавание его предмета в университете замерло ненадолго, что придет его возрождение. «Ведь Маркс и Энгельс сказали, потому что

были проницательными историками: „Мы знаем только одну единственную науку — науку истории", — повторял он неоднократно; «поэтому в наши годы, когда история творится на глазах, мы должны и будем продолжать изучать ее во всем ее объеме».

Несколько лет И. М. был деятельным сотрудником Центрального бюро краеведения, работе в котором предавался с увлечением. Отрезанный от городов Западной Европы, куда постоянно ездил как медиэвист-западник, он впервые, в многочисленных путешествиях по историческим городам родины (по Волге, под Москвой, в Орловской, Курской областях, по северному Озерному краю) знакомился с их памятниками и бытом. Имея прекрасную подготовку исследователя западноевропейской городской культуры, он быстро и живо воспринял прелесть древних русских городов. Он читал лекции краеведам, обследовал их работу, учил их искусству познавания исторической жизни городских коллективов и архитектурных ансамблей. И сам переживал впечатления от русской старины, вновь учась у давнего своего учителя — путешествия.

В 1934 г., после постановления о преподавании истории и возрождения исторических факультетов, И. М. вернулся в родной и близкий ему Ленинградский университет. С введением ученых степеней он получил документ о присуждении ему ученого звания доктора исторических наук.

Последний период жизни И. М., снова связанный с университетом, был посвящен большой и разнообразной работе с аспирантами. Не заглохла в И. М. и жилка общественного деятеля. Послуживший в молодые и зрелые годы русскому обществу и вложивший долю своих честных и благородных усилий в создание русской интеллигенции, он продолжал способствовать росту и новой, молодой советской интеллигенции, на закате своих дней руководя будущими научными работниками. Он всегда любил учить молодых, только еще пробующих свои силы, и помогать им в их первых попытках научного труда. Для этого он обладал выдающимся умением и многолетним опытом, которые были скоро поняты и оценены советской молодежью. Старый профессор всегда пользовался исключительным уважением советских студентов и искренней привязанностью своих аспирантов. Он интересовался каждой исторической диссертацией, никогда не отказывал в содействии, консультации, указании, и неизменно присутствовал при защитах или, как он чаще называл, на «диспутах». Редко проходили заседания кафедры истории средних веков без его участия. За день до кончины он, как обычно, пришел на такое заседание и сидел с удивительной для его возраста бодростью, скрестив на груди руки, не опираясь на спинку стула, не облокачиваясь на стол; выслушав доклад молодой аспирантки, он выступил с кратким, ясным и доброжелательным словом. Студенты с интересом ожидали его лекции о средневековых прибалтийских городах, куда собирались отправиться в историческую экскурсию ближайшим летом 1941 г. Смерть помешала этой беседе на тему, к которой так охотно обращался И. М.

К концу жизни И. М. опять вел интенсивную научную работу. Он вернулся к теме своей молодости, к теме, которая легла в основу его магистерской диссертации и должна была развиться в докторскую. Переработав и расширив «Очерки римского землевладения», он подготовил их к печати в виде капитального двухтомного труда. Он включил в него и обширный вопрос об императорской земельной собственности, которым он так увлеченно занимался и который так неожиданно принес ему столько горечи. Зато под старость он с новой энергией, удивительной в человеке, вступавшем в девятый десяток лет жизни, принялся за давно задуманное сочинение и успел закончить его. Самым последним трудом его была, тоже законченная, монография о Таците, лучшем, как он считал, римском историке.

Умер И. М. 16 мая 1941 г., не дожив одного дня до возраста 81 года. Смерть унесла его внезапно, вероятно безболезненно, в присутствии жены и дочери (обе погибли спустя несколько месяцев в жестокую зиму голодной блокады Ленинграда). Убеленный сединами и как бы спокойно уснувший, он лежал в своем маленьком кабинете, где его окружали неразрывные с ним образы — портрет молодого Данте, широкая панорама Флоренции среди тосканских холмов, портреты матери, друзей, академика Васильевского и младшей дочери — девушки с длинными косами в белом платье, умершей в шестнадцатилетнем возрасте, что было, может быть, наиболее острым горем его зрелых лет. Через два дня тело перенесли в большую аудиторию исторического факультета университета, где была совершена гражданская панихида. Похороны состоялись на Волковом кладбище.

В одной из прощальных речей возле гроба была приведена цитата из «Мертвых душ» Гоголя, которую нередко вспоминал И. М. именно в старости, как бы проверяя себя в том, следовал ли он сам мудрым словам: «Забирайте с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, — забирайте с собою человеческие движения, не оставляейте их на дороге, не подымете потом! Грозна, страшна грядущая впереди старость и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосерднее ее; на ней напишется: «Здесь погребен человек», но ничего не прочитаешь в хладных бесчувственных чертах бесчеловечной старости».

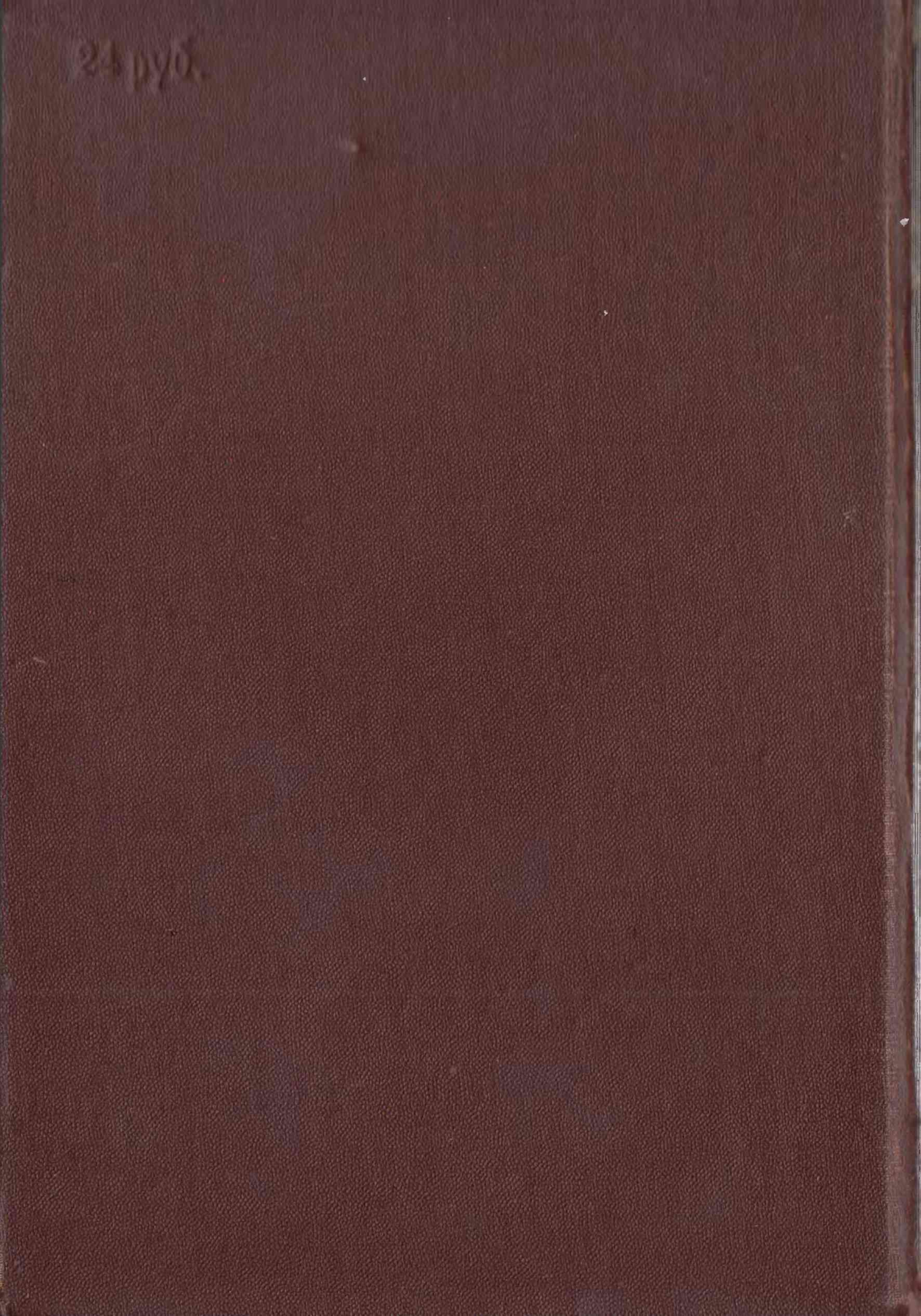
Провожавшие, взглянув в последний раз на бледное, мертвое лицо старца, не увидели на нем «хладных, бесчувственных черт бесчеловечной старости»: от них ушел мягкий, добрый, внимательный и ласковый друг и учитель, достойно завершивший свой длинный трудовой жизненный путь.

Е. Ч. СКРЖИНСКАЯ



СОДЕРЖАНИЕ

~~74785~~ 8945


24 руб.